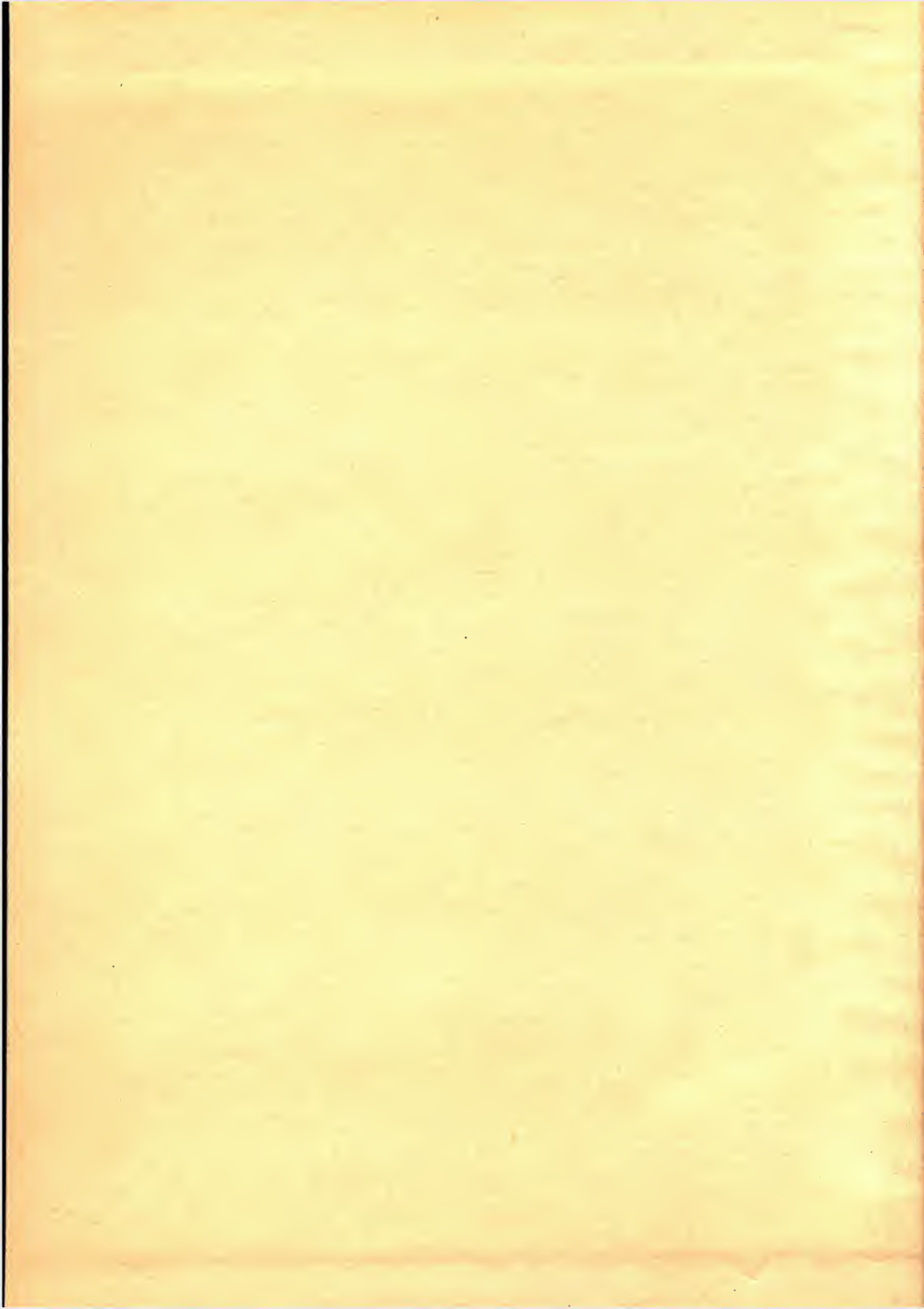


Г. П. ФЕДОТОВ

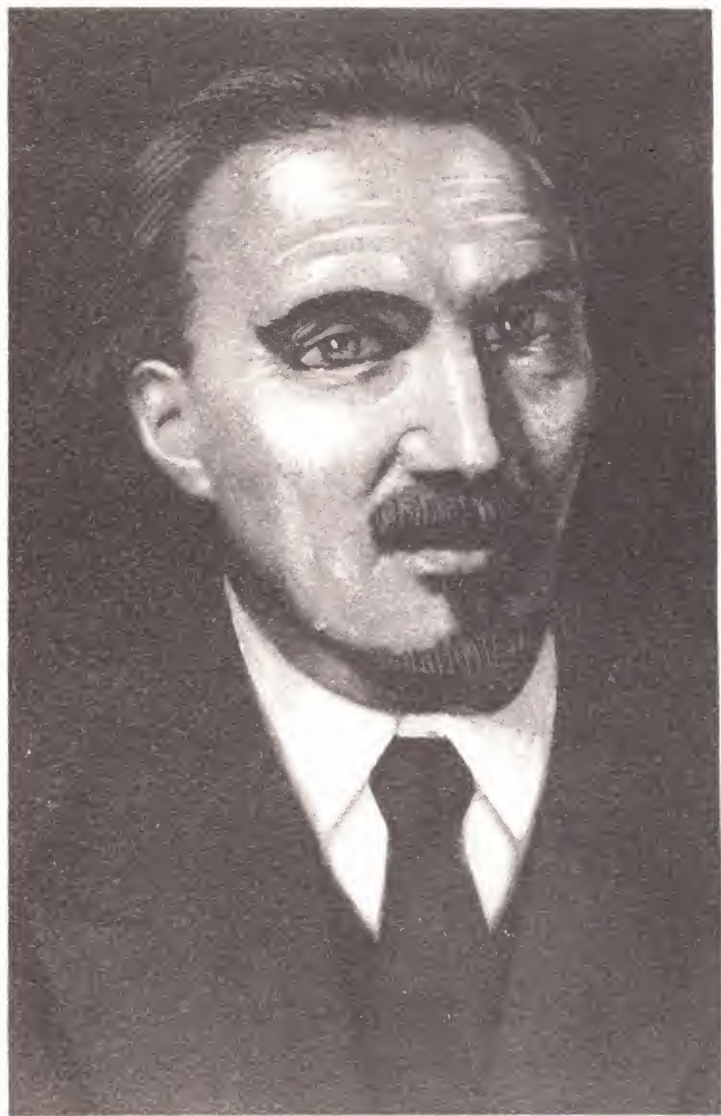
---

2 ТОМ

СУДЬБА  
И ГРѢХИ  
РОССІИ









Г. П. ФЕДОТОВ

---

**СУДЬБА  
И ГРѢХИ  
РОССИИ**

ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ  
ПО ФИЛОСОФИИ РУССКОЙ ИСТОРИИ  
И КУЛЬТУРЫ

**2 ТОМ**



Санкт-Петербург  
Издательство «София»

1992

Составление, вступительная статья, примечания  
*Бойкова В. Ф.*

Художественное оформление  
*Шакирзянова Р. Х.*

**Федотов Г. П.** Судьба и грехи России /избранные статьи по философии русской истории и культуры/: В 2-х тт./Составл., вступительная статья, примечания Бойкова В. Ф. — С.-Петербург.: София, 1991. — 352 с.: портрет.

В книгу входят сочинения религиозного мыслителя, историка, одного из самых известных публицистов русского зарубежья Г. П. Федотова /1886—1951/. Большинство предлагаемых произведений Г. П. Федотова по животрепещущим вопросам прошлого, настоящего и будущего русской культуры и общества написаны в эмиграции и в России публикуются впервые.

Для историков, философов и всех любителей отечественной культуры.

ISBN 5-87316-002-3

© «София», 1992

## РОССИЯ, ЕВРОПА И МЫ

Стоять на высоте не всегда удобно и безопасно. Головокружение нередко отравляет радость разворачивающихся далей. А если человек поднялся не для бескорыстного созерцания, а для работы, то ему — кровельщику на соборном шпиле — угрожает вполне реальная опасность свалиться в пропасть.

Русская эмиграция судьбой и страданием своим поставлена на головокружительную высоту. С той горы, к которой прибило наш ковчег, нам открылись грандиозные перспективы: воистину «все царства мира и слава их» — вернее, их позор. В мировой борьбе капитализма и коммунизма мы одни можем видеть оба склона — в Европу и в Россию: действительность как она есть, без румян и прикрас. Мы на себе, на своей коже испытали прелесть обеих хозяйственных систем. Кажется, будто мы и призваны быть беспристрастными свидетелями на суде истории.

Но это лишь кажется, это совсем не так. Мы не свидетели, а жертвы истории. Может ли сын, потерявший мать, быть беспристрастным свидетелем в суде над ее убийцей? Есть священный эгоизм горя, который ослепляет. Мы ходим в кровавом тумане, где теряются для нас очертания реальностей. И когда, не довольствуясь плачем Иеремии, мы пытаемся что-то делать, как-то исполнять сыновний долг, наши руки производят неловкие жесты, наши ноги скользят, и в ослеплении благородных страстей мы наносим новые раны России.

Помимо кровавого тумана в собственных глазах, нас ослепляет двойной свет, излучающийся из Европы и России. В неверном, сумеречном этом свете возникают двойные тени двойных истин. Двойные истины дают двойную ложь. Но, чтобы жить и действовать, надо бороться с призраками. Надо воспитывать трезвую ясность сознания. Для этого есть только одно средство — кроме этического очище-

ния страстей: надо приучиться видеть Россию в русском свете, а Европу в европейском, не путая безнадежно нашего двойного опыта.

Русское несчастье в том, что Россия и Европа живут в разные исторические дни. Я не хочу сейчас говорить о том, что разделяет Россию от Европы сущностно — изначально и навсегда. Нет, на том самом отрезке пути, на котором мы идем вместе, — послепетровском пути России — мы с Европой разошлись так далеко, что и голоса человеческого не слышать из-за рубежа. Эта пропасть вырыта самим фактом коммунистической революции.

Россия поднята на коммунистическую дыбу. Во имя коммунизма в России истребляют миллионы, отменяется христианство и культура, воцаряется всеобщая нищета вокруг индустриальных гигантов-монастырей. Европа тоже тяжело больна, но совсем не коммунизмом. Имя ее болезни: капитализм — в плане экономическом, национализм — в плане политическом. Из соединения этих двух ныне разрушительных сил рождается хаос, накапливается ненависть, готовятся потрясения грядущих войн и революций. Это такая простая, детская истина, что не видеть ее может только наше «священное» безумие. Но отсюда происходят все наши трагические недоразумения.

Русская эмиграция, пережившая величайшую революцию, выносившая в себе кровный (и до известной степени оправданный) антиреволюционный опыт, очутилась на Западе, который живет накануне революции — во всяком случае, в предреволюционных настроениях. Может быть, революции здесь и не будет, может быть, ее удастся предотвратить — смелым и быстрым строительством новой жизни. Но остается бесспорной — устремленность Запада к новым формам жизни, муки родов его. У одних это наивный революционаризм разрушения, у других — жажда социального строительства, у третьих, наконец, «тревога» (*inquiétude*), явное ощущение недомогания, болезни, даже смерти. Вне этих настроений в благополучном консервативном оптимизме на Западе пребывает лишь очень малое число очень ограниченных людей — преимущественно на территории Франции. У них-то и ищет себе моральной поддержки несчастная русская эмиграция.

Все остальное в Европе подозрительно по большевизан-



ству. И ведь это правда. Хуже всего, что это правда. С известным преувеличением можно сказать, что все порядочные люди в Европе сочувствуют большевикам. По крайней мере все люди с востроженной совестью, устремленные к будущему. Я знаю, конечно, что и непорядочные большевизанствуют — по расчету или снобизму, — но не о них сейчас речь. Нас мучит и волнует сочувствие большевикам со стороны Р. Роллана, Дюамеля, левых христианских священников разных исповеданий — моральной элиты Европы. Как объяснить его?

И здесь объяснение так просто, что не видеть его можно только в слепоте ненависти. Объяснение в том, что человек, имеющий общественный идеал, стремится видеть его уже воплощенным в действительности — настоящей или прошлой. Конкретность воплощения, пусть обманчивая, дает силы жить и бороться с действительностью отрицаемой. Отсюда старые восторги русских консерваторов перед Германией, либералов перед Англией, социалистов перед неведомой им Новой Зеландией или Францией эпохи революции. В основе своей это все те же поиски Опоньского царства с истинной Церковью на краю земли. Даль времен или даль пространства поддерживают дорогие иллюзии. Как мемуары и исторические исследования не могли убить в русской интеллигенции романтического увлечения якобинской республикой, так и противоречивые письма путешественников по России и разноголосый хор русских эмигрантов бессилён переубедить желающих заблуждаться. Хочется верить, что где-то в мире, хоть в одной стране, осуществляется правда. Культурная далекость России, неспособность понять ее действительно безумную сложность облегчает для европейского путешественника сохранение иллюзии. Подумайте, как трудно для нас понять, что происходит в Китае! Можно с горечью думать об узости человеческого сознания, но нельзя подозревать чистоту морального отношения. Менее всего имеет на это право русская эмиграция, которая все свои оценки подчиняет одной идее. Для большинства из нас прекрасна та страна, тот режим (Италия, Болгария), где гонят коммунизм. Разве трудно понять, почему европейцу, ничего не знающему о коммунизме, но от капитализма тяжело страдающему, кажется благословенной та страна, где, по исключению, капитализм гонят, где слово «буржуа» объявлено презренным?

Идейное большевизанство западного европейца коренится совсем в другой моральной почве, чем большевизанство русское. Как моральный симптом — обращенности к будущему — оно может быть расценено положительно, какой бы горечью оно нас ни исполняло. Правда, помимо моральных симптомов, есть еще волевая действительность, есть политическая и социальная целесообразность, с точки зрения которых добродетельная глупость часто оборачивается преступлением. Мир России не замкнут наглухо от Запада. Россия не Опоньское царство. Завтра не сегодня — коммунизм может стать реальной опасностью для Европы, в случае войны или срыва социальной работы, и тогда коммунистические иллюзии европейских идеалистов могут ускорить всеобщее разрушение. Вот во имя этого будущего Европы, как и во имя настоящего России, мы обязаны кричать об истине, которой сейчас не хотят слушать. Нужно понять только, что для того, чтобы быть услышанным Европой, эмиграция должна стоять на одной с ней почве: то есть глядеть в европейское будущее, а не в русское прошлое. *Minimum*, которого Европа вправе требовать от нас — точная и добросовестная информация. И здесь наш грех велик — перед Россией. Годами русская эмиграция наводняла Европу фантастической информацией о большевистской России. Всего каких-нибудь пять лет, как мы сами стали понимать — и далеко не всё, и далеко не все, — что происходит в России. Удивляться ли, что Европа, которую столько раз пугали «волком», уже не верит Павлушке, когда он говорит правду? Но правды фактов теперь уже недостаточно. Необходим верный моральный тон, чтобы победить недоверие к уже скомпрометированному источнику. Правду о коммунизме не станут слушать от защитников капитализма.

Но оставим Европу. Как ни существенна наша обязанность здесь быть свидетелями о России — еще важнее другая: слушать Россию и быть готовыми к нашему историческому часу. Худо мерить Европу на русский аршин, еще хуже мерить Россию на аршин Европы. Думается, что из смещения этих мерок оценки возникают все наши внутренние недоразумения. Отсюда противоестественное, на первый взгляд, единение под одним знаменем людей совершенно различной этической и даже политической на-

правленности. Отсюда непонятный для эмигранта восторг перед коммунистическими достижениями — в людях вполне приличных и иногда даже способных к здравому рассуждению.

За всеми различиями наших политических убеждений стоит основное различие — русских и европейцев. Подходя к каждому эмигранту, важнее всего знать, в какой среде он живет, на какие впечатления реагирует. Среди интеллигенции есть люди преимущественно русской и преимущественно западной культуры. Среди трудового эмигрантского народа есть большинство, живущее жизнью европейских рабочих, и меньшинство, в приложении своего труда не выходящее из круга эмиграции. У этих людей отношение к жизни совсем иное, хотя бы они читали одну и ту же газету и повторяли механически одни и те же избитые и стертые слова.

Уже противоречие между окружающей жизнью и личной культурой создает внутреннее напряжение, подкапывающее духовное равновесие, но основное социальное отличие людей — в их отношении к действительности. Есть люди приемлющие и не приемлющие данность, примиренцы и протестанты. И в зависимости от того, какова эта представляемая, навязчивая действительность, отношение к которой определяет сознание, — Россия ли это или Европа — мы получаем схематически следующие сочетания эмигрантской волевой направленности:

1. русские протестанты,
2. русские примиренцы,
3. европейские протестанты,
4. европейские примиренцы,
5. протестанты русские и европейские.

Так как психологически немислимо принимать коммунизм и капитализм одновременно — разве только в капиталистических кругах Европы, успешно торгующих с Россией, — то логически возможная шестая группа отпадает.

Протест национальной и демократической России против большевизма — это первичный и основной этос, который питал все отпочковавшиеся эмигрантские направления. Этот протест остается и поныне священным и непререкаемым. Россия стала бы трупом, если бы вся пала на колени перед терзающей ее злой силой. Наше несогласие на преступление, длящееся полтора десятилетия, само

по себе искупает наше добровольное изгнание. Политическая роль эмиграции может равняться нулю. Остается моральное значение — не подвига, но просто жизненной установки, — которая оправдывает — не нас одних, но Россию. Лишь бы только ненависть к врагам России не вырождалась в ненависть к ней самой, покорившейся, не пригнетала темным злорадством, не отравляла ядами рабского бессилия, провокаторской извращенности, свойственной побежденным. Просветленная не примиримость — вот в чем мы больше всего нуждаемся. Так трудно это, так редко и немногим дается. Непримируемость большинства всегда была темной. Может быть, поэтому она уже выдыхается.

Непримируемостью жила и все еще живет огромная масса вчера военной, ныне трудовой эмиграции. Она не знает соблазнов Запада. Она живет почти без всякого воздействия его культуры, почти без языка. Но есть меньшинство, счастливое и культурное, для которого Запад не оказался мачехой. Одни сумели устроиться, удержаться на буржуазном уровне жизни. Для других культура Запада была тихой пристанью после кораблекрушения. В вековом налаженном строе быта и мысли, в успокоенности закатного классицизма русские скитальцы находят забвение всех проклятых вопросов. Греясь у чужого, уже догорающего очага, боятся выглянуть в ненастье и бурю, что бушует по всем пяти океанам и потрясает все материки. Судорожно хватаются за все столбы: авось устоят перед бурей. У одних это консерватизм отчаяния, у других консерватизм беспечности — рента на дожитие. Для тех и других национализм и капитализм представляются самыми сильными опорами против социалистического ветра. Слепленные не видят страшной разрушительной силы этих мнимых «устоев», из которых один готовит войну, а другой — социальную революцию. Они непременно рассердятся и искренне удивятся, услышав из уст не какого-нибудь радикала, а папы Пия XI обвинение их в содействии революции: «Особенно те заслуживают обвинения за свою бездейственность, кто не радует об устранении или изменении порядка вещей, ожесточающего массы и подготовляющего таким образом переворот и разрушение общества».

Не менее слепы, конечно, и те, кто из двух консер-



вативных устоев — национализм, капитализм — заменяет один демократией, оставляя другой неприкосновенным: демократия не защита против поднявшейся социальной бури.

И консерватизм, и либерализм суть резкие проявления русского западничества, поддерживаемого отталкиванием от современной России. Они становятся невыносимы, когда в них выражается тоска по комфорту, запоздалое упоевание старой ветошью, уже доношенной Западом и бросаемой им своим духовным приживальщикам. Это социальный грех «буржуазности» в его чистом выражении.

Из этой русской среды выходят запоздалые защитники капитализма, столь редкие сейчас на Западе. Как ни странно идейно, как ни противоестественна морально защита капитализма в наши дни, нужно быть справедливым. У иных из наших «вождей» защита капитализма питается вовсе не западническими, а русскими настроениями. В России капитализм далеко еще не изжил своих творческих возможностей. Война и революция жестоко оборвали расцвет его культуры на нашей родине. Все хозяйственное сопротивление России коммунизму основано на неумирающих началах свободы труда и предприимчивости, спасающих (или спасавших) страну от окончательного удушения и голодной смерти. Отсюда ставка на капитализм в России. Что при этом забывают о разлагающем, мертвящем значении капитализма на Западе, это объясняется полной духовной изоляцией от Европы. Люди могут читать иностранные книги, встречаться с людьми Запада, но быть совершенно глухими и слепыми к его жизни и страданиям. Если эта глухота и слепота объясняются исключительно заполненностью сознания мыслью о России, то они морально простительны, что не мешает им быть политически вредными и идейно бессмысленными.

Между рядовой эмиграцией, отталкивающейся от Запада, и западническим примиренчеством ее вождей есть лишь видимость общей почвы. В лучшем случае эта общая почва определяется отрицательно: ненавистью к большевикам. Но проходят годы; старые раны зарубцовываются, а новые больше говорят о себе. Беспросветная нужда, борьба за кусок хлеба ожесточают людей. Их отталкивание от Запада, первоначально окрашенное национально, наконец

принимает ярко выраженный антикапиталистический характер. Можно ли упрекать его в низменности побуждений за то, что в основе его лежит опыт личных страданий? Жаль, конечно, что люди не задумывались раньше над социальным вопросом, пока жизнь не ударила их больно по голове. Но опыт их, пусть запоздалый, не утрачивает объективного значения от того, что он личный и кровный. Всякий ли доктринерский защитник капитализма выдержит такое личное испытание: например, смерть своего сына от туберкулеза где-нибудь в рудниках Перника или Сент-Этьена?

Впрочем, большинство молодежи, именующей себя революционной, приобретает новый социальный опыт не из личного ожесточения, а из общих впечатлений западной культуры. Никто не вправе оспаривать бескорыстие и идеализм ее мотивов. Она просто более чутка, чем отцы, к окружающей, то есть европейской, действительности и — признаем это — лишена личного опыта и прежней, и настоящей России. Так нарастает отчуждение и отталкивание, с одной стороны, между трудовой массой эмиграции и ее вождями, с другой, среди интеллигенции, между отцами и детьми. И вот из этих антизападнических, антикапиталистических настроений назревает и в массах, и в молодежи примиренчество по отношению к большевистской России.

Разумеется, это примиренчество не того тона, что у иного преуспевшего в России спеца, который, делая карьеру среди общей катастрофы, оптимистически закрывает глаза на чужие страдания: искупительные жертвы истории. Примиренчество эмигранта вырастает из его страданий. Ему начинает казаться, что жизнь в России не может быть хуже той, которая здесь гнетет его. Он начинает тосковать о возвращении. Возвращенство не политическая идея, а стихийная, низовая тяга, всегда очень распространенная в массах. Устали страдать и готовы сдаться на милость победителя. В жизненном обиходе не осталось никаких идей, которые прежде поддерживали в борьбе. Это процесс разложения и выветривания активного идеализма. Идеологические обоснования приходят позже, если вообще приходят. Люди идут с закрытыми глазами — нередко на добровольную смерть.

Но рядовые возвращенцы не создают идеологий. Идеоло-

гии создаются активными протестантами (против Запада) и жадно воспринимаются молодежью, готовой жертвенно служить России. В применении к этим течениям как-то неуместно говорить и о примиренчестве перед Россией, потому что в них кричит жгучая потребность ее апофеоза. В них всегда звучит, хотя бы приглушенная, хотя бы осложненная, осанна революционной России. И вместе с этим они несут с собой более или менее выраженное оправдание зла.

Среди этих течений некоторые, сменовеховство и евразийство, были идейно значительны. Как в критике своей, так и в пересмотре русской философии истории они оплодотворили и будут оплодотворять русскую мысль. Но над всеми ими тяготеет порок изначального морального излома.

«Пореволюционные» течения не могут примириться с унижением и падением России. Поэтому они превращают их в предмет гордости. Они не просто ищут в сложном сплетении революционных процессов светлых явлений и сил. Они говорят «да» всему процессу в целом, и, чтобы пронести это «да» сквозь мерзость и мрак действительности, они ее преобразуют. Выходят изображения как нельзя более похожие на картинки знатных иностранцев. И здесь и там оптимистическим пером водит одна и та же потребность — вдохновляющей иллюзии. Честь тому, кто в наши дни, как Варрон, «не отчаялся в спасении отечества». Но мало чести тому, кто это спасение усматривает во вражеском (татарском или большевистском) насилии над отечеством.

Анализируя подсознательное в «пореволюционных» течениях, прежде всего нужно указать на их оторванность от настоящей России, на их — в нашем смысле слова — отрицательное западничество. Пусть это определение кажется странным для русских националистов. Их национализм питается отталкиванием от Запада. Их панглоссовский оптимизм по отношению к России возможен лишь при разрыве личной связи с Россией — или при утрате живых воспоминаний. Россия мыслится уже не как живой народ, а как идея, антитетическая западной действительности.

В их «любви к отечеству» прежде всего не хватает любви, которая поглощается «народной гордостью». Гордость требует насивистывать победный марш, провожая на эшафот старую Россию. Гордость заставляет закрывать глаза

на страдания всего народа, влекомого насильно на искупительную жертву за человечество. Гордость заставляет отождествлять себя с сознанием не распинаемых, а распинателей, потому что с ними — молодость, с ними энтузиазм и вера в будущее.

Религиозная транскрипция этой гордости в наши дни получила имя мессианизма. Пореволюционный мессианизм означает веру в то, что Россия — предызбранная и ведущая мир на путях Божиих страна — несмотря ни на что. Ее грехи, ее злодеяния не имеют значения. Более того, они входят диалектическим моментом в ее служение. Между ее настоящей сатанинской славой и славой грядущего Царствия Божия нет прерыва, нет отречения, нет покаяния. В отличие от мессианства еврейских пророков, русское мессианство лишено этического содержания. Вот почему оно способно обернуться иной раз и вовсе антихристианским имморализмом.

Русское мессианство есть крайняя форма реакции на западный соблазн, крайняя форма антизападничества, и потому все же западничество. Как антизападничество, оно наивно, но извинительно. И совсем иначе придется расценить его, если услышать в нем голос, донесшийся из России.

Голоса из России доносятся слабо, но все же доносятся. Кричит на всю планету величайшими в мире радиостанциями голос десяти миллионов молодых и жестоких строителей, воздвигающих свою башню на костях ста пятидесяти миллионов. Но доносится и стон раздавленных — ста пятидесяти. Каким звукам мы здесь отдадим предпочтение? На чем построим наш звуковой, все еще бесплотный, как бы призрачный образ России? Этот выбор основной музыкальной темы России — акт нашей свободы; совершая его, мы определяем свою собственную судьбу.

Пореволюционный пробольшевизм детей соответствует дореволюционному прокапитализму отцов. Хорошо (то есть простительно, хотя и вредно), если тот и другой проистекают из отрицательных реакций: антикоммунизма одних, антикапитализма других. Но жутко, когда налицо внутренняя соблазненность мощью врага — все того же, на Западе и в России, при всем различии масок и харь.

Эта соблазненность во многих случаях не подлежит сомнению. По отношению к молодежи, она всего резче выра-



жается в их одержимости духами революции. Это она кричит в них охрипшим ревом своих миллионных глоток. Это ее пожар опалил их лица, потемневшие в дыму. Это ей они обязаны утратой и ясности зрения, и трезвости оценок. Преувеличенное, барочное, демагогическое, порой безумное — таков их стиль. Но это стиль революции. Как никто не заметил до сих пор, что они, заблудившиеся дети революции, не имеют никакого права на титул пореволюционности? Трезвость — первый знак пореволюционной эпохи.

Примиренчеству справа и слева, осанне капитализму и коммунизму нужно противопоставить христианский протест против двуединого врага. В настоящем состоянии мира оппозиция — единственно возможная и достойная позиция перед ним. Но оппозиция не отвлеченная, не максималистическая, а готовая на труд и работу (не только на подвиг и жест) — работу восстановления, строительства жизни. Любовь к человеку — всегда конкретная любовь. Любовь к жизни — враг отвлеченного идеализма. Помогая новой жизни в ее победе над силами косности и смерти, нельзя насиловать жизнь. Нужно больше слушать ее голоса, чем стараться перекричать их.

В свете конкретного идеализма меркнут кумиры, обоженные идолопоклонниками идей. Мы начинаем сознавать, что капитализм — социализм — национализм — космополитизм не абсолютные, а относительные, исторические ценности. И это открывает возможность понять наконец различие исторического дня России и Европы. Одновременно самая отсталая и самая передовая, зарвавшаяся вперед и павшая на дороге, прошедшая для всего мира опыт новой социальной конструкции, опыт, давший бесспорный о т р и ц а т е л ь н ы й результат, — Россия возвращается к собранности, сосредоточенности, которые являются одновременно покаянием и отдыхом, без которых ей угрожает смерть от физического и духовного истощения. Запад, упирающийся, косный, поставлен судьбой перед необходимостью идти, искать выхода, ставить новый социальный опыт. *Nic salta!* Ему страдания, ему труды завтрашнего (о, если бы сегодняшнего!) дня истории.

Вот почему возможно и, кажется мне, необходимо одновременно, «едиными устами», утверждать:

Для Европы организацию хозяйства, для России освобождение труда.

Для Европы преодоление национализма, для России развитие национального сознания.

Для Европы демократизацию культуры, для России — борьбу за качество культуры и т. д., и т. д.

Как совместить — идейно и психологически — одновременное утверждение противоположностей, — это другой вопрос. Решение его не легко. О конкретных решениях можно говорить много и долго. Общий ключ ко всем решениям — релятивизация исторических идей. Но эта релятивизация идей не имеет ничего общего с релятивизмом основной жизненной ценности. В разных стилях строительства должна утверждаться одна и та же правда: правда достоинства человеческой личности и религиозного смысла соборного дела культуры.

## ПРАВДА ПОБЕЖДЕННЫХ

Victrix causa diis placuit,  
Sed victa Catoni.  
Лукан

### ПОБЕДА

Пятнадцать лет господства, кажется, дают право на имя победителей. Победа полная, громкая, никем не оспариваемая. Победа над всеми внутренними и внешними врагами: над монархистами, демократами, социалистами, русской интеллигенцией, русским народом. Победа над буржуазной Европой и мировым общественным мнением. В день пятнадцатилетней годовщины, несмотря на невеселые картины сегодняшнего дня, есть на что оглянуться, что вспомнить кремлевскому властителю.

Пятнадцать лет тому назад, опираясь на банды дезертиров, Ленин взял — в сущности, поднял — валявшуюся на земле власть государства Российского, убежденный сам, что «большевикам не продержаться больше нескольких недель», если не придет на помощь мировая революция. Мировая не пришла, германская обманула, — и все ошиблись: дипломаты и министры Европы, вся русская интеллигенция, сам Ленин. Оборванные толпы рабочих и горсть матросов выросли неожиданно в огромные армии, вобрали в себя партизанскую силу разгулявшейся крестьянской стихии, оформились в дисциплине старого царского офицерства. И через 2-3 года разбитые остатки белых армий садились на пароходы, и десантные отряды великих держав, предав союзников, с позором спешили вырваться из русского осинового гнезда. В оставленном Крыму, по телеграмме Троцкого, Бэла Кун мог свободно приступить к расправе: расстрелять около ста тысяч классовых врагов, добровольно сдавшихся, доверившихся великодушию победителей.

А внутри страны? Бесперерывно вспыхивающие восстания крестьян подавлены одно за другим. Великолепно функционирующая мясорубка Чеки уничтожает сотни тысяч — не

врагов, а запуганных обывателей, «заложников буржуазии», уже бежавшей за пределы пролетарского государства. Выстрел в Ленина, убийство Урицкого, — тысячи невинных жертв по всей России. Рука эсера опускается: как можно бороться террором с такой властью? Завтра за покушение на палача, может быть, начнут расстреливать детей по классовому признаку!

Пока коммунисты на фронте, пока оставшиеся в тылу рабочие растаскивают по частям для мешочной торговли машины остановившихся заводов, интеллигенция страхом, голодом и патриотизмом принуждается к работе на службе революции. Она строит для большевиков из развалин разрушенное ими государство и без счета, без меры льет в бунтующие массы свое «просвещение». Не без ее участия рабочая и солдатская молодежь загорается социалистическим идеалом, который окрашивается революционным национализмом в обороне от белых рабоче-крестьянской России. Этот революционный энтузиазм бойцов интеллигенции перекладывает в стихи и краски. Огромная, неожиданная удача! Первый, военный, этап коммунизма, свирепый, кровавый, был воспет самыми тонкими лириками, декорирован самыми передовыми художниками. В то время как почти вся русская интеллигенция оттолкнула коммунизм, большинство русских поэтов его приняли — из женственного преклонения перед силой, из жертвенного слияния с народом, из отвращения к старому гибнущему миру. У поэтов перевешивает музыка революции, у левых художников — радость разрушения и возможность творить из ничего, мнимо даруемая революцией. Самый имморализм эстетов предвоенного поколения делает легким для них приятие террора, яхшание с убийцами, для иных работу в Чека.

Победа на фронте искусства, быть может, один из самых прочных элементов большевистской победы. Гражданская война будет жить в веках в том обрамлении, какое дано ей искусством. «Двенадцать» Блока навсегда останутся введением в историю Октября.

Тем временем первые попытки социалистического хозяйства в городе и деревне приводят страну на край гибели. Уже Россия вымирает от голода, фабрики бездействуют, города разрушаются без воды и огня... Ленин спас ее новой победой — над собственной партией и ее глупостью



(«комдураки»). Заграничные паровозы и американская помощь голодающим сдвинули страну с мертвой точки.

Победа в Кронштадте — победа над самой твердыней революции — начинает новый ее этап, когда крестьянство и воскресшая буржуазия кормят коммунизм, еще бессильный на всякое не чисто разрушительное дело. С необыкновенной быстротой раны революции затягиваются. Крестьянство свободным трудом на своей земле восстанавливает хозяйство почти до довоенного уровня и дает средства для медленного восстановления промышленности, армии, культуры. Миллионы юношей от земли и с фабрик, скинув военные шинели, жадно рвутся к открывшимся им источникам знания. Совершенно меняется состав студенчества. Интеллигенция постепенно вытесняется новыми людьми. Литература заполняется рабочим и крестьянским молодняком. По силе и талантливости в этот период серп господствует над молотом. Блестящая литература нэпа — проза вытесняет стихи — живет эпопеей гражданской войны и пробуждением деревни. Новые, бесспорные победы на культурном фронте: школы, театры, художественная литература.

В эти годы красный флаг над Москвой, открывшейся наконец взорам мира, привлекает к себе надежды и пламенную любовь всех угнетенных. На Западе обращаются к Москве не только рабочие, но и лучшие представители интеллигенции, задыхающиеся в злобе и хаосе послевоенной Европы, и целые народы, обездоленные Версальским миром. Было время, когда весь Восток — может быть, за исключением Японии — шел в орбите Москвы. Новые диктаторы пробужденного ислама — в Турции, в Персии, в Афганистане. — искали московской дружбы. Индусские крестьяне, китайские студенты и негры молились Ленину, как новому Мессии всех поработенных. Искусно используя этот моральный капитал революции, московская дипломатия, несмотря на польскую катастрофу, высоко поставила международный престиж СССР. Развертываясь внутри в союз многонациональных республик, бывшая Россия окрашивается в яркие евразийские цвета. Но, невзирая на сознательное подавление русской народности, значение русской культуры стоит в мире — в обоих полушариях — высоко, как никогда. Эти годы — зенит революции.

И, наконец, последнее пятилетие — «пятилетка», индустриализация, Сталин. Новая, величайшая победа одержива-

ется коммунизмом — над крестьянством. Молот разбивает серп во имя трактора. 1930 год — год новой социальной революции, когда, под именем кулаков, уничтожается как класс русское крестьянство. Снова миллионы расстрелены, сосланы — из тех, что вынесли на своем хребте Россию из-па. Остальные загнаны в государственные зерновые фабрики пролетариями от сохи. В освобожденной от помещиков России введено новое крепостное право. Это была победа, от которой ахнул весь мир. Многие усомнились в праве и способности русского народа на историческое существование. Более 100 миллионов людей покорно надели на себя ярмо, отмстив лишь рабским саботажем и падением труда.

На рабском труде крестьянства, на голоде рабочих и горожан да на иностранных кредитах и технической помощи — строится пятилетка. И в нее вложен огромный заряд энтузиазма — русской интеллигенции, русской молодежи. Энтузиазм этот питался новой мечтой «Россия — Америка», в которой некоторый процент коммунизма растворился в техническом идеале современного, пусть государственного, капитализма. И здесь большая техническая победа. Россия открылась гигантами заводов и станций, — подняла в 2 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> раза свое производство довоенного времени. Необычайность этого успеха подчеркивается острым недомоганием капиталистического мира, колоссальной безработицей и хозяйственной безнадежностью, охватившей все народы. Пусть последний безработный Европы на жалкие пособия живет лучше, чем русский строитель пятилетки, — СССР притягивает еще больше, чем во время нэпа, буржуазный мир. Капиталисты, ищущие вложения капиталов, торговцы — сбыта товаров, и рабочие — приложения своего труда, вместе с мечтателями и искателями нового общества едут в Москву, несравненную мастерицу художественного «показа», и в большинстве случаев вывозят из Страны Советов восторженные впечатления, где прелесть экзотики, русского искусства и даже славянского характера свидетельствуют в пользу коммунистической диктатуры. Гораздо серьезнее движение II Интернационала навстречу III-му. Под влиянием тяжких поражений, падение демократии в Германии и кризиса, парализующего реформационную работу социалистических партий, европейская социал-демократия (Отто Бауер) вслед за пролетариатом все с большим сочувст-

вием и надеждой смотрит на Восток. Не наши методы, но наше дело. Наши товарищи. «Нашим» можно простить много ошибок и даже преступлений. Быть может, для России их методы самые пригодные. Но победа социализма у них — будет нашей победой здесь, во всем мире. Руки прочь от Советской России. Это ли не победа?

Так много побед для партии, казалось, с самого начала обреченной, для партии, поставившей себе задачу, казалось, невыполнимую — построение социализма в самой отсталой стране Европы, — неужели это все от счастья, от «везения», от исторической случайности? Говорят, Раковский любил в отчаянные минуты поднимать дух товарищей: «Большевицкий бог вывезет». Имя этому богу — русская народная революция: огромные энергии, освобожденные в движении масс, которые были перехвачены и обработаны коммунистической фабрикой. Никакая глупость, никакое безумие не могли до сих пор растратить этого колоссального источника энергии. Социальное оскудение Европы устранило все внешние препятствия для большевистского опыта. Таковы главные условия их победы.

## ПЕРЕД ПАМЯТНИКОМ ЛЕНИНА

Насколько можно судить отсюда, доверяясь показаниям беглецов и путешественников последних месяцев, даже самой советской печати, пятилетка кончилась крахом. Хаос, голод в стране возвращают Россию к самым мрачным годам военного коммунизма. Мы не знаем, как будут разворачиваться дальнейшие события. Удастся ли большевикам спланировать к новому нэпу, спасет ли их большевицкий бог, или последний год пятилетки будет и последним годом их власти? Но пусть последним. Пятнадцать лет для партии революции — срок огромный, небывалый. В революции годы должны считаться за десятилетия. Все на свете проходит, пройдут и большевики. Но пятнадцать лет власти, успехов и побед — в величайшую, ответственнойшую эпоху жизни России — и Европы — дают право на исторический памятник. Уже очертания этого памятника в веках менее всего зависят от самих коммунистов: от их доблести, ума и проч. Они зависят теперь от двух величин, с

которыми связано их историческое дело. Эти величины: Россия и социализм. Если Россия не развалится, а будет жить как великое государство и великий народ, то ее революция войдет тоже как «великая» на скрижали истории. Партия, которая провела эту «великую» революцию, актеры великой исторической драмы будут жить в веках, несмотря на все разоблачения их подлинного роста, как «великие» исторические деятели.

То же самое с социализмом. Если победит в мире социализм, или даже просто трудовое рабочее общество, оно канонизирует всех борцов за рабочее дело, и в ряду этих борцов Ленину отведет одно из первых мест. Рядом с Марксом и, может быть, впереди его. И притом независимо от того, насколько усилия Ленина приблизили или отодвинули осуществление социализма. Французские коммунары, несомненно, повредили делу социализма и рабочего движения. Однако социализм чтит в них не только мучеников своего дела, но и победителей на час, провозвестников грядущей победы. Пятнадцать лет российской коммуны куда значительнее двух месяцев французской.

Но что это значит: «великий», «значительный», «грандиозный» — эпитеты, которые мы прилагаем к историческим деятелям и событиям, получившим памятники истории? В «великом» не содержится ни малейшей крупинки добра, даже утилитарной полезности. Это чисто количественный масштаб, который может представляться эстетическим только потому, что существует особая, далеко не первосортная, эстетика грандиозного. Есть великие разрушители, великие злодеи, как есть великие океаны и горы. Гималаи не прекраснее Кавказа. Аттила, Тамерлан, Чингисхан, что бы ни говорили евразийцы, не лучше и не прекраснее убийц, которые ежедневно совершают свои подвиги во всех уголках мира. Но число жертв, выражаемое шести-, семизначными цифрами, уже поднимает деятеля из мира преступного в мир великого — в глазах лишенной совести Клио. Если же эти жертвы пошли не на чистое разрушение, а вложились — безразлично, с каким результатом, — в объективный процесс истории, получили «отношение к ценности» — государства, нации, класса, учреждения, — тогда величие получает видимость положительного значения.

Почти несомненно, что мир покроется памятниками

Ленина. Бесконечно тяжело думать, что ими будет, после периодов реакций, снова и снова осквернена Россия. Кто знает, не разделит ли Сталин посмертную славу своего учителя?

Значит, конец? Конец нашей тяжбы с большевиками? Процесса, который мы ведем против них перед Россией, перед миром, перед историей? Нет, не конец, а лишь начало. Мы не согласны на памятник большевикам, мы разрушаем его до фундамента. Живые свидетели преступления, мы не примиримся с пятнадцатилетней давностью. От современников мы апеллируем к потомству. Разочаровавшись в правосудии Истории, мы идем выше. «Есть Мститель там, над звездами». Это не значит, что надзвездный суд не связан с земной действительностью. Но это значит, что последние основания исторического суда лежат над историей и не меряются мерой исторического успеха.

Есть две философии истории. Для одной история есть всегда поступательное движение, развитие или прогресс или раскрытие Абсолютного Духа. Консервативный или революционный, но это всегда дифирамб действительности. Все злое и темное в историческом процессе принимается, как жертва или цена. И эта цена никогда не кажется слишком дорогой, ибо покупаемое благо мыслится бесценным и бесконечным — в необозримой перспективе будущего. С этой точки зрения — не только гегельянской, но господствующей — все к лучшему в этом лучшем из миров. Пала Римская Империя и цивилизация. Чудесно! На ее развалинах, из ее элементов создается более свободная, более духовная культура средневековья. Разлагается средневековый строй и миросозерцание — Ренессанс создает еще более высокие формы, в которых мы живем. Монгольское иго помогло Руси создать свою государственность. Деспотизм Москвы обеспечил России ее единство, опричнина демократизировала правящий класс. Смутное время, вытянув дурные соки, консолидировало Россию. И т. д., и т. д. Этот неисправимый оптимизм не смущается, как мы видим, ни бесспорным фактом попятных движений в истории, ни даже гибелью государств, народов, культур. Все это законные, необходимые паузы или понижения восходящей кривой. Закон непрерывного восхождения выводится из ограниченного опыта нескольких последних столетий и в конце

концов опирается на недоказуемую предпосылку веры: религиозной, но не христианской, пантеистической (гегельянской) веры в Абсолют, раскрывающийся в истории.

Но есть другой взгляд на историю — как на вечную борьбу двух начал. Августиновское учение о двух градах лучше гегельянского уясняет возможность творческих и разрушительных процессов в истории. Откажемся от того, что было одностороннего у Августина: от внешнего противоположения двух градов. Признаем, что внутри каждого из строящихся общественных и культурных типов идет борьба за план и стиль целого, которая оканчивается или включением его в творимый град Божий, или выпадением в небытие, неудачей, катастрофой. Ничто не предопределено в истории силой естественных законов или давлением Божественной воли. Ибо история есть мир человеческий — не природный и не Божественный, — и в нем царит свобода. Как ни велико в истории значение косных, природных, материальных сил, но воля вдохновленного Богом или соблазненного Люцифером человека определяет сложение и распад природных сил. С этой точки зрения, не может в мире пройти бесследно ни слабое усилие к добру, ни малейшее движение зла. Не поглощаются они одним историческим процессом, а включаются в разные одновременно действующие процессы: созидания и разрушения. И если внимательно вглядываться в жизнь, то в видимом ее единстве всегда можно различить двоякую детерминированность: к вечности и к смерти.

Возьмем французскую революцию — великую, грандиозную, — определяющую доселе бытие французского народа. В этой революции действовали положительные силы: любовь к свободе, равенству, энтузиазм и даже самоотречение рождающейся нации. Эти силы и создали французское национальное самосознание, столь изумительное своей крепостью, и свободную гражданственность, тоже завидную на фоне рабства стольких народов. Но в этой же революции проявились поистине сатанинские силы сословной, классовой, антихристианской ненависти. 600 000 жертв гильотины — заглажены ли они счастливым исходом французской революции? В том-то и дело, что нет. Где отмищение за террор Конвента и за безумную горячку тех героических лет? Оно прежде всего в столетней лихорадке

реакций и революций, которыми Франция изживала свою первую, «Великую» революцию. Равновесие политической жизни удалось найти после целого века войн. Второе, связанное с этим последствие — глубокий раскол внутри французской культуры, подрываемой вековой тяжбой между «традицией» и «революцией». И так как силы традиции, и среди них величайшие — средневековья, классицизма, католичества, — стоят против революционного фронта, то духовная культура победившей демократии оказывается чрезвычайно бедной. Материализм и скептицизм разлагают и политическую жизнь Франции, и самые основы моральной жизни нации. При таких условиях конечная судьба и французской демократии, и самой Франции остаются все еще под сомнением. Дело Дантона не вечно, как оказалось невечным и даже недолговечным дело Бисмарка. А в России — разве наше поколение не расплачивается сейчас за грехи древней Москвы? Разве деспотизм преемников Калиты, уничиживший и самоуправление уделов, и вольных городов, подавивший независимость боярства и Церкви, — не привел к склерозу социального тела империи, к бессилию средних классов и к «черносотенному» стилю народной «большевистской» революции?

Исторические тяжбы долго тянутся и оканчиваются лишь со смертью народов. Никогда, никогда не изгладятся из жизни России злодеяния пятнадцати лет победоносной революции, как не изгладятся из нее и преступления царей. Отдаленные наши потомки будут расплачиваться за злое похмелье этих лет.

Памятники, — что памятники? Их строят, потом свергают, потом опять строят и свергают. Памятники, гербы и официальная идеология новой, из революции вышедшей России не определяют еще ни ценности, ни прочности этой первой, кое-как отлившейся ее формы. Много раз будет она переливать свой общественный и политический строй, и лишь тогда, когда исчезнут из мира последние следы государства Российского, настанет пора окончательного «суда истории». Но *sine praejudicio* этого последнего суда, каждое мыслящее и нравственное существо не только может, но и обязано иметь свой суд и свою оценку того, что совершается в России. Пусть это будут лишь материа-

лы для будущего суда — хотя бы показания свидетелей или аргументы тяжущихся сторон.

## СПИСОК БЛАГОДЕЯНИЙ

В одной интересно задуманной, но слабо написанной пьесе советского писателя Олеси изображена артистка, которая добросовестно хочет, для себя самой, выяснить свое отношение к большевикам. Для этой цели она завела тетрадку-дневник, куда заносит все впечатления жизни под рубриками: «Список благодеяний» и «Список преступлений» — советской власти. В сущности, каждый из нас должен был бы вести подобный счет, наедине с собой, будучи всегда готовым к самопроверке. Как бы ни было право и свято наше первоначальное отвержение большевизма, жизнь не стоит на месте. Было бы чудом, если бы один большевизм оказался не подвластен закону всеобщего изменения. Мало ли было примеров, когда насильственное завоевание или политическое преступление начинали режим — прочный и благотворительный. В конце концов, это судьба почти всех династий, всех режимов: они возникают из преступления. Если бы большевизм в своем развитии стал пригодной, хотя бы грубой, формой для новой, в революции рожденной России, мы были бы обязаны принять — политически, конечно, — его изначальное преступление. Политика не есть чистая этика — вернее, она лишь в ограниченной мере допускает этизацию. Таковы были мотивы, которые заставили идти навстречу большевизму сменовеховцев и левых евразийцев. Этим мотивам нельзя отказать в правомерности. Как бы только не просчитаться в балансе «благодеяний»! Не претендуя на непогрешимость, я извлекаю из памяти к пятнадцатилетнему юбилею победителей свой старый счет благодеяний и преступлений. Могу свидетельствовать, что вел его все эти годы с полной добросовестностью: нередко подавлял свои непосредственные моральные реакции, чтобы не быть несправедливым к врагу, — всегда готовый признать свои ошибки и проверить их жестокостью диалектикой истории.

Единственное личное удовлетворение, которое я себе позволяю, это выделение благодеяний на первое место. Но и



то потому, что напоследок — в порядке времени — чашка преступлений слишком быстро падает под их страшной тяжестью.

\* \* \*

Б. Большевицкая диктатура в гражданской войне разбила контрреволюционные армии и спасла революцию.

П. Разбиты были силы не только реакции, но и демократии, едва рождавшейся к политической жизни.

Б. Октябрь привел к власти не формальную, а реальную демократию — власть рабочих и крестьян.

П. Октябрь был и остался не диктатурой рабочих и крестьян, а диктатурой пролетариата над крестьянством и интеллигенцией и диктатурой партии над пролетариатом.

Б. Октябрь дал русской революции социальную тему, выдвинув Россию в авангард мирового социального движения. «Мессианиззм» России, славянофильская мечта, воплощается в жизнь большевиками.

П. Октябрь дал перевес интернациональной теме революции над ее национальной темой. Он во многом оборвал эту национальную тему (тему освобождения, тему крестьянства, хозяйственного роста). Он сделал Россию полем социалистического эксперимента, возложив на нищую и некультурную страну колоссальные издержки этого опыта.

Б. Большевизм уничтожил капитализм в России и в эпоху пятилетки насадил мощное государственное хозяйство.

П. Большевизм во много раз подорвал производительность народного труда. Государственная промышленность существует паразитарно за счет эксплуатации деревни.

Б. Большевизм несет в собственническую деревню идею солидарности, кооперации, общего дела.

П. Большевизм несет в деревню классовую борьбу, совершенно искусственно разделяя ее на группы и направляя малоимущих крестьян на хозяйственных разжиганием примитивной зависти.

Б. Большевизм дал деревне тракторы.

П. Он уничтожил рабочий скот и самого трудящегося человека.

Б. Фискальная система большевизма возлагает только на богатых и зажиточных тягости налогов.

П. Именно эта система, без всяких стихийных бедствий, вызвала страшный голод 1920—1921 года, погубивший много миллионов людей и доведший Россию до людоедства, которого она не знала со Смутного времени.

Б. Большевизм сделал рабочего хозяином на фабрике.

П. Большевизм сделал пролетария рабом государства, лишив его права стачек и свободных союзов, окружив сетью шпионов, поставив его жизнь в зависимость от казенного пайка.

Б. В Советах рабочих и крестьянских депутатов большевизм создал удобнейшую для России форму примитивной демократии. Построенная на производственном принципе, она может стать основой социалистической демократии будущего.

П. Превратив выборы в комедию, а народ в голосующее стадо, большевизм скомпрометировал и идею Советов, и демократию вообще, воспитав подданных для любого деспотического режима.

Б. Большевизм вызывает к жизни огромную общественную активность масс, вовлекая их в политические собрания, партию, организации «советской общественности» и проч.

П. Большевизм приучает к массовым демонстрациям и к выполнению начальственных заданий; он пронизывает всю ткань общественной жизни подхалимством, доносом и предательством.

Б. Большевизм ценит работу интеллигенции при ее исконном культурном деле.

П. Большевизм развращает интеллигенцию, угрозой голода и ссылки принуждая ее работать против совести и взваливая на нее в глазах народа ответственность за все промахи и преступления режима.

Б. Большевизм приобщил к культуре широкие массы в размерах, не виданных в России.

П. Да, но предварительно закрыв им доступ к истинной культуре: подменяя культуру партийным учебником и среза начисто ее верхние слои.

Б. Большевизм дает физическое воспитание и спорт для народа, основу ее здоровья и силы.

П. В СССР спорт сделан орудием войны, и здоровье молодежи подкашивается лишениями и перегрузкой ее сил.

Человеческий материал изнашивается чуть не к 30-ти годам. В 40 лет — старики.

Б. Большевизм освободил женщину и уничтожил патриархальную власть семьи.

П. Большевики уничтожают не только семью, но и любовь.

Б. Большевизм освобождает народ от предрассудков.

П. Он убивает веру в Бога, фальсифицирует науку, сводит этику не к социальному даже, а к партийному утилитаризму.

Б. Большевизм провозгласил свободу совести и терпит религиозные культы.

П. Большевики расстреляли тысячи священников, сослали десятки тысяч в Соловки и в Сибирь, разрушили и закрыли тысячи храмов без всяких политических причин.

Б. Большевики, не в пример якобинцам, тщательно охраняли в начале революции памятники искусства и высоко поставили в России музейное дело.

П. Да, но при Сталине они взрывают не только церкви, но и другие исторические памятники Москвы и давно уже по частям распродают за границу музейные сокровища русского народа.

Б. Большевики дали высокое развитие революционной живописи и театру.

П. Но живопись они тотчас же убили тенденциозным реализмом, а театр сохранили — для вдохновения вождей — от дореволюционного времени.

Б. Большевизм вписал блестящие страницы в историю русской литературы.

П. Чтобы удушить ее в конце концов работой на государственный заказ.

Б. Большевизм создает новое революционное сознание.

П. В слоях политически активных. В поработанной массе он воспитывает пораженчество. В культурной политике он отравляет все истоки здорового русского национального чувства.

Б. Большевизм освободил малые народы России и организовал их национальные культуры.

П. Своим деспотизмом он делает из них врагов Москвы, то есть России, и отравляет их самобытное творчество пошлостью интернационального культурного товара.

Б. Большевизм сделал Россию защитницей всех угнетенных наций и классов.

П. Ведя классовую борьбу во всех странах, он изолирует Россию в мире (даже на Востоке). Ведя макиавелистическую политику союзов с капиталистическими странами, он предает дело социализма.

Б. Международная политика России продолжает лучшие традиции имперской дипломатии.

П. Своей противоречивостью она уничтожает свои собственные плоды.

\* \* \*

Не довольно ли? Список благодеяний и преступлений можно продолжать без конца. Вы скажете: он тенденциозен, он навязчиво подсказывает читателю беспощадный обвинительный итог. Да, теперь, когда я его пишу, но не тогда, когда, годами, обдумывалось и взвешивалось значение этих всех фактов. Итог сложился — итог к 15-й годовщине. Я не поручусь, что дальнейшие годы его ни в чем не изменят. Но один отвод я хотел бы сделать сейчас же. Если мне скажут, что итог был предreshен постановкой Б. впереди П. (в уступительном периоде ударение всегда в конце фразы), то я предложу желающим перевернуть порядок. Вы убедитесь, что для очень многих фактов будет невозможно сохранить диалогическую форму: утверждения и возражения. Отчего? Оттого, что за меня фактор времени, а время необратимо. Другими словами, все свои «благодеяния» (результат народной революции) большевики постепенно обратили в преступления, размотав, спустив по ветру не только капиталы старого режима (в чем их обвиняет реакция), но и капитал самой революции.

### КТО ОН?

Читатель, если он имел терпение пробежать неоконченный и никогда не заканчиваемый список благодеяний и преступлений, имеет право поставить вопрос: «Да в нем ли дело? Разве мое отношение к большевизму зависит от того, всегда приблизительно, итога объективного добра и зла, который он несет?»

И да, и нет. Политик считается с фактами, с реальными

последствиями, а не с намерениями деятелей. Вот почему он «торгуется с людоедами» и охотно видит в большевизме воплощение той силы, *Die immer Böse will und nur das Gute schafft*. Для политика баланс благодетелей и преступлений необходим — притом всегда подвижный и ревизуемый — не только политическая борьба. Сам большевизм не хочет быть только политикой. Он ведет войну не за тело, а за душу. Не социализм он хочет строить, а нового человека, новую жизнь, новую этику, новый быт, новую личность. Этого человека в России большевизм строит по своему образу и подобию. Партия Ленина, партия старых подпольщиков стала давно живым образом святости, на котором воспитываются, в формы которого отливаются миллионы юных существ. Эти юноши определяют собою сегодняшний и завтрашний день России. Вот почему основной наш вопрос о большевизме: не ч т о (он делает), а к т о (он есть).

Нередко приходится слышать в наши жестокие дни: не то ужасно, что делают большевики, а в о и м я ч е г о они делают. Можно было бы простить им кровь, если бы она лилась за Россию, простить насилие — во имя истины. Но большевистская идеократия есть сатанократия по самому содержанию ее идеи.

Это двусмысленное утверждение содержит большую правду и большую ложь. Все зависит от того, как понимать это «во имя». Если «во имя» означает рациональное, словесное исповедание догмата, то следует сказать: как ни гнусен большевизм, можно мыслить нечто еще более гнусное. — большевизм во имя Христа. Методы ГПУ на службе церкви были бы в тысячу раз отвратительнее тех же методов на службе у безбожия, потому что есть внутреннее сродство между целью и средством, между верой и жизнью, между идеей и политикой. Оттого мы относимся с таким ужасом к увлечению большевистскими методами в христианском стане. Евразийство у власти, управляющее по большевистской системе, могло бы реабилитировать даже большевизм.

Но возможно другое понимание «имени»: как внутренней структуры души, связанной с догматом, но гораздо более таинственными и незримыми нитями. Так, можно было бы сказать, что материалистическая вера XIX века часто соединялось с христианской структурой души. Больше-

визм не создал новой веры: он взял старый догмат материалистического атеизма, которым жили поколения интеллигенции, но впервые создал для этого догмата адекватного человека. И самое страшное не то, что этот человек делает, и не то, во что он верит, а то, что он есть. Но это качество души действительно органически связано с содержанием его веры, с его «во имя».

Нелегко определить ее, эту большевистскую душу в ее подлинной природе. Прежде всего она не дана в чистом виде. Не будучи абстракцией, она реально и весьма насильственно действует, как закваска, в конкретных душах русских революционеров и комсомольцев, глубоко преобразуя их — но все же не до конца. Всегда остается природный или культурный человеческий остаток, благодаря которому всякий большевик лучше большевизма. В этом последнем парадоксальном преимуществе — единственность большевизма, его коренное отличие от всяких других систем и вер.

Во избежание недоразумений: в политической борьбе слишком привычно концентрировать ненависть к врагу, воплощая его в самом ненавистном социальном типе неприятельного строя. Как для большевиков поляки рисуются в образе панов, а англичане — лордов, так мы представляем большевика («типического» большевика) непременно чекистом. Русские революционеры всегда воплощали самодержавие в жандарме. Даже для французских роялистов «*Sûreté generale*» символизирует республику. Разумеется, это грубое искажение перспективы. Политическая полиция при всяком строе составляется из подонков нации. Большевиков надо судить по их лучшим образцам. И если мы придем к выводу, что большевизм своих лучших героев видит в чекистах и что это вытекает из природы его социального идеала, то и это может быть выводом, а не отправной точкой.

Но было бы столь же неверно судить большевизм по тем его типам, во многом положительным, которые лишь отчасти им покрываются, которые созданы русской революцией и в ее истории нашли себе более полное и яркое выражение за пределами большевизма. Я остановлюсь на двух мнимых обликах большевизма, по которым его судят чаще всего его друзья и поклонники.

Первый образ я бы назвал женским лицом большевизма. Это потому, что он представлен в жизни чаще всего

женщиной. Я часто думал, на основании жизненных встреч, что образцы коммунистического идеализма изредка попадаются, — но только среди женщин. Этот тип идеализма нам всем хорошо знаком по 60-м годам. Идеализм педагогов-просветителей, наивных благодетелей человечества, непременно глуповатых, чуждых высокой культуры, но гуманных и демократически ориентированных. Таковы, по прямой линии из 60-х годов, представительницы старой гвардии: Крупские, Лилины, Бонч-Бруевич и проч. В литературе — Сейфуллина и Шагинян. Виринея кажется прямо слетевшей со страниц Шеллера-Михайлова. Шагинян сложнее и умнее. Но моральный воздух, который так выгодно отличает «Гидроцентральный» от множества индустриальных романов, того же качества. Не спорю, пробуждение русской деревни и мусульманского Востока может создавать такие женские типы, привлекательные при всей их ограниченности. С духом большевизма они не имеют ничего общего. Но в Европе большевизм повертывается именно этим своим лицом. «Путевка в жизнь» есть ловко сделанная фальшивка в Европу такого сорта.

Ближе к большевикам другой тип, мужской, «героический», созданный гражданской войной. По старой терминологии — большевик, но не коммунист. В литературе он называется попутчиком. В жизни он чаще всего был представителем бунтарской силы крестьянства, поднятого революцией. Порой он ужасает нас жестокостью, но и восхищает удалю, непосредственностью, даже великодушием. Романтизм разбойничества соединяется в нем с биологической почвенностью степного зверя. Когда-то Толстой отдал дань восхищения этому образу первобытного героизма в Хаджи-Мурате. Большевики канонизировали Разина и Пугачева. До начала пятилетки вся советская литература жила эксплуатацией этой золотой жилы народного бунтарства. С ней связано лучшее в старом Леонове. Вероятно, Красная Армия вобрала в себя самый дисциплинированный отбор этого слоя. Теперь, вместе со всем крестьянством («кулачество как класс»), ему объявлена война. Во всяком случае, этот народный русский тип, со всем своим добром и злом, тоже не имеет ничего общего с коммунизмом как духовной системой. Он задыхается и гибнет в ней.

Что же остается на долю чистого коммунизма, как ду-

ховный экстракт его в русской революции? Дух партии Ленина, проникающий все — культуру, школу, общественную жизнь, нынешний мозг России, который хочет претворить все ее тело и душу, — с каким успехом, другой вопрос. Лишь в партии, лишь продвигаясь к верхам ее подпольной иерархии, мы впитываем в себя вполне ее отравленный воздух. Трудно ошибиться в качестве и силе этой ядовитой эссенции: в ней гибнет все живое, все человеческое. Дух большевизма — не абстракция, не продукт искусственной философской обработки действительности. Это сама душа действительности, своеобразно неповторимая и все же такая смертью дышащая, что может жить, по-видимому, лишь паразитируя в чужеродной человеческой среде. В абсолютно чистом виде ленинизм не встречается. И Ленин иногда ласкал детей и слушал музыку. Но тем не менее дух большевизма — это в значительной степени создание Ленина, тысячекратное умножение его собственной страшной личности.

Большевик — это прежде всего тип борца. Он закален четвертью века подпольной борьбы с царизмом и годами гражданской войны. Неудивительно, что суровость, жестокость отличают его с первого взгляда. Но суровость и жестокость, в сущности, неподходящие слова. Боевая ценность большевика определяется силой и стойкостью его ненависти. Острота ненависти, в соединении с дисциплиной, заменяет для него все прочие добродетели солдата и революционера. Самоотвержение может иногда оказаться излишним: Ленин никогда не жертвовал собой. Негодование, непосредственное выражение гнева против зла, характерные для революционного благородства, большевизму совершенно чужды. Холодная усмешка — его единственная реакция на зло. Он принимает зло как нечто естественное даже тогда, когда ведет с ним борьбу. Можно ли возмущаться против того, что составляет самую природу социальной жизни? Большевик не верит в возможность бескорыстных и благородных поступков. Везде он чует низкую подоплеку классового интереса и подлости. Справедливость, как он ее понимает, хотя предпочитает не говорить о ней, заключается в таком перемещении сил, при котором насилюемые оказались бы насильниками и наоборот. Зло, совершаемое в интересах пролетариата, заменяет для него



добро. Большевик презирует моральную оценку во всем и никогда не употребляет положительных моральных характеристик: добро, справедливость и т. д. Однако он на каждом шагу пользуется самыми резкими отрицательными оценками: подлость, гнусность и т. д., показывая свою крайнюю восприимчивость к стихии зла. Он ненавидит зло потому, что является его жертвой или отождествляет себя с его жертвами. В беллетристическом изображении классического большевика (Николай Курбов, например) обязательно позорное и растоптанное детство, нередко мать-проститутка, абсолютная безрадостность и мрачность жизни. В такой обстановке вырабатывается безжалостный мститель, каким хочет быть большевик. Вот почему непролетарское происхождение (то есть бескорыстный этический мотив) для члена партии является позорным и, в сущности, неизгладимым пятном: либо потенциальный предатель, либо мягкотелый интеллигент.

Признавая только одну добродетель — силу, большевик считает пороком только слабость — все, что расслабляет занесенный для удара кулак: и сюда, естественно, относится всякое проявление жалости, уважения к человеку, даже справедливости, в смысле оценки мотивов поведения. Нужно выработать из себя машину для боевых функций, человеческий танк, который раздавит все на пути. Укоры совести, самое предположение о их возможности оскорбительно для героя. В них видят моральное разложение, начало болезни. В последнем романе Гладкова («Энергия») герой-коммунист встречает девушку, отца которой по ошибке когда-то убил в гражданской войне. Ему неловко при этом воспоминании — он любит девушку. Но именно она сразу пресекает всякую возможность с его стороны бесполезных сожалений. Он поступил так, как должен был поступить (хотя и ошибся). Что убитый — ее отец, это не имеет ни малейшего значения.

Рисовка? Литературная фальшь? Весьма возможно. Но она скалькирована с какого-то штампа нового героического человека. Такими хотят быть русские комсомольцы. И это главное.

Еще более убийственное — ибо ненарочное, произвольное — свидетельство находим в фотографической хронике Левина «Жили два товарища». Студент в запальчиво-

сти убивает в магазине торговца. Он арестован, и друг его (оба коммунисты) утешает его тем, что убит буржуй и что этот буржуй, вероятно, с радостью сам бы задушил их. Замечательно, что герой совсем не страдает от последствий убийства. Ни он сам, ни автор больше не вспоминают о нем. Побочный эпизод, не существенный для развития романа. Кровь стекает с коммуниста (изображенного в самых симпатичных чертах), как с гуся вода.

У Шолохова в «Поднятой целине», где с такой правдивостью изображена омерзительная картина раскулачивания, одному из участников-палачей к вечеру становится не по себе. Это не раскаяние, но что-то вроде потревоженной совести. «Жалеть, как ты смеешь их жалеть!» — кричит в неистовстве его товарищ, большевик-путиловец, и ярость сбивает его с ног в эпилептическом припадке. Настоящая одержимость, которая поневоле заставляет вспомнить о гадаринском бесноватом.

Довольно примеров. Самое поразительное в них, что они взяты из портретов положительных героев, сохраняющих много человеческих черт. Ясно, что мы имеем дело с моральной тренировкой, с своеобразной аскезой зла, которое в вывороченной наизнанку системе ценностей становится большевистским добром.

Заметили ли вы, что в советских романах слово «зло» употребляется в положительном смысле? Это особенно бросается в глаза в последних романах Леонова, писателя, старающегося, и не без успеха, врать в чужую ему по природе большевистскую кожу. Скутаревский на каждом шагу «зло усмехается», «зло глядит», «зло бросает слова». Здесь злоба становится синонимом силы. В старой русской литературе сила скорее была представлена добрым великаном. Сила была великодушной. Мы привыкли скорее к злобной слабости. Большевизм хочет быть злой силой — не потому ли, что чувствует свою тайную слабость (припадочность, неврастеничность)?

Св. Георгий или Аполлон, поражающий дракона, — попробуйте представить себе большевизм в этом символе. Сразу чувствуется нестерпимая фальшь. Но дракон, огнем и серой испепеляющий человека, это его памятник. Большевизм — это реванш Пифона.

Неврастеническая и злая сила, подавившая в себе окон-

чательную жалость и любовь к человеку, — может ли сохранить в себе свежесть жизни, способность к природной, органической радости? На пороге XX века духовные предтечи большевизма (Горький, Арцыбашев) любили рисовать веселую и красивую жестокость ничшеанского зверя. Зрелый большевизм бежит красоты. Большевик никогда не смеется. Он скучает среди природы. Зелени ее полей он предпочитает угольную пыль рудников. Лязг машин — песне человеческого голоса. Он до сих пор не знает, что ему делать с любовью: превратить ли ее в товарищество борьбы, в безразличный чувственный акт или подавить ее совершенно. Ясно одно, ее нельзя допустить как любовь. Ибо всякая любовь — к человеку, к женщине, к земле, к искусству, к истине — расслабляет, «размагничивает» человеческую машину, функционирующую для убийства.

Будем справедливы. Суровость борьбы ожесточает человека. Убийство жалости — требование Ничше — понятно в солдате. Многие из слишком яростных врагов большевизма завидуют ему в этой «каменной» или «стальной» бесчеловечности. Разумеется, моральный большевизм может развиваться на всякой почве — не на одной классовой ненависти. Но жестокость солдата, революционера, бандита до сих пор никогда не исключала профессиональной этики, которая знает и правила «честной игры», и законы товарищества, может иногда позволить себе великодушие к врагу. Большевизм принципиально запрещает себе не только жалость, но и всякое руководство моральным критерием — кроме интереса и дисциплины партии. Товарищество, братство по оружию когда-то связывало коммунистов в легендарные дни гражданской войны. Недаром с такой тоской вспоминают о них строители пятилетки. Но давно уже партия убила всякую возможность морального отношения к товарищу. Нужно быть всегда готовым раздавить слабого, предать доверчивого, уничтожить самого честного и стойкого борца, когда он стоит поперек «генеральной линии». Чего стоит одна сцена партийной чистки у того же Левина. Но литература перестает быть нашим проводником по самым глубоким кругам коммунистического ада. Освещение их несовместимо с социальным заказом. Здесь мы должны ориентироваться по политическим документам — мемуарам и показаниям перебежчиков. Теперь мы знаем,

как управляется коммунистическая партия. Изумительный организационный аппарат ее сводится главным образом к искусству игры на человеческой низости. Подобранные для каждого члена партии досье его грехов и слабостей держит его в руках генерального секретаря. Система держится не на взаимном уважении, а на взаимном недоверии и страхе. Вождю выгоднее иметь дело с запутавшимися негодьями, чем с безупречным товарищем. И уж подавно легче управлять людьми, не способными иметь свое мнение и за него бороться. Отсюда эта постоянная гимнастика предательства своих убеждений, упражнения в покаянных письмах и доносах на единомышленников. Нужно унижить, скомпрометировать возможно больше членов партии, чтобы они не могли выйти из повиновения. Верность коммунизму, стойкость убеждений — лучшие качества бойца, последние остатки военно-революционной этики — сознательно разрушаются во имя партийной дисциплины.

Когда к большевикам приходит работать человек со стороны, беспартийный «спец», интересуется ли их его честность, его сочувствие делу социализма? Нисколько. Они боятся убеждений, предпочитают иметь дело с подлецом — со Слащевым, а не с Савинковым. Они виртуозно умеют играть на человеческих пороках: знают, кого соблазнить деньгами, кого славой, кого женщиной, — но таинственный мир свободного этического самоопределения их пугает. Что сулит эта свобода? Сегодня с нами, а завтра? С нами — до каких пределов? До первой подлости? Нет, лучше уж с самого начала унижить и раздавить человека в застенках ГПУ — сделать его предателем, например, — тогда от него можно получить что угодно.

Эта работа соблазна и развращения интеллигенции проводится большевизмом в грандиозном масштабе: не привлечения, не приручения, а именно развращения. Мы с ужасом наблюдаем отсюда плоды этой провокаторской работы — в среде ученых, артистов, писателей, даже в церкви. И не сочувствия социализму добывается власть: она требуется безусловной покорности, простого выполнения директив генеральной линии.

Ложь давно уже стала второй природой большевизма. Ленин первый обосновал ее в политической игре. В настоящее время можно сказать, что коммунизм уже потерял

способность различения истины и лжи, как, много раньше, — добра и зла. Истина приобрела чисто служебное, или тактическое, значение — для генеральной линии, для сегодняшнего дня. Это признается с наивным цинизмом издателями Советской Энциклопедии, историками партии. История не может угнаться за политическим заказом, меняющимся каждый день. Вчерашние полубоги, в которых верили, на которых учились, сегодня втаптываются в грязь по указке свыше. Внутрипартийные заговоры готовятся провокацией. Кампании клеветы организуются планомерно. Вожди ведут игру, договариваются, спорят. Когда определились слабейшие, на них спускают псов. Тысячи перьев, десятки тысяч глоток во всех концах России рвут, грызут, обливают помоями товарищей, вождей, которые вчера для них олицетворяли дело революции. И во всем этом ни капли убеждения. Механизм клеветы организован как механизм клаки или рекламы.

Но нас интересует не система большевистского властвования, а строй души. Что остается в ней, что ее держит при разложении всех моральных скреп? Связь с коллективом, с партией, с могущественным сверхличным организмом. Превратиться в клеточку, не чувствовать, убить свою личность — единственный способ сохранить жизнь и способность к действию. Возможно ли это — не для муравья, а для человеческого существа? Оказывается, возможно, но при одном условии: в непрерывном действии, в борьбе, в движении. Как только машина останавливается — время нэпа, — так человеческие клетки неизбежно разлагаются. Динамизм, энергетизм могут быть поняты и самим большевизмом нередко понимаются как подлинная его природа. Отрицать его энергетический характер невозможно. Останавливаться на нем излишне. Весь мир изумляется сверхчеловеческой энергии, вложенной в строительство пятилетки. Это та же энергия, что в годы гражданской войны, взнузда, подняла на дыбы измученную бойней, распавшуюся Россию. Но чрезвычайно важно определить природу его энергии, его духовного двигателя.

Русские писатели, поставленные перед социальным заказом, и Европа, зрительница небывалого строительства, часто обманываются или обманывают, принимая большевистскую энергию за волю к творчеству, к созиданию. Сло-

во «творчество», кстати сказать, стало в России ходячей, модной монетой. Но, вглядываясь пристально в характер этого полубезумного творчества, видишь, что в основе его лежит всегда пафос борьбы. Борьба не создает ценностей, но разрушает: убивает живую силу врага и его — пусть ложные — ценности. Творчество немыслимо без любовного созерцания идеи-цели, без момента внутренней тишины и радости, хотя бы рождающей самые бурные внешние проявления. Но большевизм уничтожил в себе все источники созерцания, радости, любви, то есть все источники творчества. Он родился в войне и до сего дня остается воякой на самых разнообразных участках фронта: хозяйства, техники, быта, искусства, науки, религии. Всегда и везде уничтожение врага — главная цель. Вся соль коллективизации — в уничтожении кулачества как класса. Вся изюминка строительства «Соти» — в разрушении соседнего монастыря. Индустриализация — это таран для разрушения старой, все еще живой России. Марксизм в науке, в литературе — это не столько метод познания, сколько метод уничтожения буржуазной культуры. За всяким большевистским делом, за самой мирной работой чувствуется прицел наведенной винтовки: в священника, в крестьянина, в профессора, в вольного художника, в отца и мать старой семьи, в кондовую Русь, в счастливый уют ненавистного мещанства. Отмыслим этот военный шум, бряцание оружием — что останется? Каковы положительные цели большевизма и его грандиозного военного строительства?

Мировая революция? Но это лишь перенесение русской борьбы на мировое поле. Средство, а не цель. Социализм? Попробуем увидеть, что именно в социализме может прельщать большевиков, где наваждение, влекущее их чрез кровь и грязь, чрез уничтожение в себе человеческого образа.

Жалость, сострадание к угнетенным? Но они убили в себе жалость, организовали новое угнетение в колоссальных размерах.

Пафос справедливости, понятой как равенство? Но большевизм глумится над «уравниловкой», выделяет собственную аристократию, строит общество, явно иерархическое.

\* Удовлетворение материальных потребностей пролетариата? Но большевизм презирует комфорт, остро ненавидит самые вещи, образующие человеческий быт. Для него все это

мещанство. Он организовывал целые кампании для разгрома утвари в рабочих квартирах. Только старые учительницы («шестидесятницы») могут усматривать в производстве вещей и комфорта цель коммунизма. Борцов не соблазнишь «ширпотребом»: это подачка для голодной толпы.

Свободное человеческое общение в радости и труде? Но большевизм убил человека, всякую возможность радости и любования человеком.

Духовное творчество освобожденного человечества? Но большевизм опорочил заранее всякое «чистое» творчество: искусство, науку, не говоря уже о религии. Утилитарный взгляд на них не совместим с постановкой их на вершине пирамиды целей.

Так и остается борьба ради борьбы, пустой динамизм, бесцельный бег, разрушение для созидания, созидание для разрушения. Самая воля к мощи, упоение силой коллектива, бесцельной силой, является другой стороной того же пафоса борьбы и разрушения.

Так, в последнем анализе, большевизм представляется небытийственным, очищенным от всего человеческого, мертвенной работой созданного для разрушения механического двигателя. Дух большевизма — дух небытия.

\* \* \*

Повторяю еще и еще раз. Этот чистый дух не может до конца воплотиться в человеческом существе. Или иначе: человек не может взрастить в себе этого демона до полного убийства в себе всего человеческого. Задолго до этого предела он сходит с ума или стреляется. Русские большевики — люди, и не всегда худшие из людей: отношение к ним как к бесам отвратительно и религиозно недопустимо. Но дух, сидящий в них, именно таков, и, разрушая их самих, он производит разрушительный эффект на огромном радиусе вокруг себя. Большевизм можно мыслить как демона-мстителя, выпущенного из подпольных недр старой России для ее казни. Ужас в том, что палач России (*gastaldo di Dio* св. Франциска) превратился в ее воспитателя. Вампирически питаюсь кровью ее страстей, он прильнул к ее телу и к ее душе, заражая ее своим гнилостным, смертным дыханием. Распад живых тканей, произведенный

им, огромен. По-видимому, этот процесс не только не остановился, но и прогрессирует. Но живая душа сопротивляется, она не хочет умирать и борется с духом тления. Если она исцелится, на что мы все надеемся, опыт ведения ада не может пройти для нее бесследно. Она спасется «как бы из огня». И долго спустя после политической смерти большевизма тяжелый след его, в крови России, в отпечатках злого слова, будет отравлять ее, отравлять мир, больше всего мир строящегося социализма, который принял в свой Пантеон кумир Ленина. Вот почему, побежденные сегодня, мы не слагаем оружия. Большевикам простим, но большевизму никогда. Будем хранить и завещаем в века святую непримиримость. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных».



## О НАЦИОНАЛЬНОМ ПОКАЯНИИ

И ликует, смеясь над тобой, сатана,  
Что была ты Христовой звана.

*В. Иванов (Cor ardens).*

**Б**ыть может, религиозная судьба России сейчас лишена того, что называется общественной актуальностью. Внешне побежденная, религия в России загнана в подполье. Верность Церкви, участие в ее жизни равносильны отказу от внешней не только политической, но и профессиональной работы. Социальные процессы, совершающиеся в России, приобрели столь оголенно материальный, стихийный характер, что кажется трудно внести в их бесчеловечную механику такой невесомый, такой «ирреальный» момент, как религиозная вера христианского остатка. Огромное множество живущих и действующих в России людей, особенно молодых, вероятно, просто не замечают явления религиозной жизни; во всяком случае, не относятся к нему серьезно. Утверждать при этом, что падение большевиков необходимо связано с религиозным возрождением России, кажется нестерпимой фальшью. Большевизм может пасть от саморазложения своей идеи, от сопротивления экономической стихии гораздо раньше, чем религиозность в России станет заметной общественной величиной.

Но совершенно иначе встанет вопрос, когда мы от разрушения большевизма перейдем к восстановлению России. Россия для нас — не голое «месторазвитие», не условное имя Восточно-Европейской равнины с конгломератом народностей, вовлеченных в техническую цивилизацию Запада. Представим себе, что нам суждено вернуться в освобожденную Россию и работать для нее остаток наших дней. Что мы увидим, что мы узнаем от России? Культура, моральный облик, самая внешность, от одежды до физического типа людей (отяжелевшего, заострившегося), так изменились, что мы можем не признать в них своих, как они в нас. Что же останется от России?

Язык? Но столь переродившийся, что каждое слово бу-

дет мучительно резать ухо. Земля? Единственно неизменная, всегда любимая... но которая может стать для нас кладбищем, где среди развалин и исторических памятников нам останется только плакать о России. Среди «младого, незнакомого» племени утешит ли нас горячка американского строительства, самодовольство грошового просвещения, даже физическое здоровье новой, грубой расы — утешат ли они в гибели того, что мы все, даже не верующие в онтологический смысл этого слова, называли душой России? Эту душу мы ощущали безотчетно в каждой интонации родной речи, в том, что просвечивало сквозь телесно-зримую оболочку русского этнографического типа, и, сопоставляя это «безотчетное» с тем, что мы считали самым подлинным, самым русским в нашей культуре, мы спокойно констатировали их тождество. Народ и его культура были единым. Народ творил культуру.

Нетрудно видеть, что и эта культура, и душа этого народа были существенно христианскими. Вся русская литература XIX века в основном своем русле, да и почти во всех своих побегах, — была, по крайней мере в этическом смысле, христианской. Для Запада это бросалось в глаза с полной ясностью: та любовь и сострадание, та жертва и нисхождение, в которых иностранцы видят пафос русской литературы, бесспорно принадлежат к христианскому наследию в уже дехристианизированной культурной среде. Можно уточнить и дальше и признать не только христианский, но и восточно-православный характер этой культуры. Признать родство русской интеллигенции, даже в безбожном ее стане (а может быть, особенно в безбожном), с типом древнерусской религиозности. Подвижники, юродивые, страстотерпцы обернулись опрошенцами, народниками, мучениками за волю и счастье народа. Хотя отступничество от имени Христа не прошло и для них даром. Мрачные тени легли на иконописные лики безбожных праведников. Искажение, потом разложение христианской души уже началось — в диалектике революции.

В большевизме этот процесс разложения закончился. Ему удалось воспитать поколение, для которого уже нет ценности человеческой души — ни своей, ни чужой. Убить человека — все равно что раздавить клопа. Любовь — случай животных, чистота — смешной вздор, истина — классо-

вый или партийный утилитаризм. Когда схлынет волна революционного коллективизма, эта «мораль» станет на службу личного эгоизма. Французская революция была не менее грандиозной, планетарной, эсхатологической. Но когда волны ее потопа вошли в берега, на дехристианизированной земле поднялся и процвел мещанин — расчетливый и скопидомный стяжатель. Судьба обезбоженной России будет ли иной? Если чисто буржуазное мещанство в наш век как будто невозможно, то остаются другие формы: мещанство огосударственное, мещанство смешанное — наконец, мещанство социалистическое. Но и мещанство не последняя ступень человеческого падения. Человек без Бога не может остаться человеком. Обезбоженный человек становится зверем — в борьбе — или домашним животным — в укрощенной цивилизации.

Культура — эти сгустки накопленных ценностей — замедляет процесс бестиялизации обезбоженного человека, задерживая его в этических, эстетических планах человеческой душевности. Вот почему слабость культурной прослойки в русской жизни беспощадно оголяет зверя. Прошедший через революцию русский человек быстро теряет не только национальное, но и человеческое лицо.

Но если это так, то восстановление России, мыслимой как национальное и культурное единство, невозможно без восстановления в ней христианства, без возвращения ее к христианству как основе ее душевно-духовного мира. При всякой иной — даже христианской, но не православной — религии это будет уже не Россия. Без религии — это не нация, а человеческое месиво, глина, из которой можно лепить все, что угодно: камень, дерево, металл, который можно дробить на какие угодно части. Имена Евразии, Восточно-Европейского государства и т. п. уже указывают возможные формы ее гибели.

Это новое крещение России, конечно, может совершиться только силами ее христианского остатка. Он существует. Мы не только верим в него, но и знаем о нем. Он носит в себе образ и форму будущей России — если ей суждено возродиться.

Если? Возможно ли здесь сомнение? Не преступно ли самое сомнение?

Есть два рода сомнения. Одно разлагает, убивает муже-

ство, зовет к бездействию. Иное — сомнение борца. В сущности, не сомнение, а сознание опасности, которое заставляет напрячь все силы в борьбе за бесценное благо, поставленное на карту. В борьбе, напротив, беспечность, наивная уверенность в успехе является нередко источником поражений. Римский сенат когда-то благодарил консула, легкомысленно погубившего свое войско в сражении с Ганнибалом: «Варрон не отчаялся в спасении отечества». Среди обуревающего многих безверия и пессимизма хочется приветствовать веру в Россию пореволюционного поколения. Беда лишь в том, что борьба наша не с внешним, а с внутренним, прежде всего духовным врагом. Презирать его — значит открыть ему двери. Читая страницы некоторых наших мессианистов, нельзя отделаться от ощущения, что Ганнибал не у ворот, а в стенах города.

В недавно вышедшем романе Таманина «Отечество» автор сводит религиозные счета с Россией. Его герой, пройдя сквозь муки первых большевистских лет, приходит к религиозному просветлению и вместе с тем к преодолению своего природного, натурального национализма. В этом я готов видеть положительный смысл идеологического романа. Зато страшным и религиозно необоснованным мне представляется его разрыв с Россией: «Не знаю, откуда это чувство, даже почти уверенность — что она погибла... Не строй погиб, а страна, русская нация». И еще: «Наших мучений ни одно государственное устройство уже не стоит. А родина стоит ли? Когда-то от обольщения родиной погиб целый народ. И перед нами то же, как во дни Тиверия: опять страшный выбор между родиной и Богом сделать надо».

Не знаю, какое право имеет автор (хотя бы устами героя) говорить о совершившейся гибели России. К тому же слова эти относятся к тем годам, когда сопротивление России коммунизму носило героические формы: в военной борьбе и христианском мученичестве и мужественном сопротивлении большей и лучшей части интеллигенции. С тех пор многое изменилось — к худшему. Сжался, поредел верный остаток... И все же, пока он существует, пока духовная борьба за душу России не прекратилась, мы не можем говорить о гибели России. Таманин сказал громко лишь то, что про себя шепчут многие в эмиграции; оттого и бегут в иностранное подданство, в католичество, в чужую жизнь.

Честь молодежи, которая не поддавалась малодушию и, наперекор всему, не потеряла веру в Россию. Однако и ей есть к чему прислушаться в словах таманинского героя. Выбор между родиной и Богом все-таки нужно сделать. Хотя бы для того, чтобы восстановить истинную иерархию ценностей, чтобы не в одном духе и смысле произносить соблазнительные слова: «За веру и отечество» (для других еще и «царя»).

Христос требует жертвы — самым дорогим и священным, что есть у человека: отцом и матерью, следовательно, и родиной. Так как Он есть вечная жизнь, то ничто живое в нем не погибает. Он вернет человеку мать и отца, вернет и родину, но вернет иными, для иной, более чистой любви. Любовь во Христе есть любовь к идеальному образу любимого лица. Она не исключает и плотской теплоты и служения целостному душевно-телесному существу, но она подчиняет все низшее, хотя бы и оправданное, хотя бы и прекрасное, духовному образу. Христианская любовь к родине не может ставить высшей целью служение ее интересам и ее могуществу — но ее духовный рост, творчество, просветление, святость.

Впрочем, все это охотно признается современным мессианством. Ведь и для него высшее — духовное — призвание России — благая весть, которую она несет миру. Соблазн русского мессианства в другом: прежде всего в гордости своего признания.

Гордость призвания! И какого призвания... Как будто такое призвание можно носить легко и удобно, как хорошо сшитое платье. Такое призвание, если только помнить о нем, жерновом ляжет на плечи, бросит крестом на землю, пронзит сердце кровоточащей раной. Ведь дело идет не о чем ином, как о спасении мира. Для христианского сознания только жертва имеет спасительное значение. И так как эта жертва принесена раз навсегда за весь мир, то спасение теперь может означать лишь принятие этой голгофской жертвы, лишь соучастие в ней. Так, правильно понял свое призвание польский мессианизм, основавший свою веру в Мессию-Польшу на безмерности ее страданий и ее веры.

Я думаю, что и польский мессианизм был неправ. Ибо в христианском мире не может быть народов-мессий, спасающих человечество. Каждый народ, спасая себя, участву-

ет в общем спасении — имеет свое, хотя и неравное по дарам и значению призвание — миссию. Но если когда-нибудь был мессианизм, относительно оправданный, то это мессианизм польский.

Русскому мессианизму всегда не хватало одного из двух существенных моментов — или страдания (в прошлом), или верности (в настоящем). Впрочем, русские славянофилы, с присущим им религиозным тактом, никогда не говорили о мессианизме России. Однако многое из этой польско-католической идеи переносилось ими на Россию. Россия, спасающая мир, — такова была их эсхатологическая утопия. Христианская неправда ее была в том, что Россия мыслилась ими во всеоружии своей государственной мощи и славы. Жертвенное спасение подменялось империализмом Кесаря. Младшее поколение славянофилов стало жертвой этого грубого нехристианского соблазна и этим сорвало дело православного возрождения в России. Достоевский-публицист именно здесь предаёт художника-провидца.

С тех пор утекли океаны воды. Совершилось — вернее, обнажилось воочию — религиозное отступничество России. Когда-то один из самых чутких глашатаев нашего христианского возрождения вопрошал Россию:

Каким ты хочешь быть Востоком,  
Востоком Ксеркса иль Христа?

Уже поколение Александра III дало на этот вопрос ясный, хотя и бессознательный ответ. Идеал правды был принесен в жертву славе и мощи. Стилизованный по-православному Ксеркс стал идеалом православного царя и всего русского мнимохристианского национализма. Отступничество революции было предвосхищено давно — Леонтьевым и Данилевским. Большевизм, сорвав все маски, строит Россию Ксеркса.

Если трудно издали видеть Россию, судить о происходящих в ней социальных и культурных процессах, то еще труднее судить о совершающемся в ее духовной глубине. Во всяком случае, нет ничего, что бы оправдывало безответственное ликование. Кричать сейчас о победе христианства в России — все равно что затягивать свадебную песню на похоронах. Правящая, активная, молодая Россия, насчитывающая, во всяком случае, миллионы... глоток, гонит христианство с

яростью одержимого. Горсть мучеников умирает в каторжных тюрьмах и ссылке. Масса не поднимается на защиту ее вчерашних святынь. Звериная борьба за жизнь поглощает ее всецело. Трудно судить, остается ли еще уголок в ее душе, доступный нездешнему Слову. Может быть, еще как вздох о невозвратном, утраченном и невозможном...

Как бы ни оценивать силы борющихся сторон, ясно одно. Сейчас происходит отчаянная борьба за душу России и ее духовную судьбу. Сколько праведников спасают Содом? Кто сочтет? В руках архангела повисли весы над бездной, и чашка их колеблется под тяжестью бедных человеческих душ. Таково должно быть наше восприятие совершающегося. Это страшно. Это страшнее, чем у постели тяжело больного в час кризиса. И в этот час — молчания и молитвы — кошунственна осанна иерихонских труб, неуместны торжественные гимны на тему: «С нами Бог! Разумейте, языци, и покоряйтесь...»

Если же не молчание, а слово, то о чем? Какое слово может быть религиозно действенно, может помочь спасительному выходу из кризиса? Только одно: вечное слово о покаянии.

Покаяние — ужас и отвращение к себе («и трепещу и проклинаяю»), ненависть к прошлому, черта, рубеж, удар ножа, новое рождение, новая жизнь... *Inscipit vita puova.*

Почему Россия — христианская Россия — забыла о покаянии? Я говорю о покаянии национальном, конечно. Было ли когда-нибудь христианское поколение, христианский народ, который перед лицом исторических катастроф не видел в них карающей руки, не сводил бы счеты со своей совестью? На другой день после татарского погрома русские проповедники и книжники, оплакивая погибшую Русь, обличали ее грехи... Жозеф де Местр видел в революции суд Божий..А в православной России не нашлось пророческого обличающего голоса, который показал бы нашу вину в нашей гибели. Это бесчувствие национальной совести само по себе является самым сильным симптомом болезни. Пореволюционные националисты в этом отношении как две капли воды похожи на своих отцов: националистов школы Александра III. Если от последних христианская совесть требует покаяния в грехах старой России, то от первых, стоящих на почве революции, требуется покая-

ние в ее грехах. Каково должно быть пореволюционное христианское сознание? Оно прежде всего исполнено ужаса перед революцией как своим грехом, грехом своего народа и стремления начать новую жизнь, чистую от кровавых воспоминаний, хотя и на почве, политой кровью, в условиях, созданных революцией.

Вместо этого христиане говорят о переключении революционной энергии. Это значит: та ярость, та одержимость злобы, которые сегодня направлены на построение классового и безбожного Интернационала, завтра будут направлены на созидание национальной и православной России. Какой кошмар! Рука, убивающая сегодня кулаков и буржуев, завтра будет убивать евреев и инородцев. А черная человеческая душа останется такой же, как была, — нет, станет еще чернее...

Я знаю, что ничего такого не хотят пореволюционные христиане. Но, не требуя покаяния, но, преклоняясь перед разливом революционных стихий, такое будущее они готовы. Самое страшное, что в этой перспективе нет ничего невозможного. Ненависть, большая и ослепляющая, как и мания преследования, легко могут изменять свой объект. Народ, который за несколько лет до революции избивал социалистов, стал избивать буржуев, — оставшись, в сущности, самим собой. Если отвлечься от религиозной темы, то переключение революционной энергии в национальную — самое обыкновенное явление. Наполеон вырастает из Дантона, как Муссолини из Гарибальди. Только никакими переключениями зла нельзя получить ни скрупула добра. Оцерковленное, оправославленное зло гораздо страшнее откровенного антихристианства.

Бесконечно тяжело, что наше национальное возрождение хотят начинать, вместо плача Иеремии, с гордой проповеди Филофея. Бедный старец Филофей, который уже раз отравил русское религиозное сознание хмелем национальной гордыни. Поколение Филофея, гордое даровым, незаработанным наследием Византии, подменило идею русской Церкви («свободой Руси») идеей православного царства. Оно задушило ростки свободной мистической жизни (традицию преп. Сергия — Нила Сорского) и на крови и обломках (опричнина) старой, свободной Руси построило могучее восточное царство, в котором было больше татарского, чем греческого. А между тем



Филофей был объективно прав: Русь была призвана к приятию византийского наследства. Но она должна была сделать себя достойной его. Отрекаясь от византийской культуры (замучили Максима Грека!), варварская рука схватилась за двуглавого орла. Величайшая в мире империя была создана. Только наполнялась она уже не христианским культурным содержанием.

Трижды отрекалась Русь от своего древнего идеала святости, каждый раз обедняя и уродуя свою христианскую личность. Первое отступничество — с поколением Филофея, второе — с Петром, третье — с Лениным. И все же она сохраняла подспудно свою верность — тому Христу, в которого она крестилась вместе с Борисом и Глебом — страстотерпцами, которому она молилась с кротким Сергием. Лампада преп. Сергия, о которой говорил Ключевский, еще теплилась до наших дней. И вот теперь, когда всей туче большевистских бесов не удалось задуть ее, вызывают, как Вия, из гроба старца Филофея: не задует ли он?

Будем верить, что не задует и что из всех блужданий и блуда освобожденная от семи бесов Россия, как Магдалина, вернется к ногам навсегда возлюбленного ею Христа.

## НОВЫЙ ИДОЛ

**В**сего несколько лет тому назад можно было утверждать, что европейскому культурному миру угрожают два врага — одинаково сильных и страшных: коммунизм и национализм. Борьба классов и борьба народов сжигала Европу, как свечу, с двух концов. Вопрос, казалось, лишь в том, какой огонь добежит скорее до середины — до точки взрыва. Суждено ли нам погибнуть в мировой войне или в мировой революции? Но было ясно и тогда, что два исхода ведут к одному. Война неизбежно приведет к революции, а революция — к войне. Поэтому все разговоры на тему о том, какое зло больше — национализм или коммунизм, — являлись, по существу, праздными. На нас, на русскую эмиграцию, Провидением возложена своя миссия: борьба с коммунизмом. Для того мы здесь, на чужой земле, чтобы выполнить наш долг. Но только ослепшие в подполье глаза могли не видеть двусторонней опасности и считать коммунизм единственным врагом человечества. Так, старый русский революционер, закрывая глаза на сложность действительности, видел в самодержавии главного врага мировой свободы и культуры.

Как недавно это было — тому назад каких-нибудь три года, — и что осталось от этой привычной политической обстановки? Коммунизм разгромлен во всем мире. Он мертв, как может быть мертво политическое движение, еще вчера казавшееся мощным и яростным. В Германии и Австрии — вчерашней цитадели марксизма — он утоплен в крови, вместе с социал-демократией. Во Франции, где еще недавно коммунизм шумел, разбухая на московской субсидии, он выдохся, присмирел, мечтает о возвращении в лоно социалистической партии, выставляя умереннейшую парламентарную программу. Троцкистский раскол, уведший от него искренние революционные силы, и охлаждение Москвы обескровили во Франции воинствующее крыло

рабочего движения. В англосаксонском мире оно никогда не было сколько-нибудь влиятельным. В половине Европы — к востоку от Альп и Рейна, где развевается, в тех или иных цветах, знамя фашизма, о коммунизме не может быть и речи. Он задушен беспощадно и окончательно.

Навсегда ли? Этого мы сказать не можем. Точнее, можем сказать наверное: коммунизм воскреснет непременно — в старой или новой идеологической одежде, — если мир не выбьется из капиталистического хаоса или повторит безумие новой войны. Ибо коммунизм есть дитя хаоса и тень войны. Смерть старого мира выделяет его бактерии как побочный продукт разложения. Но такой коммунизм не зависит ни от Москвы, ни от идейного наследия Ленина. Ответственность за него несут те, кто держит сейчас в своих руках управление политическим и хозяйственным рулем мира.

Гибель коммунизма в центральной и восточной Европе связана с разгромом социал-демократии. Враги не разбирают оттенков «марксистской» мысли и тактики. Вчерашние братья-соперники встретились у эшафота и в концентрационных лагерях. И ясно, что не одно насилие их сломило, но также и исчерпанность, вырождение той идеи, которая объединяла оба крыла рабочего движения: идеи классовой борьбы.

Значительные группы рабочего «класса» влились в армию фашистских победителей. Они верят теперь, что осуществление их социалистических чаяний — право на труд, на достойное человека существование — принесет не победа класса, а торжество национального надклассового государства. Фашизм дает это обещание и пока встречает доверие. К сожалению, до сих пор мы не видим, чтобы это доверие было им оправдано. Еще рано судить о конце фашистского эксперимента, но пока он представляется скорее делом консолидации давшего трещину капитализма, чем серьезной попыткой его преодоления. Вот почему крушение классовой борьбы пролетариата не принадлежит к утешительным явлениям современности.

Не нам защищать и деологию классовой борьбы, отравлявшую несколько поколений моральное сознание рабочего. Но остается фактом, что сама борьба эта была в течение последнего столетия одним из мощных факторов

социальной реконструкции. Именно она, вопреки всем доктринерским теориям экономического либерализма, содействовала гуманному социальному законодательству, смягчению капиталистической эксплуатации, культурному подъему народных масс. Ни один режим не склонен к самоограничению, не вынуждаемый к этому борьбой враждебных групп. В современных уцелевших демократиях именно это отсутствие серьезного рабочего давления объясняет беспечность правящих верхов, их легкомысленную работу штопальщиков перед лицом открывшегося хаоса. Вместе с рабочим классом из мира выпал сейчас один из могучих таранов прогресса. Эта сила, конечно, являлась до известной степени слепой, зачастую разрушительной, но все же оставалась огромным потенциальным источником энергии в руках смелого реформатора.

Современные экономисты указали, что численная и моральная слабость рабочего класса объясняется изменившимся характером промышленной техники и организации. В век рационализации убывает значение мускулов и возрастает влияние мозга: инженер и технический сотрудник вытесняют рабочего. Вероятно, это так. Но этот процесс, едва начавшийся в Америке, не сказался еще значительными переменами в хозяйстве Европы. Гораздо действеннее результаты разложения классовой психологии психологией национальной. «Сознательный пролетариат» — продукт не завода, а доктрины. Рабочий, осознавший себя прежде всего немцем, итальянцем, французом, перестает быть пролетарием. И в этом процессе роль войны, вероятно, значительнее новых хозяйственных форм.

Самое характерное для нашего времени — это победа национальной идеи в России.

Внешняя ли опасность, несомненно угрожающая СССР, дальнейшее ли развитие сталинского «социализма в одной стране», но политика и идеология Советов, несомненно, вступили в фазу острой национализации. Уже давно бряцание оружия в Москве заглушает мотивы интернационалистического антимилитаризма. Но раньше мы понимали эти танки на Красной площади как подготовку мировой революции. Война для Сталина и Ворошилова, казалось, была лишь формой развертывания революции. Теперь приходится сказать: дальновиднее были те европейцы, ко-

торые считали, что под красной маской СССР продолжает традиционную русскую экспансию в Азии. Именно удар из Азии на Дальнем Востоке вызвал новую кристаллизацию и в европейской политике Советов. Союз с Францией и версальской группой держав, отказ от ревизии договоров (главный фермент революции), прекращение поддержки коммунистов Европы показывают, что мечта о мировой революции погребена окончательно. Сталин никогда не был интернационалистом по своей природе: всегда презирал европейского рабочего и не верил в его революционные способности. Добившись единоличной, неограниченной власти в величайшей стране мира, что удивительного, если он приносит в жертву этой власти (и стран, с нею связанной) остатки своих бывших псевдорелигиозных убеждений? Интернациональный коммунизм для него, вероятно, значит не больше, чем православие для императорской дипломатии последних столетий: необходимый декорум для защиты национальных интересов.

Вещь неслыханная, невозможная вчера: в СССР «родина» объявлена священным словом. Родина склоняется во всех падежах, комсомольцы учатся патриотизму по классическим прописям: то есть прежде всего национальной гордости. Первая в мире страна, самая свободная, самая мощная, самая передовая! На нее покушаются — мы дадим отпор. И враги — это уже не мировая буржуазия, а конкретно: Япония, Германия. Нельзя думать, что все это пишется и говорится по заказу. Естественнее предполагать, что власть только открыла шлюзы, долго сдерживавшие поток бурной национальной стихии.

Вчера можно было предсказывать грядущий в России фашизм. Сегодня он уже пришел. Настоящее имя для строя СССР — национал-социализм. Здесь это имя более уместно, чем в Германии, где Гитлер явно предал национал-социалистическую идею. Сталин, изменяя коммунизму, становится национал-социалистом, Гитлер, изменяя себе, превращается в вульгарного националиста. Во всяком случае, кровное родство между фашистской группой держав, включая Россию, несравненно сильнее их национальных отличий: последние носят порой чисто символический характер.

Итак, национализм торжествует во всем мире: в демок-

ратиях, в фашистских государствах и в псевдокоммунистической псевдореспублике. В демократии национализм консервативен, являясь формой коллективной защиты интересов; в фашизме он агрессивен, борется не столько за интересы, сколько за чистую мощь и принимает форму социальной религии, требующей человеческих жертв.

Сто лет тому назад национализм совершал свое победное шествие по Европе, и тогда его буря была оплодотворяющей и творческой. Он освобождал угнетенные народы, он собирал в единство из раздробления, он поднимал целину национальной «земли», — из погребенных исторических кладов, из этнографических сокровищ зачиная новую «романтическую культуру», несравненно более глубокую и богатую, чем рационалистическая сушь универсального XVIII века. За истекшее столетие культурный национализм в Германии, во Франции, в Италии, по-видимому, себя исчерпал. Все национальные темы исследованы, разработаны и стали давно международным товаром. Правда национальной культуры, как правда личной самобытности, не перестала быть правдой. Но она стала ложью в обстановке капиталистического и научно-позитивного века, не знающего духовных национальных границ. И теперь мы присутствуем при парадоксальном зрелище: новые поколения, отталкиваясь с судорожной силой от этого интернационального наследия капиталистического века, бессильны заменить его исчерпанным содержанием национальной культуры. Национальное становится пустым словом, флагом-символом, под которым провозится старый интернациональный товар, только другой марки.

Посмотрите на воинствующую молодежь всех фашистских (и «коммунистических») народов. За яростью, искажающей человеческие лица, за жестами вызова, ненависти, борьбы — какое содержание заполняет их черепные коробки? Какова картина и х нового мира? Не одна ли и та же для всех? Гиганты современной техники, авиация, радио, интернациональный кинематограф, вытеснивший национальный театр, мораль казарменной дисциплины и верности вождям, и маршировка, маршировка без конца... Но что может быть интернациональнее техники и психологии войны? Современный солдат — это пролетарий военной индустрии.

Хотелось бы отдать себе отчет в том, чем отличаются друг от друга образы родин, во имя которых народы хотят утопить в крови свое некогда живое христианское и культурное единство. Германия — это прежде всего коллективная мощь, дисциплина, экспансия в мире. Но это точь-в-точь формула Италии, националистической Франции, а теперь и молодой России. Ради монолитности этой мощи из образа Германии исключают Гете, Канта, старый идеализм — все, чем Германия светила миру, в чем было ее подлинное национальное лицо. Муссолини пожелал исключить из образа Италии ее великое христианское средневековье, ее христианское барокко, все, что было живописного, неповторимо-своеобразного в чужающем имени Италии — для всех народов. Он оставил призрак античного Рима, абстрактный и бездушный, в котором нет (никогда не было) ни грана национальной индивидуальности, — общее наследие всех европейских народов.

Чтобы быть справедливым, надо признать, что кое-что из великого прошлого привешивается к безличному товару современного национализма: так, иногда на плакате народный костюм или даже мифологический персонаж служат средством рекламы для интернационального продукта. И как ничтожен этот национальный привесок: в Германии берется кое-что от романтиков, во Франции — нечто от классицизма XVII века, с умерщвлением самого глубокого и непосредственного в выражениях национальной души.

Уяснить природу современного национализма легче всего на международных спортивных состязаниях. Все участники подчиняются одинаковым правилам игры. Они проходят одну и ту же культуру мускулов. Их психики как две капли воды походят друг на друга. Они отличаются лишь цветом одежды и сознанием принадлежности к разным коллективам. Борьба и спорт требуют, по самой сути дела, разделения на коллективы. При достаточной страсти игроков, партии цирка, как в Византии, могут вести борьбу всерьез, до крови и убийства, и все-таки за ней не будет стоять никаких других мотивов, кроме страсти к борьбе как таковой.

Случайность рождения бросила современного юношу, отвыкшего от мысли, равнодушного к искусству, утратившего религию, — в ту или иную «родину». Он связал при-

митивный военный идеал с этим, а не иным коллективом. Цвет знамени — да, может быть, еще язык — напоминают ему об этом. Доставить торжество своему коллективу над остальными ценой унижения — а еще лучше уничтожения их — вот его цель. Нередко благо своей страны отступает на задний план перед потребностью нанести вред чужой: отомстить, насытить гордость и волю к мощи, потому что для нашего-то исторического дня, бесспорно, прав Ничше, один из главных его пророков: миром движет не борьба за существование, а воля к власти.

В такой настроенности не пугает и перспектива общей гибели. Лучше смерть, чем торжество врага. Пусть погибнет этот мир, где моя страна не может занять первого места. Быть может, на голой земле, голые дикари, — мы насытим без помехи свою волю к власти. Такие голоса иногда доносятся из Германии. Но наци, с последней откровенностью безумных, разбалтывают то, что дремлет в душе современного националиста. Не нужно обманываться его победными, бодрыми маршами. В глубине души он не верит в счастливый исход. Его родина окружена кольцом врагов. Борьба народов не имеет ни конца, ни разрешения. Как Самсон, он готов обрушить колонны невидимого ему (слепому!) храма культуры и похоронить своих и чужих под развалинами.

Нельзя не обратить внимания на то, что за последние годы все самые тяжкие и возмутительные политические преступления совершались фанатиками национализма. От убийства президента Думера до убийства короля Александра, через кровь Дуки, Дольфуса, июньскую (1933) бойню в Германии, — все политические злодеяния совершались «патриотами». Мы привыкли видеть руку коммунизма за каждым актом международного террора. Но нет, всякий раз перед нами оказывается жертвоприношение на алтарь отечества. Некоторые из этих злодеяний поражают своей бессмысленностью, другие — совершенной бесчеловечностью. Конечно, преступления во имя идеи еще не исключают ценности самой идеи. Зверства религиозных войн и религиозный террор в XVI—XVII столетиях еще не дискредитируют религии. Но во всяком случае они дискредитируют известные формы и состояния созна-



ния. Они свидетельствуют о глубокой болезни или вырождении идеи.

Давно уже было сделано сравнение нашей эпохи с Грецией Пелопоннесской войны. Есть много очарования в греческом полисе, крошечном городе-государстве, который, ревниво охраняя свою самостоятельность, развивал внутри городских стен свои, личные особенности великой общегреческой культуры. Но пришла пора, и греческий гений стал задыхаться в этом партикуляризме. Общение давно уже создало общегреческий *κοινον*, а полисы боролись за гегемонию до взаимного истребления. Перед Грецией встал выбор: единство или смерть. Совершенно так же он стоит и перед новой Европой, единой в своей культуре и безнадежно разорванной политическими границами.

Еще раз будем справедливы и признаем, что современный национализм имеет по крайней мере одну творческую задачу: это задача социальная. Для расистской молодежи «рабочая», «социалистическая» Германия — не пустая фраза. Левые круги французской и английской идеалистической интеллигенции — «Esprit», «New Britain» и др. — не даром связывают социальный реформизм и даже революционизм с национальной идеей. Во-первых, если переходить от слов, от социалистической фразеологии к делу, то существующее национальное государство является единственной данной территорией для экономического строительства. В условиях современной таможенной войны между народами и подготовки к войне военной бессмысленно уже мечтать об организации мирового хозяйства. «Социализм в одной стране» — единственное, что остается для практического политика, и план де Мана для Бельгии учитывает эту реальную возможность. В «New Britain» группа молодых идеалистов не устает твердить, что всякие разговоры о международном почине сейчас безответственны, что они приведут к пассивности, к убаюкиванию перспективами будущего. Единственное, что у нас есть, — это Англия, и Англия должна начать новый экономический эксперимент, «вымести свой дом» и указать дорогу другим.

Вот поистине благородная форма национальной гордости. Быть первым в жертве, в труде, в опасности; вести за собой других — не насилием, а примером: это мечта старого русского славянофильства, оживающая сейчас в религи-

озном мессионизме демократических стран. С последней надеждой мы смотрим на эти юные дружины (единственный христианский актив в политическом мире), слабые числом, но сильные духом. Удастся ли им совладать с силами хаоса: с эгоизмом собственников, с нетерпением масс, с ненавистью народов?

Но если мы делаем исключение для демократического мессианского национализма Запада, то окажем снисхождение и для молодого советского национализма. После пятнадцати-шестнадцати лет иссушающей школы марксизма слово «родина» звучит, как голос из иного мира. Классовая этика слепила ненавистью, как песок в пустыне. Родина — открытый в пустыне родник. Как понятно, что люди, забывшие вкус живой воды, пьют и не могут напиться. Не устают славить красоту, силу и величие родины, еще не смея назвать ее имени. В этом возвращении образа России ее взбунтовавшимся сынам есть медленная постепенность, досадная дозировка. Сперва показалась Россия красная: в буре революции оцетинившаяся штыками против всего мира (Франция времен Конвента). Сегодня разрешено воспевать красоту родной земли в бесконечном разнообразии ее пейзажей. Сталин, вероятно, полагает, что это е г о земля и что ее красота увеличивает престиж республики. Пусть так. Но я не думаю, чтобы земля была такой нейтральной, пустой вещью. Есть целые мирозерцания, которые просто несовместимы с духом земли, как и с духом красоты вообще. Марксизм есть именно одно из таких мирозерцаний. Он не выносит пейзажа, как ночные привидения пения петухов. Всякое органическое начало жизни ему противно. Возвращаясь к земле, русский мальчик пьет из софийной чаши мира, и мудрость земли вступает в борьбу с безумием осатаневших машин.

Не только земля, и русская культура получила амнистию — частичную, конечно. Уже смолкают предостерегающие голоса против русских классиков. Дворянские писатели — Пушкин, Толстой, Тургенев должны сделаться учителями рабоче-крестьянской России. И мы знаем, что новый, вчера зародившийся пятидесятиmillionный читатель с жадностью поглощает наследие прошлого.

Когда думаешь здесь о страшной мощи государства в России, о монополии его «просвещения», о подлом тоне его

печати, становится страшно за душу народа. Как не разложиться ей в этом разврате, составляющем самый воздух социальной жизни! Но вот — Пушкин, Толстой... Положите на одну чашку весов страницу «Войны и мира», одно лирическое стихотворение Пушкина, а на другую — пуды «Известий», тонны политграмоты... Нельзя сомневаться в результате. Никакая политическая антисоветская литература не могла бы так успешно разложить основы коммунистического мирозерцания. Старая, расстрелянная, заплеванная, изгнанная русская интеллигенция может сказать свое: «Ныне отпускаеши». Победители склоняются перед ее святыней. Еще по-прежнему запретно историческое прошлое России. Ради новых московских проспектов сносятся не только церкви, но и Китай-город. Но уже в школах учат историю. В каком духе? Нет науки, которую можно было бы изучать с ненавистью к самому ее предмету, и живая любовь к родине найдет ее и погребенной под мертвыми схемами социологических обобщений.

Но наша терпимость к молодому русскому национализму готова идти и дальше. Быть может — кроме стран Азии, — Россия единственная земля, где национальная идея не исчерпала своего творческого, культурного содержания. Это зависит от уродливого развития этой идеи в течение XIX века. Поставленная русским классицизмом (Карамзин и Пушкин) и романтизмом (славянофилы), тема эта была снижена в шестидесятые годы до этнографии, а потом и вовсе отодвинута в сторону восторжествовавшим западничеством. Национализм эпохи Александра III уже не имел в себе ничего культурного, превратившись в апофеоз грубой силы и косного быта. Лишь в XX веке, и то ко второму десятилетию его, культурная элита начинает свое возвращение на родину. Впервые поставлен вопрос о формах и смысле древнерусского искусства и заново, со времен славянофилов, — вопрос о русской религиозности. Война и революция оборвали в самом начале это духовное русское возрождение. Мы стоим опять, как сто лет тому назад, перед загадкой России, властно требующей своего разрешения. То, что для Германии совершено поколением братьев Гримм, у нас осталось недоделанным Киреевскими и Далами. Теперь, когда тема России стала актуально (а не потенциально лишь) вселенской, на русскую интеллигенцию

ложится сугубый долг изучения и осмысления судьбы России. Этим самым мы лишь наверстываем упущенное и в новом, XX веке выплачиваем старые долги XIX-го.

Но если национальная идея не исчерпала себя в русской культуре, то в политической жизни настоящей и будущей России национализм представляет несомненную национальную опасность. Россия — государство народов. Большинство из них впервые пробудились к национальной жизни, и их молодое самолюбие чрезвычайно щепетильно. Они и сейчас с трудом переносят свою зависимость от Москвы. Не в большевизме только дело. Власть более гуманная и демократическая, но ярко национальная — власть русская встретится с еще большими препятствиями на «окраинах». Победа националистических течений в Великороссии рискует просто взорвать Россию, которая не может жить в состоянии войны с 45% своего населения. Этой опасности не видит, не хочет видеть национальная эмиграция, которая, будучи убеждена, что интеллигенция развалила Россию, по мере своих сил работает для ее расчленения.

Для огромного большинства эмиграции национализм до сих пор был единственной общей формулой антибольшевистской присяги. Мы здесь, чтобы хранить верность национальной России. Эти слова имели смысл, пока Россия была очагом интернациональной революции. Но что теперь может противопоставить эмигрантский национализм советскому?

Либерал знает, за что он отрицает советскую власть: за убийство свободы. Демократ знает тоже: за насилие над народом, за подделку народной воли, за подавление всех форм самоуправления. Знает и специалист: за эксплуатацию трудящихся масс и профанацию самого имени социализма, сделанного вывеской для государственной каторжной тюрьмы. Знает и просто беспартийный человек с честью и совестью: за то, что власть воспитывает в России людей бесчестных и бессовестных. У человека религиозно-го все основания противостоять власти, сделавшей атеизм государственным исповеданием. Ну а за что националист ненавидит большевиков в середине второй пятилетки?

Я утверждаю, что у эмигрантского националиста нет никаких оснований (кроме злопамятства) ненавидеть большевиков. Его оппозиция основана на недоразумении. Когда

недоразумение развивается, вчерашний активист превращается в возвращенца. По этому национальному мосту прошли в СССР сменовеховцы, часть евразийцев, проходят одиночки, отбившиеся от своих «частей». Давно уже Красная Армия стала кумиром зарубежных националистов. Но почему ограничиваться армией? Посмотрите на портрет Сталина 1934 года. Типичный вахмистр, вполне под стать Буденному или Ворошилову. Ни одна черта в его лице не напоминает бывшего революционера. Из-за чего же спор? Офицеры из прапорщиков военного времени — против фельдфебелей, которые заняли командные места в новой армии. Из-за этого ли борьба?

А как обстоит дело с русской культурой, которую мы призваны здесь «хранить»? Для большинства она исчерпывается пошлым романсом и патриотическим лубком прошлого столетия. Вся пропыленная, засиженная мухами обстановка глухой русской провинции, которая раньше стыдливо пряталась, теперь бесстыдно выпирает наружу, требует себе признания — на наших публичных собраниях, на литературных вечерах, на страницах журналов. Даже самые ответственные доказательства русской культуры, руководимые интеллигенцией, свидетельствуют о страшном упадке вкуса, о несомненной деградации. «Дни русской культуры» и другие предприятия того же рода дают образцы второго и третьего сорта. Подлинно творческая работа немногих — не по «хранению», а по движению русской культуры — протекает среди всеобщего равнодушия. Спускаясь еще ниже, мы встречаемся с прямой культурофобией. Одни ненавидят культуру как создание интеллигенции — политического врага. Другие — масса молодежи — убеждены, что Россия потребует от них экзамена в воинском строе, а не в знании Пушкина.

В России уровень культуры, вероятно, еще ниже. Но там какая духовная жажда и голод у масс, впервые дорвавшихся до книги! Из-за классового презрения к интеллигенции, творившей культуру, все сильнее пробивается уважение к ней, боровшейся за народное освобождение. Вот и оказывается, что эмигрантская националистическая молодежь равняется не по народным массам в России, а по ее военно-политическим командирам.

Одно из самых тягостных недоразумений эмигрантской

«культуры» — это донныне не разорванная связь между военным национализмом и Церковью. Если в старой России Церковь была связана с государством, то в русском бегенстве она оказалась связанной с одним из элементов государства: армией. Отступившая и перешедшая на мирное положение, армия продолжает смотреть на священников и даже на епископов как на своих «капелланов», обслуживающих военно-походные нужды. Этот новый социальный заказ сказался в тенденции к милитаризации Церкви. Молодежь энергично настаивает на освящении Церковью своего боевого активизма. Отсюда конфликты с духовно-мистическим и социально-культурным направлениями в церковном обществе — конфликты, особенно драматические в христианских организациях молодежи.

Но эта тема приобретает всю свою остроту и болезненность в свете исторической традиции русского православия. В России Церковь некогда строила государство и в течение веков жила в религиозно-национальной атмосфере «святой Руси» как средоточия и хранилища православия. Ослабленность вселенской связи — даже с восточными Церквями — при крайней связанности с государством делала русскую Церковь одним из самых национальных организмов в христианстве. Я даже думаю, что самая формулировка религиозно-национальной идеи, чуждая древней и греческой Церкви, совершилась на русской почве. Это некогда великое открытие «новых» киевских христиан — религиозной ценности соборных личностей, народов — со временем легло тяжким бременем на выносившую его русскую Церковь: впервые в Москве XVI—XVII столетий, приведя к отрыву от вселенской христианской жизни и окостенению всего стиля жизни; вторично в XIX веке, заглушая сомнением и самодовольством ростки новой жизни, пробивающиеся со времен первого славянофильства.

Правда заключается в том, что национальная идея, по происхождению языческая, получила христианское крещение — довольно позднее — в свете учения о соборной личности. С этого момента она входит существенным ингредиентом в синтез христианской культуры. Однако необходимым условием ее нормальной жизни является ее соподчиненность другим великим идеям, образующим полноту Истины. Вселенское принадлежит к более глубокому и пер-

вичному слою в христианстве, нежели национальное. Церковь Христова родилась как вселенская и жива лишь там, где вселенское сознание не заглохло.

В наше время в известных кругах стало трюизмом утверждение, что христианство, по природе, противно интернационализму, но что оно, по природе же, освящает национальность. Отсюда прямо выводится, что в борьбе интернационализма с национализмом, которая происходит в мире, место христианства заранее указано в национальном стане. Это положение принадлежит к числу полуистин, которые также можно назвать и полуположью. Справедливо, что интернационализм, понимаемый как механический сплав потерявших свой духовный облик народов, противен персоналистической природе христианства. Но столь же справедливо, что национализм, восставший против вселенского единства во имя обособленного эгоизма частей, не имеет ничего общего с христианской идеей человечества. Если отрицать, то надо отрицать оба начала — интернационализм и национализм одинаково, утверждая одновременно народность и вселенность. Пусть уже русские слова останутся за христианскими понятиями, а иностранные несут одиозное клеймо: *marca diaboli*.

Национализм сегодня, как коммунизм вчера, сделался одним из самых ярких выражений сатанинских сил, господствующих в мире. Удивляться ли этому, если вспомнить судьбу коммунистической идеи? Коммунизм, то есть общение, братство любви с нераздельным владением — «никто ничего... не называл своим» — родился вместе с христианством: это идеал жизни первоначальной христианской общины (Деян. 4: 32). Он остается идеалом для совершенного христианства — в монашестве. Но что из него сделал механизм безбожного века? Национализм, гораздо слабее укорененный в христианстве, чем коммунизм, выражается еще с большей легкостью. Та же судьба постигает все самые высокие ценности, когда они отрываются от животворящего Центра жизни. Наука вырождается в позитивизм, искусство в эстетизм и, замыкаясь в себя, становятся прибежищем демонических сил. Наша эпоха, поскольку это эпоха распада, порождает жестокий вампиризм восставших на Бога идей-ангелов.

Впрочем, открытый бунт не последнее зло: хуже преда-

тельство изнутри. Атеизм все-таки честнее корыстной эксплуатации имени Божия. В порядке адской иерархии национализму выпала эта горшая судьба. Князья мира сего пытаются скрепить его религиозным цементом, учитывая практическую полезность тысячелетнего материала. Так в средневековом Риме пережигали на извесь мрамор руин. Всеу поминаемое имя Божие не изгоняет демонов; безбожная суть остается. Возрастает лишь соблазн для слабых духом, увлекаемых видимостью благочестия и мнимым традиционализмом на пути и тропинки, запретные для христианина.

Каково же должно быть наше практическое отношение к национализму, разливающемуся в массах эмигрантской молодежи? Борьба, которую надо вести с ним, не может быть борьбой за истребление. Это борьба-воспитание, просвещение, облагорожение. Мы были бы преступниками, если бы в борьбе с коммунизмом пытались задушить самую идею общения, солидарности, бесклассового общества. Столь же нелепо было бы пытаться истребить идею нации, любовь к России, искание национального призвания. Отдадим должное тем русским юношам и девушкам, которые устояли перед соблазном легкого растворения в окружающем иноземном мире и выбрали трудный путь изгнаничества, нужды и борьбы. Горе их в том, что они не знают России. Бессильные представить себе ее мучительно-прекрасное, трагическое лицо, они подменяют ее, как это делают иностранцы, дебелий бабой в боярском костюме. И чтобы найти путь к ней, к этой заколдованной красавице, они выбирают в вожди Гитлера и Муссолини, доверяясь им больше, чем Хомякову и Достоевскому. Ну что ж! Нам приходится разоблачать обман. Неустанно, черта за чертой восстанавливать сложный лик России из множества противоречивых ее отражений. И доказывать, что эта работа воссоздания распавшегося образа России есть единственное, чего Россия ждет от своих изгнанных детей. Мы можем спокойно предоставить Красной Армии заботу об охране русских рубежей, а комсомольцам и пионерам игру в солдатики. Понять, что политика здесь нам еще не дана как непосредственное народное дело, но лишь как предмет изучения, подготовки, воспитания. А главное, главное — что может быть выполнено здесь, а не т а м, это — поднять



упавшую нить русской культуры. Ибо в этой сфере познание есть творчество. Национальное самосознание России есть в то же время и воскрешение ее к духовной национальной жизни. И вот, углубляясь в этот огромный духовный мир, называемый Россией, мы поймем, как нелепы и даже кощунственны сусальные краски для описания его и фашистские приемы для овладения им. Россия сама нас научит своей мудрости: тому, что родное и вселенское не два, а одно и что народ тогда всего вернее выполняет свое призвание и достигает подлинного величия, когда отвергает себя и отдает себя на служение Христу как вечной Правде.

## МАТЬ-ЗЕМЛЯ

(К религиозной космологии русского народа)

**В** настоящей статье, представляющей отрывок из общей работы по исследованию русской народной религиозности, автор предпринимает изучение народной космологии по так называемым «духовным стихам». Под этим именем известны религиозные эпические песни русского народа, представляющие одну из интереснейших отраслей русского фольклора. До самого последнего времени эти песни исполнялись по всей территории России особыми специалистами-рапсодами, чаще всего слепцами. Ярмарки, приходские праздники, стечения паломников у стен монастырей были местом выступления странствующих певцов. По большей части репертуар их ограничивался религиозной или «духовной» поэзией, отмежевываясь и от богатырского, былинного эпоса, и от лирики. Источниками этой религиозной поэзии служили в большинстве случаев жития святых, переводные с греческого апокрифы, реже Библия. Многое, несомненно, принадлежит исконному славянскому фольклору, хотя христианский и церковный характер поэзии несомненен.

Историки литературы расходятся в определении времени зарождения на Руси народного религиозного эпоса. Несомненно, он уже существовал в XVII веке. Но почти все записи относятся к самому последнему времени — XIX—XX векам. Несомненно, «духовный стих» представляет остаток древней московской, допетровской культуры, уцелевшей в эпоху европеизации России.

\* \* \*

При первом знакомстве с русской религиозной мыслью или поэзией космическая окрашенность русской религиозности прежде всего поражает исследователя иностранца. Известно то исключительное место, которое занимает почитание

Богородицы в жизни русского православного народа. Но еще Достоевский в «Бесах» провозгласил родство религии Богоматери с религией «матери-земли», как земля, то есть природа, неизменно именуется в народной поэзии:

Богородица — мать земля сырая.

В современных богословских системах (Соловьев, Флоренский, Булгаков) учение о Софии, с ее божественно-тварным, небесно-земным ликом является центральным.

И хотя учение о Софии складывалось в зависимости от западных христианско-теософических систем, но сродство современного богословия с русской народной религиозностью несравненно. Если называть софийной всякую форму христианской религиозности, которая связывает неразрывно божественный и природный мир, то русская народная религиозность должна быть названа софийной.

В духовных стихах расстояние между Творцом и тварным миром настолько сближено, что едва ли правильно говорить даже о творении мира там, где, для народа, речь идет о космогонии. Слово «творение» может встретиться иногда — но еще требуется определить, какой смысл вкладывается в это слово певцом. В космологическом стихе о Голубиной Книге о «творении» не говорится вовсе. Вопросы ставятся о происхождении мира — «откуда?», — и ответы даются или в безглагольной форме, или в глаголах, которые скорее могут быть истолкованы в смысле порождения или эманации:

Начался у нас белый свет;

или:

У нас белый свет взят от Господа.

У нас белый вольный свет зачался от суда Божия.

Другие варианты: занимался, заводился, стался... Только не сотворен. Самая корректная форма говорит не о творении, а о «держании» и «основании» мира в Боге:

Основана земля Святым Духом,

А содержана Словом Божиим.

Повествуя о происхождении элементов природного ми-

ра, стих связывает их с членами антропоморфизированного Божества — как тело космическое, порожденное телом Божественным:

У нас белый свет взят от Господа,  
Солнце красное от лица Божия.  
Млад-светел месяц от грудей его,  
Зори белые от очей Божьих,  
Звезды частые-то от риз его,  
Ветры буйные от Свята Духа...

Варианты весьма различны. Связь отдельных элементов, данных поэту апокрифической литературой<sup>1</sup>, неустойчива. Отметим некоторые интересные детали:

Дожди сильные от мыслей Божиих;

или:

Дробен дождик от слезы Его,  
Ночи темные от дум Господних;

или:

Ночи темные от волос Его;

или даже:

Ночи темные от сапог Божиих,

— но почти всегда происходят от Святого Духа, который мыслится здесь как дыхание Божие. Иногда сами ветры называются Божиими Духами:

Духи Божии от устов Его.

Единственный раз читаем:

Ветры буйные от кровей Божиих.

Последняя формула звучит необычайно резко даже для общей плотски-натуралистической концепции стиха. При всем наивном материализме ее мы не можем не чувствовать известной осторожности, налагаемой христианским

<sup>1</sup> См. «Беседа трех святителей» в изд. Пышина: «Пам. стар. рус. лит». Вып. 3. С. 169.

спиритуализмом на эту натуралистическую схему. В самом деле, ответы даются почти исключительно о происхождении небесных или воздушных явлений. Для них уместны наиболее одухотворенные или наиболее поэтические элементы божественной телесности («сапоги» и «крови» являются скорее срывами певца). Стих не дерзает говорить о теле, о костях Божиих и в связи с этим отказывается ставить вопросы о происхождении земли, моря и гор (каменей). Ответы на эти вопросы легко угадываются: они становятся ясны по аналогии с происхождением тела Адамова. Но певец умалчивает о них, думается, по требованию религиозного целомудрия, подавляя в себе естественный интерес к космологии матери-земли. Этим соблюдается и известная, не очень строгая, градация в божественности высших (воздушных) и низших (земных) элементов природного мира.

Вопрос о происхождении человека (Адама) тоже поставлен в стихе о Голубиной Книге, который дает на него следующий ответ:

У нас мир-народ от Адамия;  
Кости крепкия от камени,  
Телеса наши от сырой земли;  
Кровь-руда наша от черна моря.

Конечно, и здесь отдельные моменты неустойчивы. Очи Адама взяты от солнца, мысли от облаков (однако разум от Святого Духа)... Но устойчива основная мысль. Развивая, по следам апокрифов, библейскую идею о сотворении мира, Адама из земли, певец видит в существе Адамовом те же элементы, что и в космосе. Между миром и человеком та же неразрывная связь, что и между организмом матери и сына. И если мир — божественного происхождения, то и человек обладает природой божественной — могли бы мы продолжить мысль певца, — только божественность его не второго, а третьего порядка. Он не царь земли, а сын ее. Лишь через мать свою он носит в себе печать божественности. Так, очи его не прямо от очей Божиих, а от солнца, которое само от очей Божиих. Народная антропология подчинена космологии.

Мир, божественный по своему происхождению, вторично освящен или обожен, то есть поднят на высшую ступень божественности, с воплощением Христа. В христианском космосе отдельные элементы его освящаются благодаря

особому отношению к земной жизни Христа или Богородицы. Это отношение сообщает новый иерархический порядок элементам мироздания, о котором повествует та же Голубиная Книга:

Кипарис древа всем древам мати,  
На нем распят был сам Исус Христос.  
На белом Латыре на камени  
Беседовал да опочив держал  
Сам Исус Христос царь небесный...  
Потому бел Латырь камень каменем мати.

Не требует объяснений, почему

Иордан-река всем рекам мати...  
Фавор (или Сион) гора всем горам мати...

Особенно отметим круг природных явлений, освященных отношением к Богородице. В сущности, непосредственно Ею освящена только плакун-травя:

Травя травам мать плакун-травя.  
Когда жиды Христа распяли,  
Тогда плакала мать Божия Богородица,  
Роняла слезы на сырую землю;  
И оттого выростала травя плакуная.

Нелегко заметить тенденцию певцов посвящать Богоматери все новые и новые элементы мироздания, которые исконно были связаны с иными небесными силами. Так, и кипарис становится ей посвященным:

Пресвятая мать Богородица  
Гли того древа долго мучилась,  
Выруняла слезки са ясных очей,  
Са ясных очей в сыру маць землю.

Хочет певец посвятить ей и море, которое, однако, первоначально связано со святым Климентом. Память о греческой Корсуні и о мощах св. Климента, папы Римского, обретенных на дне морском и высоко чтимых в Киевской Руси, лежит в основе этой дедикации:

Окиян-море всем морям мати...  
Что во той во церкви во соборныя  
Почивают мощи папа римскаго,  
Папа римскаго, слава-Клементьева.

Иногда к имени Климента прибавляется имя Петра

Александрийского или же церковь связана своей гробницей со Христом, но чаще всего мы видим поднимающуюся из моря церковь, так или иначе освященную Богородицей.

Из той из церкви из соборной,  
Из соборной, из богомольной,  
Выходила Царица небесная;  
Из Океана Она омывалась,  
На соборную церковь Она Богу молилася<sup>1</sup>.

В сущности, лишь три природных существа — «три матери» — оказываются вне христианского круга: рыба Кит, Страфиль-птица и Индрик-зверь. Но и эти чисто космические существа несут религиозное служение. Страфиль-птица

Богу молится за сине море,

а Индрик

Богу молится за святую гору.

Из темного описания Индрика, живущего в глубине земли, в недрах гор, можно заключить, что он управляет течением подземных вод. О Страфиль-птице говорится, что она

Держит белый свет под правым крылом,

то есть евангельская кокошь, матерински греет его. Известные черты грозности, присущие Индрику и Страфилю как владыкам водных стихий (от них колеблются воды и горы), решительно ступают перед благотельно-материнскими. Обратим внимание на то, что не только Индрик и Страфиль, но и все главы космической и социальной иерархии (град, церковь) именуются матерями. Не отечество<sup>2</sup> и не царство («царь зверей»), но именно материнство полагается в основу иерархии.

Мир, божественный в космогонии, освященный кровию Христа и слезами Богородицы, весь пронизан Святым Духом или «святыми духами», посланными Христом. В стихе о двенадцати пятницах поется, что в день Троицы

1 Даже храм гробу Господня в Иерусалиме иногда оказывается посвященным «Святой святыне Богородице».

2 «Отец» вместо «матери» в немногих вариантах стиха о Голубиной Книге.

Пушал Господь Святый Дух по всей земле.

Это излияние Св. Духа не ограничено Церковью, хотя в церковном быте народ чувствует особенно живо Его присутствие. Но вся земля приемлет Св. Духа, который, по драматическому выражению одного стиха, даже воплощается в ней:

Воплотив Свята Духа  
Во сырую землю,  
Во всю поселенную.

Живущий в природе святой дух ощущается народом в дыхании воздуха, ветре и благовониях земли. Вот почему всякое чудесное действие ветра приравнивается святому духу:

Святым духом Василья поднимало...  
Положило их святым духом за престолом.

Самый воздух называется святым в стихе о Егории:

Што поверх воды святой Егорий плавает,  
Да ведь он поверх воды на святом на воздухе.

И от священного кипариса исходит Святой Дух в его благоухании:

Пошел от ней Святой Дух,  
Святой Дух и ладан.

Можно поставить вопрос, в какой мере эта насыщенность Святым Духом связана с христианской эпохой человечества. Уже в самом творении или начале мира ветры называются Божиими духами. Неясно и место грехопадения в этой космологии. Народ помнит о грехе Адама, но насколько падение человека нарушило изначально божественный строй природы?

Есть один стих — о Егории Храбром, — в котором можно усмотреть следы космического грехопадения. Мир состоит не из одних благословенных стихий — он полон вредоносных для человека тварей и грозных природных явлений. Как примирить с божественным происхождением мира существование диких зверей, змей и гадов? Русский человек, как известно, не любит гор — наследник, в этом отношении, античного эстетического чувства. Апокриф приписывает сотворение гор, как и змей и всякой нечести, дьяволу. Но русский народный



певец не пошел по этому манихейскому пути, на который иногда сворачивает русская прозаическая сказка. Стих о Егории утверждает изначальную святость мира и вместе с тем какую-то порчу в нем. «Горы толкучия», «звери рыскающие» и прочие «заставы» Егория — результат нарушения божественного миропорядка.

Станьте вы, горы, по-старому, —

говорит Егорий, очищая русскую землю... И волкам:

И вы пейте, и вы ешьте повеленное,  
Повеленное, вы, благословенное.

Рекам:

Теките вы, реки, где вам Господь повелел.

Стих дает и свое объяснение расстройству природного мира. Он связывает его не с грехом Адама, а с идолопоклонством, которому подпал не только человек, но и вся тварь.

Уж вы ой еси да все темные леса!  
Вы не веруйте да бесу-дьяволу;  
Вы поверуйте да самому Христу.

Леса, горы и реки, как и звери, подобны девицам — сестрам Егория, на которых от идолопоклонства выросла еловая кора. И очищение русской земли, ее космоургическое воссоздание Егорием совершается путем утверждения истинной веры. Интересно отметить, что природа и в своем падении мыслится самостоятельной, а не отраженной лишь тенью человека. Обращаясь к истинной вере, она может молиться Богу, как в стихе о Голубиной Книге. Так, посылая птицу Черногора в Окиян-море, Егорий заповедует ей:

Богу молись за сине море.

Вдумываясь в изображение мировой порчи в стихе о Егории, нельзя не заметить, что она не имеет глубокого характера. Расстройство мира поверхностно: оно захватывает земную кору — горы, леса, реки, — но не самое тело земли. Под нечистью, покрывающей ее, земля остается неповрежденной — если не девственной, то матерински чистой. Среди всего космоса она образует особое, глубинное

средоточие, с которым связана самая сердцевина народной религиозности.

Солнце, месяц, звезды и зори — ближе к Богу: они происходят от Божия лица. Но не к ним обращено религиозное сердце народа. Греческое православие знало персонафикацию мира: царя-космоса, который изображается в короне под апостолами на иконе Пятидесятницы. Этому мужскому и царственному греческому образу соответствует русский — женский. Из всего космоса личное воплощение получает только мать-земля.

Мать-земля — это прежде всего черное, рождающее лоно земли-кормилицы, матери пахаря, как об этом говорит постоянный ее эпитет «мать-земля сырая»:

Мать сыра земля, хлебородница.

Но ей же принадлежит и растительный покров, брошенный на ее лоно. Он сообщает ее рождающей глубине одевание софийной красоты. И, наконец, она же является хранительницей нравственного закона — прежде всего закона родовой жизни.

К ней, как к матери, идет человек в тоске, чтобы на ее груди найти утешение. Иосиф Прекрасный, проданный братьями,

К матушке сырой земле причитает:  
«Увы, земля мать сырая.  
Кабы ты, земля, вещая мать, голубица,  
Поведала бы ты печаль мою».

К ней же взывает Иаков, неутешный отец:

Земля, земля,  
Возопившая ко Господу за Авеля,  
Возопи ныне ко Иакову.

К матери-земле идут каяться во грехах:

Уж как каялся молодец сырой земле:  
«Ты покаяй, покаяй, матушка сыра земля».

Едва ли стоит упоминать, что земля, как в греческом мифе, помогает и призывающим ее в бою героям. Феодор-тирянин, утопая в пролитой им жидовской крови, обращается к земле:

Расступися, мать сыра земля,  
На четыре на стороны,

Прожи кровь змеиную,  
Не давай нам погибнуть.

Христианизируясь, подчиняясь закону аскезы, мать-земля превращается в пустыню — девственную мать, спастись в которую идет молодой царевич Иосаф.

Научи меня, мать пустыня,  
Как Божью волю творить,  
Достави меня, пустыня,  
К своему ко небесному царствию.

Похвала пустыне является одной из очень древних тем монашеской литературы Востока и Запада. Но ее развитие в русском стихе подчеркивает особые интимные черты в отношении русского народа в красоте земли. Действительно, красота пустыни — главная тема стиха, который так и начинается в некоторых вариантах:

Стояла мать прекрасная пустыня.

Так как краса пустыни — девственная, весенняя, не плодоносящая красота, то она сообщает святость материнства весне:

Весна, мать красная.

Красота пустыни безгрешна, — она сродни ангельскому миру:

Тебя, матерь пустыня,  
Все архангелы хвалят.  
Во тебе, матерь пустыня,  
Предтечий пребывает.

Недаром пустыня и отвечает «архангельским гласом».

Святая красота, утешая пустынного, настраивает на тихие, светлые думы:

Есть честная древа —  
Со мной будут думу думать;  
На древах есть мелкие листья —  
Со мной станут говорить;  
Прилетят птицы райския —  
Станут распевать...

Это райское состояние пустынного только оттеняет суровость его телесной аскезы. Житие в пустыне жестокое:

Тут едят гнилую колоду,  
А пьют воду болотную.

Но и такая жизнь сладка царевичу, прельщенному красотой пустыни:

Гнилая колода  
Мне паче сладкого меда.

Здесь возникает интересный вопрос: не создается ли конфликт между аскезой и красотой («похотью очей») и как разрешает его народный певец?

Сама диалогическая форма — беседа царевича с пустыней — дает возможность различных подходов к этой труднейшей проблеме аскетики: искушению красотой. Различные варианты увеличивают для нас сложность проблемы, которая, несомненно, ощущается певцом, но поставлена им с чрезвычайной осторожностью. Прежде всего отметим крайние варианты:

Я не дам своим очам  
От себе далече зреть,  
Я не дам своим ушам  
От себе далече слышать.

Это крайний аскетический взгляд, указующий на опасность бесцельного созерцания. Он не характерен для господствующего настроения стиха, как и противоположный ему идеал бесконечного любования:

Разгуляюсь я, млад юноша,  
Во зеленой во дубраве.

Или же, принимая их оба, надо подчинить их основному мотиву тихого, музыкального, обращенного внутрь созерцания.

Во всем диалоге пустыни с царевичем она, мудрая руководительница, испытывает его суровостью телесной аскезы, но не предостерегает его от соблазнов красоты. Есть, однако, один очень существенный мотив<sup>1</sup>, проходящий сквозь все варианты, который как будто бы действительно говорит об искушении красотой:

Как придет весна красная,  
Все луга, болота разольются,

1 Оставшийся непонятным для Ю. М. Соколова, которому принадлежит прекрасный этюд об этом стихе: «Весна и народный аскетический идеал». Рус. фил. вестн., 1910 (3-4).

Древа листом оденутся,  
На деревьях запоет птица райская  
Архангельским голосом,  
Но ты из пустыни вон изойдешь,  
Меня, мать прекрасную пустыню, позабудешь.

На первый взгляд, непонятно это бегство из пустыни в самом расцвете ее весенней красоты. Но следующий вариант поясняет намек пустыни:

Налетят же да с моря пташки,  
Горе-горския кукушки,  
Жалобно будут причитати,  
А ты станешь тосковати.

Мотив весенней тоски и кукушки недостаточно ясен: это тонкая и скрытая форма тоски по любви. Замечательно, что не соловей, а кукушки искушают пустынника: то есть не сладострастие, а материнство. В песне кукушки народ слышит тоску о потерянных птенцах, по своему гнезду, по родовой жизни. Таким образом, не демонический соблазн красоты искушает в природе, а материнское сердце земли противопоставляется девственной красоте пустыни. Но они оба благословенны. Конфликт между ними намечен необычайно тонкими чертами и не остается непреодоленным. Царевич избирает пустыню, чтобы спастись ее ангельской красотой.

Русский певец решительно не хочет видеть в красоте земли страстных «панических» черт. Достаточно обратить внимание на то, какие формы растительного мира символизируют красоту и силу земли. Всем деревьям мать — траурный кипарис, донесенный до народного воображения апокрифической книгой, рассказами паломников и крестниками из святой земли. Рядом с ним кедр и пегва, — все три — хвойные деревья, то есть с подсушенной жизненностью, с бессмертной, но мертвой листвой. Из родных деревьев певец называет березку и рябину рядом с кипарисом для построения сионской церкви (214) — плакучие деревья севера. Его любимые цветы — «лазоровые», то есть холодного, небесного цвета. Лозы и розы, обвивающие гроб Богоматери, даны не по непосредственному видению, а сквозь церковно-византийский орнамент, в отвлечении от страстной их природы.

Когда в стихах поется о человеческой, женской красоте,

то почти всегда в связи с материнством: такова красота Богородицы, матери Федора Тириянина. Несомненно, что, говоря о материнской красоте, певец имеет перед собой иконописный образ Богоматери, византийско-русский, то есть отвлеченный от девственной прелести и даже юности. Все это возвращает нас к исходной точке: красота мира для русского певца дана не в соблазнах страстных сил, а в бесстрастном умилении, утешительном и спасительном, но как бы сквозь благодатные слезы.

Мы уже сказали, что мать-земля, кормилица и утешительница, является и хранительницей нравственной правды. Грехи людей оскорбляют ее, ложатся на нее невыносимой тяжестью.

Как расплатится и растужится  
Мать сыра земля перед Господом:  
«Тяжело-то мне, Господи, под людьми стоять,  
Тяжелей того — людей держать,  
Людей грешных, беззаконных».

Мы видели, что земле можно каяться в грехах (отражение старинного религиозного обычая), и, при всей своей материнской близости к человеку, не все его грехи она прощает.

Во первом греху тебя Бог простит...  
А во третьем-то греху не могу простить.

Измученная грехами людей, она сама просит у Бога ка-  
ры для них:

Повели мне, Господи, расступиться  
И пожрати люди — грешницы, беззаконницы...

На это Господь отвечает успокоительным обещанием  
своего Страшного Суда.

Можно сделать попытку определения особого нравственного закона земли, который, войдя в круг христианских представлений, тем не менее сохраняет следы древней натуралистической религии наших предков. В приведенных стихах об исповеди земле «молодец» кается в трех грехах:

Я бранил отца с родной матерью...  
Уж я жил с кумой хрестовою...  
Я убил в поле братика хрестового,  
Порубил ишо челованьце крестное.

Хотя лишь третий грех является непрощаемым, но все три объединяются одним признаком: это грехи против родства кровного и духовного. Земля, как начало материнское и родное, естественно блюдет прежде всего закон родовой жизни. Заметив это, мы без труда выделим и отнесем к религии земли специфическую группу преступлений, которые настойчиво повторяются во всех перечнях грехов попеременно с грехами против ритуального или каритативного закона христианской религии. С наибольшей полнотой этот перечень дается в стихе о Грешной душе, где расставшаяся со своим телом душа встречает Иисуса Христа и кается в грехах своей жизни:

Еще душа Богу согрешила:  
Из коровушек молоко я выкликивала,  
Во сырое коренье я выдаивала...  
С малешеньку дитя свое проклинывала,  
Во белых во грудях его засыпывала,  
В утробе младенца запарчивала...  
Мужа с женой я поразваживала,  
Золотые венцы пораскручивала...  
В соломах я заломы заламывала,  
Со всякого хлеба спор отнимывала...  
Свадьбы зверьями оборачивала...

Грехи иного порядка, вкрапленные в этот перечень, носят бытовой и ритуальный характер, не заключая в себе особо тяжких преступлений. Центр тяжести лежит, несомненно, на группе грехов против рода и материнства. Сюда относится ворожба, заговаривание молока у коров и «заламывание» колосьев, то есть грехи против плодородия скота и нивы. Порча младенца в утробе, как и убийство рожденного ребенка или проклятие его, есть грех против плодородия женского. Разлучение мужа с женой (даже не в виде прелюбодеяния) есть тоже грех против родового семейного закона. Любопытная черта, придающая весьма архаический характер этой амартологии, — грех против религии рода чаще всего принимает форму ведовства. (Сюда же относится и оборотничество.) В самом деле, функция ведьмы у славянских, как и германских, народов состоит прежде всего во власти над стихией рода и злым извращением родовой жизни (любви и плодородия).

Что грех против рода представляется самым тяжким в

глазах народа, видно и из следующего указания величайших грехов в стихе о Голубиной Книге:

Трем грехам великое, тяжкое покаяние:  
Кто блуд блудил с кумой крестовья,  
Кто во чреве семена затравливал,  
Кто бранит отца с матерью...  
Хоть и есть грехам тым покаяние,  
Приложить труды надо великие.

В стихе о Пятнице и Пустыннике грехи против рода признаются непрощаемыми. Это группа из трех или четырех грехов:

Перва душа в утробе младенца задушила..  
<Вторая> Отца мать поматерно бранила..  
<Третья> Из хлеба и соли спорину вымала.

Вместо греха против родителей в этом стихе часто приводится грех против брака:

Жена шельма мужа сокрушала,  
Чужие законы разлучала, —

а в качестве четвертого греха появляется заклинание молока у коров.

Замечательно, что брань, то есть грех словом, представляется в родовой религии столь же тяжким, как и убийство. Например, вместо задушения младенца в утробе можно проклясть его:

В утробе младенца проклинала,  
Крещеного жидом называла.

Вспомним страшное значение матерного бранного слова, от которого содрогаются небеса. В таинственной жизни пола, в отношениях между родителями и детьми слово-заклятие, доброе или злое, имеет действенно-магическое значение. Русский певец, обходя, по своему целомудрию, непосредственно сексуальную жизнь, останавливает свое внимание на религиозном значении родства между разными поколениями. Магическому значению брани и проклятия соответствует великое значение родительского благословения. Федор Тириянин, отправляясь на подвиг, призывает на помощь все священные силы:

Я надеюсь, сударь батюшка,



На Спаса на Пречистого,  
На мать Божью Богородицу,  
На всю силу небесную,  
На книгу Евангелия,  
На ваше великое благословенье.

В стихе заздравном певцы призывают благословение небесных сил на дом, гостеприимством которого они пользуются. В одном варианте читаем:

Сохрани вас <Господь> и помилуй  
Батюшкиным благословением,  
Матушкиным порождением,  
Нашим нищенским молением.

В религии рода имеет значение не личная чистота, а объективно-природная норма половой жизни. Вот почему в перечне тяжких грехов мы не находим блуда (греха против девства), а только прелюбодеяние, как извращение родового закона. Влияние христианства вводит лишь понятие духовного родства и духовного прелюбодеяния, возводя его даже в одно из самых тяжких преступлений против родовой религии.

Грехи против рода суть грехи против матери-земли. Придавая им нарочито тяжкое значение в иерархии зла, народ свидетельствует о своем особом почитании божественно-материнского начала. В добре своем, как и в красоте своей, мать-земля не выпускает человека из своей священной власти. В кругу небесных сил — Богородица, в кругу природного мира — земля, в родовой социальной жизни — мать являются, на разных ступенях космической божественной иерархии, носителями одного материнского начала. Их близость не означает еще их тождественности. Певец не доходит до отождествления Богородицы с матерью-землей и с кровной матерью человека. Но он недвусмысленно указывает на их родство:

Первая мать — Пресвятая Богородица,  
Вторая мать — сыра земля,  
Третья мать — как скорбь приняла.

Скорбь, то есть муки рождения земной матери, затуманивает очи Богородицы созерцанием страстей Ее Сына, давит и мать-землю тяжестью человеческих грехов. Религия материнства есть в то же время и религия страдания. Стих об Иосифе Прекрасном в самой поэтической и любви-

мой народом части — плаче Иосифа — сближает мать Рахиль с матерью-землей в общих причитаниях. Рахиль представляется уже умершей, и Иосиф просится у братьев на «матушкину могилку»:

Увы, земля мать сырая!  
Сырая земля мать, расступися,  
Матерь моя, Рахиль, пробудися,  
Прими меня, мать, в свой гроб.

Стих о Федоре Тирянине, о герое-змиеборце, по самому сюжету, казалось бы, столь далекий от апофеоза матери, в сущности, является настоящей поэзией материнства, где нас встречают все три воплощения материнского начала. Богородица, хотя и не является лично, все время присутствует в призывании Ее имени:

— За мать Божию Богородицу -

## СТАЛИНОКРАТИЯ

**В**от уже истекает второй год со времени XXVII съезда коммунистической партии, начавшего новую полосу русской революции. У нее еще нет имени, у этой полосы, четвертой по счету: военный коммунизм, нэп, пятилетка... но ее черты уже отчетливо прорисовались, даже сквозь туман, окутывающий для нас Россию. За два года много накопилось фактов, наблюдений, рассказов иностранцев и беглецов, газетных вырезок. Не пора ли подвести итоги? Пусть голоса, идущие из России, противоречивы. Нельзя ли разрешить в некоторую гармонию эти диссонансы? Конечно, новая жизнь в России еще не отстоялась. Каждый день приносит новые изменения ее лица. Но можно попытаться угадать общее направление движения. Или, иначе, найти схему, в которой противоречивые явления уложились бы без слишком большого насилия над фактами. Большого о т с ю д а сделать мы не можем. Но не сделать этого мы не можем тоже. Чтобы жить, и жить Россией, мы должны ставить ориентирующие вехи, с полной готовностью сменить их, как только жизнь изменит свое русло. А в России история особенно любит зигзаги... Но, со всеми этими огорками, нужно решиться — на новый моментальный снимок России — к 1 января 1936 года.

Общее впечатление: лед тронулся. Огромные глыбы, давившие Россию семнадцать лет своей тяжестью, подталяли и рушатся одна за другой. Эта настоящая контрреволюция, проводимая сверху. Так как она не затрагивает основ ни политического, ни социального строя, то ее можно назвать бытовой контрреволюцией. Бытовой и вместе с тем духовной, идеологической. Не будем думать, что это ограничение лишает сталинскую контрреволюцию ее значительности. Весь ужас коммунистического рабства заключался в его «тоталитарности». Насилие над душой и бытом человека, творившееся в его семье, в его углу, — было мучитель-

нее всякой нищеты и политического бесправия. Право беспартийного дышать и говорить, не клянясь Марксом, право юношей на любовь и девушек на семью, право родителей на детей и на приличную школу, право всех на «веселую жизнь», на елку и на какой-то минимум обряда — старого обряда, украшавшего жизнь, — означает для России восстание из мертвых.

Но это лишь одна сторона картины. Другая, оборотная сторона: не прекращающиеся казни, каторжные лагеря, поезда со ссыльными в далекую Сибирь, на бесчеловечные работы, на смерть. И по-прежнему густая, непроницаемая пелена лжи, окутывающая страну, подхалимство и предательство, униженное ползание у ног самодержца. Молодому человеку из эмиграции, собирающемуся ехать в Россию, следует ясно представить себе и эту оборотную сторону. А нам — попытаться найти некоторое подобие единства стиля. В настоящей статье мы ограничиваем свою задачу сферой политики. Революция есть прежде всего политический факт, и ее развитие обнаруживает политическую закономерность.

\* \* \*

«Великих» революций не так много в новой истории. В сущности, русская революция стоит третьей в ряду — после Англии и Франции. Опыт нового времени можно дополнить историей классовой борьбы античных и средневековых республик. Если можно вывести из этого опыта прошлого какой-либо «закон» или закономерность, то это следующее наблюдение: всякая «великая», то есть отличающаяся жестокостью классовой борьбы, революция заканчивается личной тиранией. Иногда этот «цезаризм» оказывается преходящим (Англия, Афины), иногда переходит в вековую монархию. Итальянские тирании Ренессанса существовали до Гарибальди. Наследство Гракхов и Цезаря досталось византийскому самодержавию, живущему более тысячелетия и вдохнувшему новую жизнь в самодержавие московское. Что русская революция завершилась своим Сталиным, это кажется историку в порядке вещей. «Эволюция революции» в сторону политической демократии была бы настоящим чудом. Но как же слепы и те антиэволюци-

онисты, которые не хотят видеть в России монархического перерождения республики!

Революция в России умерла. Троцкий наделал много ошибок, но в одном он был прав. Он понял, что его личное падение было русским «термидором». Режим, который сейчас установился в России, это уже не термидорианский режим. Это режим Бонапарта. Термидорианский, то есть контрреволюционный, характер завоевания власти Сталиным был затушеван в эпоху пятилетки. Убрав своих левых врагов, Сталин принялся вдруг осуществлять их программу. Так получился «зигзаг» или излучина в течении русской революции, между нэпом и теперешней контрреволюцией, — излучина, которая имеет громадное значение для всего русского будущего. Пятилетка сделала невозможной буржуазную реставрацию и предопределила государственно-капиталистический характер будущей России. Но, втягиваясь в нее, вопреки своим старым идеям, Сталин едва ли повиновался «левому» революционному чутью. Вернее всего, военно-индустриальные задачи, в связи с укреплением лично-деспотического режима, и тогда уже господствовали в его сознании. Но термидор совершился в тот момент, когда к власти пришел человек, глубоко равнодушный к мистике марксизма и ценящий в революции превыше всего личную власть.

Еще год тому назад, характеризуя сталинский режим, можно было назвать его национал-социалистическим. Казалось, с отказом от международно-революционных задач, он становится неотличимым от фашизма, особенно германского. Но нет, в своем попятном движении он давно уже оставил за собой фашизм. Для фашизма необходимы три элемента: вождь, правящий активный отбор и революционная взволнованность масс. В России не только давно уже массы вернулись в состояние политической пассивности. В России, теперь уже можно сказать, нет и партии как организации активного меньшинства, имеющей свою волю, свои традиции. Муссолини и Гитлер (как и Ленин) должны постоянно дрессировать, воспитывать и вдохновлять ряды своих бойцов. Эта обязанность принадлежит к нелегкому политическому искусству фашистского вождя. Сталину давно уже удалось убить всякую политическую активность своей партии. Годами, исподволь, на посту Гене-

рального секретаря, он развращал ее, приучая к рабству и безыдейной службе. Теперь эта задача окончена. Организация ВКП уже не партия, то есть не группа политических активистов. Ее Программа, ее прошлое уже не весят ничего на политических весах.

Еще большинство эмиграции повторяет: в России царствуют коммунисты, или большевики; еще мечтают об изгнании России от этих большевиков, не замечая того, что большевиков уже нет, что не «они» правят Россией. Не они, а он. А если «они», возглавляемые «им», то совершенно не коммунисты, а новые люди, к которым нужно приглядеться.

Это утверждение, вероятно, покажется весьма спорным. Происходящая в России ликвидация коммунизма окутана защитным покровом лжи. Марксистская символика революции еще не упразднена, и это мешает правильно видеть факты.

А факты — вот они. Начиная с убийства Кирова (1 декабря 1934 г.), в России не прекращаются аресты, ссылки, а то и расстрелы членов коммунистической партии. Правда, происходит это под флагом борьбы с остатками троцкистов, зиновьевцев и других групп левой оппозиции. Но вряд ли кого-нибудь обманут эти официально пришиваемые ярлыки. Доказательства «троцкизма» обыкновенно шиты белыми нитками. Вглядываясь в них, видим, что под троцкизмом понимается вообще революционный, классовый или интернациональный социализм. То есть марксизм как таковой, — если угодно, ленинизм классического русского типа. В существование «зиновьевской» оппозиции в России трудно поверить. Если бы антикоммунистический террор был лишь выражением торжества правых тенденций в партии, то мы видели бы возвращение к власти правых уклонистов. Но ни Рыков, ни Бухарин, ни Томский влиянием не пользуются. У власти остаются личные приверженцы Сталина, проделавшие с ним не одну смену вех: справа налево и обратно.

Казалось бы, в обществе «старых большевиков» нет места троцкистам по самому определению. Троцкий — старый меньшевик, лишь в Октябрьскую революцию вошедший в партию Ленина: роспуск этой безвластной, но влиятельной организации показывает, что удар наносит Сталин именно

традиции Ленина — тем косным революционерам, которые не хотят понять знамений нового времени.

Борьба с марксизмом ведется не только по организационно-политической линии. Она сказывается во всей культурной политике. В школах отменяется или сводится на нет политграмота. Взамен марксистского обществоведения восстанавливается история. В трактовке истории или литературы объявлена борьба экономическим схемам, сводившим на нет культурное своеобразие явлений. Споры нет, советские популяризаторы довели марксистский «метод» до геркулесовых столбов глупости. Но ведь за ним стоят авторитеты Ленина, Плеханова, Каутского. По таким же трафаретам учились старые марксисты — доводившие Маркса до абсурда. Издевательство над марксистским методом сделалось прямо признаком хорошего тона в советской прессе. А послушайте самого вождя, когда он разговаривает с представителями народа. Вот он расспрашивает образцового колхозника о причинах его успехов. С неудовлетворением обрывает набившие оскомину рассуждения о контрреволюционной природе остальных колхозов. «Бывшие помещики, кулаки? — это неважно». Какова производительность? Вот что важно. Низовые работники еще не приспособились к новому языку: давно ли они зубрили классовые шпаргалки. Но теперь ими никому уже не удастся блеснуть перед «самим». Даешь производительность! Все прочее — чепуха.

Такова, конечно, одна из возможных интерпретаций. Но нам она представляется самой вероятной. Сталин и вся его группа никогда, быть может, не были настоящими марксистами. Читал ли Сталин Маркса, в высшей степени сомнительно. Вообще же он учился социализму по Ленину; а в Ленине ценил, конечно, прежде всего гибкого политика и стратега, а не метафизического оракула. Сам он никогда не раскрывал рта в доктринальных дискуссиях, раздиравших партию. Практическое дело одно его интересовало в революции. Такова и вся его группа. За немногими исключениями, полуинтеллигенты, люди, выбившиеся из самых низов, не ломавшие себе голов над книгой, но умелые экспроприаторы, убийцы, техники революции — впоследствии чекисты, офицеры гражданской войны и секретари, подобранные Сталиным. Конечно, они не могли не верить

марксистской догме: хотя бы по тупости мысли и по необходимости иметь какой-то отчетливый фон сознания — для концентрации действия. Но годы, десятилетия борьбы, знакомство с самыми сложными вопросами жизни должны были воспитать в этих практиках по природе изрядную долю презрения ко всякого рода теориям. Если бы теории были столь важны для действия, то, конечно, им никогда бы не сидеть в Кремле; первое место принадлежало бы пророкам подполья: всем этим Троцким, Каменевым, Бухариным. В порядке теории любой профессор Коммунистической Академии забудет Сталина. Но Сталин платит ему презрением и рад, что может наконец открыто высказать это презрение. Ведь он тридцать лет дожидался этого случая.

Как бы низко ни оценивать культурный уровень Сталина, за годы власти — за 10 лет — он должен был многому научиться. И научился он тому, что в самых разнообразных областях жизни: в хозяйстве, в международной политике — прямолинейное следование марксистским схемам всегда приводило к поражениям: в Китае, в Германии, в строительстве пятилеток. Все победы Ленина достигались отступлением от этих схем. Сталин не мог не сделать из этого соответствующих выводов.

Те, кто хотят видеть в сталинских отступлениях от марксизма тактический маневр и признают, вопреки очевидности, неистребимость марксистской веры в большевистской партии, постулируют некоторое чудо. Они рисуют не людей, а сверхчеловеков, героев или демонов, абсолютно чуждых человеческим слабостям и страстям, не поддающихся никаким влияниям жизни и представляющих собой чистый сгусток неразлагающейся доктрины. Словом, они легковерно принимают за действительность созданный большевиками миф о самих себе. На самом деле сохранение большевистской партии и ее доктрины хотя бы в течение пятнадцати лет после победы — и то представляет явление, небывалое в истории: якобинцы разложились в три-четыре года. Но, отдавая должное организаторским способностям Ленина, следует признать, что пятнадцать-семнадцать лет для ее разложения срок более чем достаточный. Сталин с 1925 года работает над размалыванием



ленинского гранита. К 1933 году он может считать свою задачу оконченной.

Было бы чрезвычайно интересно установить, что от старой социалистической веры сохранилось в сознании Сталина и его сподвижников. К сожалению, русский диктатор принадлежит к числу молчаливых и лукавых. Когда он берет слово, то, конечно, не для откровенных излияний. Думается все же, что представлять его абсолютным циником нет оснований. Да и в современной России, танцующей под дудку, повторяющей на тысячу ладов его директивы, остается некоторый устойчивый комплекс, неприкосновенный для критики. Этот комплекс чаще всего называется социализмом или социалистической культурой. Но что теперь в России понимают под социализмом?

Когда-то Ленин дал свое знаменитое определение: «Социализм — это Советская власть плюс электрификация». Ленин не претендовал, конечно, на точность и полноту. Но в своем парадоксе он нечаянно выразил нечто очень существенное для духа большевизма и его эволюции. В этом определении замечательнее всего полное отсутствие социальных и этических моментов, то есть того, что составляет самую природу социализма. Не равенство, не уничтожение классов, не рабочее или пролетарское общество... Но власть и техника. Власть Советов уже была для Ленина псевдонимом диктатуры его партии. Пока власть принадлежит компартии, социализм строится — если еще не построен. Для окончательного построения достаточно «электрификации», то есть индустриализации страны. Сталин целиком воспринял эту формулу — с тем различием от Ленина, что за ней для него нет ничего подразумеваемого (социального), что, конечно, связывало Ленина с основоположниками социализма. Эгалитарные тенденции социализма, под кличкой «уравниловки», разрушались им сознательно. С политической частью формулы произошло дальнейшее сужение, в порядке последовательных уравнений, типичных для диктатуры: пролетариат = компартия = Политбюро = Генеральный секретарь. Сталин может сказать совершенно спокойно: социализм — это я. Пока я у власти, страна идет к социализму. Индустриализация России остается единственным напоминанием о марксистской идее развития производительных сил.

Слияние абсолютной власти с индустриализацией означает государственное хозяйство. Чем выше хозяйственная мощь государства, тем больше в стране социализма. Так смотрят на дело в России и, вероятно, там были бы очень удивлены, если бы мы потребовали для социализма других определений. От классово-пролетарского или коммунистически-эгалитарного характера социализма в сталинской России не остается ничего.

Можно было бы спросить себя, почему, если марксизм в России приказал долго жить, не уберут со сцены его полинявших декораций. Почему на каждом шагу, изменяя ему и даже издеваясь над ним, ханжески бормочут старые формулы? Но всякая власть нуждается в известной идеологии. Власть деспотическая, тоталитарная больше всякой иной. Но создать заново идеологию, соответствующую новому строю, задача, очевидно, непосильная для нынешних правителей России. Марксизм для них вещь слишком мудреная, в сущности почти неизвестная. Но открытая критика его представляется вредной, ибо она подрывала бы авторитет Ленина и партии, с именем которого неразрывно связана Октябрьская революция. Отрекаться от своей собственной революционной генеалогии — было бы безрассудно. Французская республика 150 лет пишет на стенах: «Свобода, равенство, братство», несмотря на очевидное противоречие двух последних лозунгов самым основам ее существования. Сталин не первый из марксистов, предпочитающий «ревизию» Маркса прямой борьбе с ним.

Сложнее вопрос о партии: почему не ликвидирована партия вместе с ликвидацией основ ее мирозерцания? Каков смысл коммунистической партии, очищенной от коммунизма? Но эта тема ставит перед нами вопрос о характере единодержавия Сталина.

Парадокс личного режима Сталина заключается в полной безличности диктатора. Сталин, объявленный «великим и гениальным вождем революции», не оказал ей никаких существенных услуг. Второстепенная фигура исполнителя, он исчезал в сиянии настоящих вождей — в период борьбы и побед. К власти он пришел через партийную демократию, как *servus servorum*, секретарь секретарей. Его власть — власть партийного аппарата диктатуры. Ни идеи, ни личные дарования здесь ни при чем. Но тогда как мо-

жет Сталин подрубить опору партии, с которой он пришел к власти?

Разгадка заключается, вероятно, в том, что Сталин почувствовал узость и шаткость партийного помоста для своего трона — в эпоху убыли революционной волны. Вероятно, он видит, что партия далеко не пользуется популярностью в стране. Если беспартийные массы ненавидят коммунистов, то Сталин хочет отвести от себя эту ненависть. Он хочет быть не вождем партии (каким был Ленин), а вождем страны. Для этого он изобретает психологически очень удачную категорию: «беспартийные большевики». Сюда относятся все советские активисты, все лояльные и усердствующие граждане. Сталин хочет быть их вождем. Он единственное воплощение политической воли в стране. Его отношение к народу более напоминает самодержавного вождя. Иные жесты его кажутся прямо скопированными с Николая I. Сталин, беседующий с девочкой во время демонстрации на Красной площади, поразительно напоминает Николая Павловича в кадетском корпусе; колхозницы, плачущие от восторга после посещения самого Сталина в Кремле, повторяют мотив крестьянского обожания царя. Сталин и есть «красный царь», каким не был Ленин. Его режим вполне заслуживает название монархии, хотя бы эта монархия не была наследственной и не нашла еще подходящего титула.

Отсутствие титулов возмещается личной лестью, возведенной в государственную систему. Нет эпитетов, слишком торжественных и величественных для Сталина, одного из самых серых и ординарных людей, выдвинутых ленинской партией. Что этот фимиам воскуряется по прямому требованию диктатора, в этом не может быть сомнения. Вопрос лишь в том, какая доля государственных соображений руководит этим новым культом и что следует отнести на долю личного опьянения или одурения властью. Когда Сталин допускает — а в России это значит требует, — чтобы писатели называли его первым стилистом, а ученые величайшим философом мира, — делается страшно за его бедную голову. Кажется, что человек ходит на грани безумия. Но здравый смысл, проявляемый им во многих жизненных вопросах, подсказывает другое объяснение: это не безумие, а поразительно низкий уровень культуры, который делает этого дика-

ря совершенно беззащитным перед винными парами своего вемогущества. Сталин лишен чувства смешного. Но он понимает, что, сворачивая с ленинской дороги, его власть нуждается в новой, личной санкции. Сталин должен быть величайшим гением, чтобы иметь право не считаться с догматами Маркса и заветами Ленина.

От власти — к управлению. Каков тот аппарат, с помощью которого Сталин правит Россией? Этот аппарат чрезвычайно тяжел и громоздок, лишен единства и представляет собой нагромождение органов диктатуры. С тех пор как партия утратила свое независимое идейное содержание, можно говорить об утروении государственного аппарата: советское управление, партийные органы, его дублирующие, бывшее ГПУ. Несмотря на формальное включение ГПУ, под именем Комиссариата Внутренних Дел, в общую систему советского управления, этот орган по-прежнему пользуется полной самостоятельностью. Самостоятельность политического сыска характерна для всякой деспотической власти. Но двойственность партийного и советского аппарата является странным пережитком. Вероятно, практически почти все коммунисты втянуты на службу в советских учреждениях. Но так как их партийная иерархия не совпадает с советской и партийный билет дает или давал до сих пор огромный перевес рядовому коммунисту над беспартийным его начальником, то эта двойственность должна дезорганизовать всю систему управления. У диктатора должны быть веские основания для этой растраты административных сил. Таким основанием является личная ему верность партийных секретарей. Коммунисты в России сейчас суть граждане первого класса, сверхчеловеческие, принесшие двойную присягу: общеполитическую — государству, и лично-вассальную — вождю. Ими диктатор распоряжается с большей свободой и уверенностью: может перебрасывать их как угодно и употреблять для надзора и контроля чисто государственных учреждений. Но эти функции партии снова пересекаются с ГПУ. Административная путаница, очевидно, терпится потому, что власть дорожит всякой лишней надстройкой диктатуры. В связи с непрекращающимся правительственным террором, это обстоятельство говорит за то, что у власти нет достаточно широкой социальной опоры. И это предположение оправ-

дывается анализом социальных слоев, составляющих новое общество в России эпохи сталинизма. Никогда еще, за все время революции, власть не была так оторвана от широких масс, так мало «народна», несмотря на видимость (искусственную) обожания ее носителя. На кого опирается Сталин? На рабочих? Но как раз за последний год их и без того тяжелое положение еще ухудшилось. Отмена хлебных карточек означает понижение реальной заработной платы. Главная цель стахановского движения — увеличить трудовую нагрузку полуголодного пролетариата. Недаром рабочие отвечают уже убийством пионеров нового тейлоризма.

Крестьяне? Могли ли они забыть столь недавно, всего пять лет тому назад произведенную Сталиным грандиозную революцию — или контрреволюцию — против крестьянства, гибель своей свободы, восстановление, под именем колхозов, крепостного строя? Есть ли в деревне семья, которая не имела бы среди своих близких сосланных, расстрелянных, умерших от голода? Миллионы голодных смертей всего два года назад отметили успехи сталинского социализма по всему югу России. С тех пор диктатура даровала крестьянам дворовые участки, на которых они, неся крепостную и не ограниченную временем барщину в пользу государства-помещика, могли бы с грехом пополам кормиться. Огород, корова, свинья — могли ли примирить крестьянина с колхозным рабством? Сомневаюсь. Может быть, этой подачкой Сталин предотвратил взрыв и непосредственную угрозу мужицкого восстания. Но едва ли приобрел популярность. Скорее следует предполагать глухую ненависть к нему со стороны как раз трудящихся классов — тех, что сделали Октябрьскую революцию. В этом, социальном, смысле Октябрьская революция проделала полный круг. Начавшись с восстания рабоче-крестьянской России, она закончилась ее полным порабощением. Народ в сталинской России является не субъектом, а объектом власти, фундаментом новой государственной пирамиды.

На кого же, в социальном смысле, опирается власть? В годы пятилетки на это можно было ответить так: на молодежь, на все, что было в России юного, наивно-жизнерадостного, героического, сохранившего веру в социальное знание. Именно молодежь, отрываемая беспощадно от «учебы», перебрасывалась тысячами на «узкие» места строительства

на заводах и в деревню, чтобы грудью перерезать колючую проволоку, заполнять своими трупами рвы — и в то же время подгонять отстающих, пассивных, выполнять роль добровольных палачей своего народа. Эта молодежь мечтала построить на земле социалистический рай. Глубоко было ее разочарование к исходу пятилетки, несмотря на цифры технических достижений. В результате стройки Россия оказалась обнищавшей и разоренной. А непосредственные результаты были так далеки от фантастических идеалов. Отсюда разрыв социалистического актива со Сталиным, — разрыв, сигналом которого был выстрел Николаева. С тех пор Сталин не переставая ведет борьбу с этой молодежью, еще вчера ему преданной. Троцкисты, зиновьевцы, леваки, добываемые им, — это все та же молодежь. Увидев для себя опасность социалистической школы, воспитавшей утопистов, Сталин хочет заставить молодежь учиться по старинке, вводит дисциплину, экзамены, издевается над неграмотностью и некультурностью людей, которые вчера считались авангардом коммунизма. Но, выбрасывая из школы и из жизни мечтателей-утопистов, Сталин широко распахнул двери в жизнь — практикам-профессионалам. Все, кто мечтают о личной карьере или увлечены своим специальным делом, легко примиряются с новой фазой диктатуры. Более того, для них она означает подлинное освобождение и от принудительной жертвенности, и от принудительного доктринерства.

Но эта группа выводит нас из возрастной и моральной категории молодежи. Специалисты дороже в работе, в жизни, чем в школе. Подлинная опора Сталина — это тот класс, который он сам назвал «знатными» людьми. Это те, кто сделал карьеру, кто своим талантом, энергией или бессовестностью поднялись на гребень революционной войны. Партийный билет и прошлые заслуги значат теперь немного; личная годность в соединении с политической благонадежностью — все. В этот новый правящий слой входят сливки партийцев, испытанных своей беспринципностью, чекисты, командиры Красной Армии, лучшие инженеры, техники, ученые и художники страны. Стахановское движение ставит своею целью вовлечь в эту новую аристократию верхи рабочей и крестьянской массы, расслоить ее, соблазнить наиболее энергичных и сильных высокими окладами

и поставить их на недостижимую высоту над их товарищами. Сталин охульно, инстинктивно повторяет ставку Столыпина на сильных. Но так как не частное, а государственное хозяйство является аренной новой конкуренции, то Сталин создает новый служилый класс, или классы, над тяглым народом, повторяя еще более отдаленный опыт Московского государства. Жизненный урок показал ему слабую сторону крепостного социализма — отсутствие личных, эгоистических стимулов к труду. Сталин ищет социалистических стимулов конкуренции, соответствующих буржуазной прибыли. Он находит их в чудовищно дифференцированной шкале вознаграждения, в бытовом неравенстве, в личном честолюбии, в орденах и знаках отличия, — наконец, в элементах новой сословности. Слово «знатные люди» само по себе уже целая сословная программа. Но создание «знатного» сословия не только экономическая необходимость. В еще большей степени, быть может, это необходимость политическая. Править огромной, сведенной к ничтожеству человеческой массой — и притом ненавидящей власть — невозможно, не внося классового разделения в эту массу. Извлекая непрерывно все активные и даровитые элементы народа для создания новой аристократии, режим обеспечивает себе добровольную и крепкую основу. Деспотическая монархия, даже демократическая по своим истокам, неизбежно становится классово-образующим фактором.

Так в эволюции сталинизма подтверждается опыт всех «великих» революций: главный смысл их состоит в смене правящего слоя, образование новой аристократии означает объективное завершение революции.

В этой новой аристократии есть один элемент, заслуживающий нашего пристального внимания. Это верхи интеллигенции, старой и новой, прикормленной и прирученной диктатором. Не одни «технократы», организаторы производства введены в состав знати. Сюда относятся и лояльные ученые и верные власти писатели. Литература и искусство в России признаны за политическую силу первой величины. Они проводят непосредственные директивы Сталина не только в хозяйственных и политических вопросах, но и в создании «нового» сталинского человека. Высокие гонорары, целая система государственного обеспечения создают в литературной среде бодрое чувство своей приви-

легированности, своего значения для страны. Диктатор и сам любит появляться в литературных кружках. Он держит себя меценатом и разрешает обращаться к себе за управой и милостью в случае цензурных притеснений. Максим Горький, пользующийся большим личным влиянием на Сталина, играет роль посредника в сближении диктатора с литературным миром. Результаты налицо. Сталин получил в литературе блестящую рекламу — для Запада самое убедительное оправдание своего режима. Он может досыта упиться неслыханной лестью. И, как ни невероятны по грубости многие формы этой лести, мы не считаем возможным объяснить их целиком страхом или подкупом. Вполне допустимо, что Сталин приобрел популярность в этой среде, для которой художественное ремесло — это все, нравственные основы жизни — ничто. Представляя себе новую интеллигенцию по типу старой, народнической и жертвенной, мы ничего не поймем в новой России, созданной революцией. Для новых людей смешны такие чувства, как жалость, сочувствие народу, чистота убеждений. Но достижения, но трудовой или художественный рекорд — это то, что заменяет нравственные основы жизни. Поскольку Сталин облегчает им творчество, они готовы считать его своим вождем. Для них — формалистов и бытописателей — самая постановка государственных тем не мешает, до поры до времени. Не все ли равно, о чем писать? Важно не «что», а «как». И вот Сталину удастся собрать вокруг своего шаткого трона верхи русской интеллигенции. Интеллигенция с государством, интеллигенция с властью: такова ситуация, в России не повторявшаяся с начала XIX века. Действительно, новый режим в России многими чертами переносит нас прямо в XVIII век. Та же массивная тяжесть государственной пирамиды, то же строительство культуры на костях народа. Государство как организатор культуры. Революционно-рационалистический характер этой, проводимой сверху, культуры. Энтузиазм и лесть, окружающие трон. «Оды на восшествие на престол». Но в то же время и огромная техническая и научная работа в полудикой стране: географические экспедиции, Академия наук... Конечно, Сталин напоминает скорее правителей эпохи бироновщины — палачей из тайной канцелярии, живущих традицией Великого Петра... Но уже он чувствует потребность расцвести



эту палаческую государственную работу блеском елизаветинского или екатерининского двора.

\* \* \*

Неясным и неоднозначным представляется образ России на исходе девятнадцатого года ее революции. Она все еще не нашла своего равновесия; все в ней неустойчиво, текуче, больше обещает, чем дает. Ее социальный строй сейчас почти столь же шаток, как старый режим на исходе его жизни. Новое дворянство живет военным лагерем, окруженное ненавистью подавленного народа. Найдет ли оно в себе понимание и силу совершить его раскрепощение, которое ведь принципиально совместимо с социалистической основой государственного хозяйства?

В России не может установиться надолго власть, которая не была бы признана и принята крестьянством, составляющим сейчас огромное большинство в стране. Если освобождение крестьянства, слишком робко намеченное Сталиным, не завершится ранее военного нападения на Россию, она не выдержит новой войны.

Столь же туманно духовное будущее России на ее сегодняшнем распутье. Куда идет она? К социалистическому мещанству, которое пророчил Герцен для Европы, к Пошехонью в  $1/6$  части света или к новому гуманизму, к новому расцвету русской культуры и осуществлению пророческих обетований XIX века?

О, если бы в этот роковой час ее жизни до России могли донестись наши мысли о ней, наши усилия, наши молитвы, а не только вопли ненависти, готовой, в союзе с ее врагами, нанести ей предательский — может быть, смертельный — удар!

## КУЛЬТУРНЫЕ СДВИГИ

Среди огромных перемен в бытовой и духовной жизни России, накопившихся за последние два года, не все имеют общий социологический коэффициент. Национализация революции совсем не то же значит, что ее «нормализация». Национальный мотив был первым прозвучавшим громом в годы сталинокрапии. И он, бесспорно, имел тогда еще революционный, «большевистский» смысл. Это была последняя форма революционного динамизма, последняя попытка раздуть огонь массового энтузиазма, потухшего после пятилетки, подбросить в костер новых дров. Можно отметить три фазы, которые проходила в России большевистская агрессия: ярость классовой войны, ярость индустриального строительства и, наконец, война в ее чистом виде, война военная. Милитаристический исход революции — ее естественный исход. Большевизм же, зачатый в войне, всегда сохранял печать своего военного происхождения. Он любил даже безграмотность ликвидировать методами военного «фронта». Когда пятилетка закончилась психологическим провалом, можно было поставить вопрос: конец ли это революции? Или у нее имеются еще ресурсы? Ответ был один. Только война может дать новый заряд энтузиазма — на этот раз революционно-патриотического. Если не массы русского народа, то его молодежь готова защищать завоевания революции от внешних, как и от внутренних врагов. Внешние основания для революционного оборончества были налицо: опасность германо-японского нападения была — и остается — весьма реальной. Но нельзя вести войну, не освобождая так или иначе инстинктов всенародного патриотизма. Так рождается новый сталинский патриотизм: защита отечества, уже не «социалистического». Несмотря на оборонительный, по существу, характер военных приготовлений России, в первое время психологическая подготовка к войне носила, несомненно, характер аг-

рессивно-милитаристический. Шум оружия, демонстрации танков и пушек, угрозы всему миру — заглушали в СССР на время все другие голоса. Это был последний крик революции. С тех пор Сталин научился по-иному защищать Россию, без угроз и истерики, поняв, что ноты пацифизма, соответствующие действительному положению дел, гораздо выгоднее для России. У нее могут найтись союзники. Литвинов едет в Женеву.

С тех пор Россия меньше бряцает танками, но патриотическое сознание растет и крепнет. Оно, несомненно, находит отклик в стране. Годами сдерживаемое, даже удушаемое чувство любви к родине, столь человеческое, получило свободу своего выражения. И здесь первоначальный революционный его момент оттесняется другими, более интимными и вечными элементами. Красота родины, ее природа, ее язык становятся предметами восторженного поклонения. Правда, и в новом аккорде звуки социального торжества доминируют: самая свободная страна, страна социализма! Но политический ингредиент входит во всякое национальное сознание. Шумные торжественные звуки народной гордости еще слишком выпирают: свидетельство о большевистском происхождении. Но уже есть и более интимные, и более тихие голоса — голоса не гордости, а любви.

До сих пор эти голоса было бы правильнее назвать патриотическими, чем национальными. Родина, которую они воспевают, — это СССР, Союз Советских Республик, но не Россия. В состав нового легализированного патриотизма принят лишь то общее содержание, которое входит в национальное чувство всех народов Союза. Говоря старым языком, это имперское, российское, но не русское сознание. Известный запрет, тяготеющий над русским национальным чувством, над историей и духовной культурой России — Руси, объясняется и политической осторожностью и глухотой просветителей к этим чисто русским мотивам. Опасным кажется дифференцировать национальное чувство народов СССР. И группа, стоящая у власти, имеет слишком пестрый племенной характер, чтобы инстинктивно принять завещание России. Им легче усвоить империалистический стиль Империи, чем нравственный завет русской интеллигенции или русского народа. Впрочем, одна дверь и здесь открыта широко. Русская литература XIX века, и притом не только в революционных ее течениях, —

открыта для всех. И через нее все народы СССР и русские рабочие и крестьяне приобщаются к наследству русской культуры. Этот факт должен иметь неизмеримые последствия, пока еще не раскрывшиеся.

Если советский патриотизм можно рассматривать как национальное перерождение революции, как ее сублимацию, то остальные веяния сталинской весны несут с собой откровенный душок реставрации. Когда-то Пильняк придумал для героической эпопеи первых лет большевизма образ Памира. Теперь Россия явно спускается с Памиров в долины, где альпинисты, полунадорванные поставленными рекордами, могут утолить свой человеческий голод, потребность в отдыхе и сне. Такой смысл имеют сталинские лозунги о «зажиточной», «веселой» и «красивой» жизни. Не все же надрываться для мирового будущего! Надо, наконец, пожить и для себя. Поколение, сделавшее Октябрьскую революцию, получает ясный ответ на свой недоуменный вопрос: «Для чего мы кровь проливали?» Рай на земле, мечта о новом человеке и новом быте сводится к точным размерам: «жирный обед», модный костюм, патефон... Для голодных и оборванных людей этот идеал имеет и оправдание, и даже эстетическую прелесть. Все то, что так недавно было грехом для социалистического сознания — что остается грехом для всякого морального сознания — привилегии сытости и комфорта в стране нищеты и неисчерпаемого горя — теперь объявляется дозволенным. Кончился марксистский пост, и, без всякой Пасхи, без всякой мысли о воскресении, наступило праздничное обжорство. Для всех? Конечно, нет. Не забудем, что именно эти годы принесли с собой новые тяготы для рабочих и углубление классовой розни. Веселая и зажиточная жизнь — это для новых господ. Их языческий вкус находит лишнее удовлетворение своей гордости в социальном контрасте. Нигде в буржуазном мире пафос расстояния не достиг такой наглости, как в России, где он только что освободился от долгого запрета. Стахановец или ударник-инженер получает 3000 рублей, низовой рабочий — 100. Что значит этот контраст для того, кто не имеет вдоволь черного хлеба, легко себе представить. Стахановцев убивают. Может ли быть иначе?

Но на верхах жизни продолжается реставрация дореволюционного быта. Новое общество хочет как можно боль-

ше походить на старую дворянскую и интеллигентскую Россию. Поскольку оно не довольствуется элементарной сытостью и комфортом, его мечты о «красивой» жизни принимают невыносимо пошлые формы. По крайней мере советская печать иначе не умеет говорить об этом. В описании советских приемов и празднеств новой знати сквозь Игоря Северянина явно проступает Смердяков.

Смердяков — и Шмит. Социалистическое мещанство — и бескорыстный героизм авиаторов, путешественников, полярных исследователей. Одни жадно вгрызаются в жизненные наслаждения. Другие аскетически отказываются от всего — кроме, конечно, честолюбия. Ибо идеал рекорда остается высшим моральным стимулом в СССР. И аскеты, и жуиры принадлежат к тому же классу новой «знати». Где проходит разграничительная черта? Отчасти она создается природным неравенством людей, благородством одних и мелкостью других. Отчасти она совпадает с возрастом. Герои Октября и пятилетки, поизносившие свой героизм, разбившие свои нервы, хотят пожить для себя. Молодежь, вступившая в жизнь, жаждет подвигов. В старой России почти каждый студент был революционером в двадцать лет, обывателем в тридцать. В современной России изнашивание человеческого организма идет быстрее. Можно заметить, что Сталин и его дружина — поколение пятидесятилетних — сейчас задает тон на «веселую» жизнь. Известное размягчение должно было коснуться и самого «стального» отбора бывшей партии.

Последние годы много говорят о советском «гуманизме». Содержание этого понятия в России столь же двусмысленно, как и понятие советского патриотизма. Один из корней сталинского гуманизма чисто хозяйственный. Организаторы заметили на исходе пятилетки, что машина требует человека, который мог бы смотреть за ней. Самый совершенный американский механизм ломается в неопытных руках. Отсюда возникла проблема кадров как новый сектор индустриального фронта. Проблема создания квалифицированной рабочей силы потребовала реформы школы, переоценки общей культуры. Производство требует культурного человека: это новое открытие влекло за собою отступление не только самодовлеющего технизма, но и марксизма в его тоталитарных претензиях.

Этот производственный поток «гуманизма» скрестился с потребильным. Человек хочет есть, пить, одеваться и т. д. Потребительный гуманизм совпадает с идеалом зажиточной жизни. До сих пор этот поворот к человеку имеет чисто утилитарный, хозяйственный, почти животноводческий смысл. Советская власть поворачивается лицом к человеку, как раньше поворачивалась лицом к кролику или свинье. О гуманизме здесь говорить смешно; ибо не ставится еще ни проблема свободы, ни духовной жизни, взаимоотношение которых составляет самую тему гуманизма.

Но, по-видимому, как и в рождении советского патриотизма, Гитлер и здесь был крестным отцом. Немецкие расисты сыграли роль пьяных илотов для московских спартанцев. Если фашизм объявляет войну гуманизму, последний должен быть спасен в СССР — стране, которая первая нанесла ему страшный удар. Что такое советский гуманизм, мы еще не знаем. Но ясно, что здесь разбужены духи, с которыми может и не справиться маг. Огромное различие между СССР и странами фашизма состоит в том, что фашизм был духовной реакцией против упадочного гуманизма, тогда как в России к культуре впервые пришли массы, еще не затронутые им. Для них гуманистический XIX век — особенно в его русском великом выражении — таит большие соблазны. И эти благородные соблазны будут возрастать в меру роста культуры, в меру понимания того языка, на котором написаны священные книги русского гуманизма. Здесь вся наша надежда.

Есть явление в современной России более утешительное, чем героизм молодости. В героике может доживать себя пожар революционного энтузиазма. От него останется пепел и — веселая жизнь. Но иногда из оглушающего хора «ликующих, празднично болтающих» доносятся иные, неожиданные голоса. Голоса скорее тихие и одинокие. Голоса раздумья о судьбе человека, о жизни и любви, о природе, о смерти и вечности. Настоящий человек рождается в тишине одиночества, а не в гаме принудительной социальной активности. Этот человек не нужен ни для строительства, ни для обороны родины. Он дышит, поскольку может дышать, по недосмотру и попусшению властей. Но если России суждено остаться духовной личностью, а не только географическим и политическим местом, ее будущее начинается сейчас в молчании, едва для самого себя выразимом.

## ТЯЖБА О РОССИИ

Россия сейчас окутана мраком. Странно противоречивы крикливые голоса монополистов слова, которые только и слышны отсюда. Страна молчит, и мы даже не знаем, есть ли ей что сказать, или двадцатилетнее молчание убило уже всякую потребность в слове. Что сказала бы Россия, если бы вдруг кляп выпал из ее рта? Мы наблюдаем совершающиеся на поверхности процессы, социальные сдвиги и соответствующие им переломы в сознании. Но затрагивают ли эти процессы самую глубину народной жизни? Нам ясен, более или менее, правящий слой: его новая культура, его вождения, его октябрьский национализм. Мы знаем, что этот слой вышел из народа, связан с народом более тесно, чем, скажем старое русское дворянство и интеллигенция. Но этого недостаточно, чтобы ставить между ним и народом знак равенства. Мы видим ясно, как выделяемый народом слой знатных людей обособляется от народа, строит свое благополучие на страданиях вынесшей его массы. Можем ли мы быть уверены, что эта масса, страдающий которой не удастся никак скрыть новым властителям жизни, разделяет их оптимизм, их волю к жизни, их упоеание строительством культуры? Вопросы, на которые мы не можем дать ответа. А между тем от решения их зависит правильное понимание будущего России. Обрела ли она в революции национальную цельность, крепка ли она, выдержит ли удары внешнего врага, или первый толчок обнажит внутренние противоречия, разрушит непрочное единство и превратит ее снова — и на этот раз в обстановке бесконечно более трагической — в человеческую пыль?

Россия знает грозящую ей опасность. Правящий слой делает усилия, чтобы встретить войну не только технически, но и морально подготовленным. В спешном порядке куется национальное сознание, так долго разрушавшееся. Восстанавливается частично, кусками старая русская куль-

тура. Делаются попытки примирить массы с властью разными подачками, поблажками, смягчением рабства. Но и отсюда видно, что уступки недостаточны, восстановление медленно. Время не терпит. Успеют ли перестроиться, примириться, когда пробьет двенадцатый час?

В этой перестройке есть участок, самый отсталый и безнадежно запущенный, на котором хотелось бы остановить внимание. Вернее даже не участок строительства, а сам строитель. Каков его нравственный облик или, выражаясь по Ключевскому, нравственный капитал, с которым он стоит перед лицом тревожной и запутанной жизни? Этот облик есть самое неуловимое, ибо самое изменчивое в современной России. Мешает пониманию и различие социальных слоев и типов, и чередование противоречивых социальных заказов литературе, призванной отражать нового человека. Уже очень она, эта литература, изолгалась за долгие годы потаканья и приспособления. Конечно, это зеркало, но зеркало совсем кривое, и мы не знаем, в какой мере кривизна его обусловлена законами художественного преобразования и в какой мере требованиями заказчика. Но мы чувствуем, что человек — это самое важное в современной России (как, впрочем, всегда и везде), что в нем только ключ к пониманию настоящего и будущего. Не видим его, не знаем, но должны знать и видеть, чтобы не потерять всякое чутье России. Остается ловить даже не тени, а как бы запахи живой, но в мраке протекающей жизни. Остается гадать, склеивать мозаику из случайных фрагментов рассыпающейся картины. Вести с собой вечную тяжбу за Россию, проверяя себя и себе противореча: на каждое «да» искать «нет». Это честнее, чем догматическое утверждение России чаемой, прекрасной мечты, которой, может быть, не соответствует никакая реальность. Россия нам не любовница, а законная жена. Вспомним, как Садко в поэме А. Толстого отнесся к прелестям подводных красавиц, и вместе с ним сделаем свой выбор — за «рябую девку», за живую женщину, за Альдонсу.



## 1

Трупным воздухом тянет сейчас из России. При желании можно найти тьму отрадных вещей для утешения и надежды. Но эти струйки тления сейчас заглушают все. Это не значит, конечно, что весь воздух в России отравлен. Но сейчас ветер несет именно эту струю, и было бы лицемерием начинать речь с чего-либо другого. Подуло этим ветром с зиновьевского процесса, и многие утешают себя тем, что гниет, собственно, коммунистическая партия, а не Россия, что нам нужно радоваться ее разложению. Политически, может быть, это и так. Но мы собираемся говорить только о моральном балансе России. А здесь дело обстоит иначе. За двадцать почти лет революции партия слишком срослась с телом России, слишком обросла попутчиками, активистами, «беспартийными большевиками», чтобы ее разложение не заражало всего, что вокруг. Это заражение началось давно. Имморализм присущ самой душе большевизма, зачатого в холодной, ненавидящей усмешке Ленина. Его система — действовать на подлость, подкупать, развращать, обращаться в слякоть людей, чтобы властвовать над ними, — дала блестящие результаты. Но до последнего времени гниль революции была прикрыта угольками революционного энтузиазма. Все новые поколения молодых энтузиастов сжигали свою жизнь и совесть на костре революции. Они совершали чудовищные преступления, но их жертвенность заставляла прощать многое. Этот неподдельный энтузиазм, а не только декорации московских режиссеров обольщали стольких чужестранных гостей, даже самых честных, но скудных собственной верой, с благоговением касавшихся земли новой мессианской религии. Но вот энтузиазм умер — по крайней мере энтузиазм революции, — и иностранцы больше не обманываются. Все чаще возвращаются оттуда разочарованные. И это несмотря на бесспорные достижения последних лет, на возрастание сытости, довольства, внешней цивилизации. Режиссерам стало трудно добиваться эффектов внушения. В «седое утро» пореволюционного похмелья все отчетливее выступает та система всеобщего полицейского сыска и провокации, которая лежит в основе управления страной. В тех грандиоз-

ных и поистине неслыханных в истории формах, которые приняла эта система, она развращает не только аппарат власти, но и весь народ. Как велико сейчас число людей, которые, вольно или невольно, не носят маски, надетой на них полицейским режиссером? Не лгут, не клеветают, не требуют казни для своих друзей, не оговаривают невинных — или даже самих себя. Разные могут быть меры и степени. Не все — немногие оказываются в положении шестнадцати, но лгут все. Вот страна, где сейчас никто, ни один человек не может сказать правды. До последнего времени меньшинство — революционная молодежь и активисты — имели монополию правды; их оптимизм, до известной степени, спасал Россию. Теперь петля затянута и на их шее. Ложь стала всеобщей повинностью, и в каких извращениях! Чтобы отвлечь подозрения, чтобы «украсть жизнь у тирана», люди, особенно ненавидящие его, должны больше других льстить ему и доказывать свою верность реальными поступками. Сейчас революционер-антисталинец, вероятно, должен иметь наилучшие связи в ГПУ, а чтобы иметь, он должен заслужить их. Злейшие враги социализма пролезают к власти, не уставая клясться именем Маркса и пролетариата, для того чтобы держать в тюрьмах и казнить защитников угнетенных рабочих и крестьян. Ленинская (или нечаевская) мораль перестает быть отравой партийного отбора; обобщаясь, национализируясь, она грозит стать всенародной. Что будет с нацией, которая вот уже двадцать лет как положила в основу воспитания своих граждан, с самого нежного детства, подражание Иуде?

Годы идут, а удушье застенка все сгущается над Россией. Сейчас оно более чем когда-либо отравляет культурную жизнь. Власть хочет сама строить культуру новой России, строить ее по-новому, не по марксистским трафаретам. Она, в сущности, сама не знает как. Но по-прежнему командует, раздает директивы, ежечасно противоречащие друг другу. Проводить их теперь обязаны не партийцы, не испытанные марксисты, а работники культуры, для которых их ремесло, их искусство — все. Вчера они были пассивным объектом воздействия, сегодня они должны проявлять активность, угадывать веления начальства. Трудно представить себе что-либо более отвратительное, чем соборования квалифицированной интеллигенции наших дней, —

по крайней мере по отчетам «Известий». Поэты, ученые, художники наперерыв выступают с унижительными покаяниями, с клеветой и доносами друг на друга. Клянутся в верности деспоту и отрекаются от идей, которым служили всю жизнь. Совсем недавно на собрании художников Рудзутак — то есть просто сталинский унтер — осмелился учить Юона, как надо рисовать и в какой манере воспитывать молодых художников. Теперь требуется «социалистический реализм», и этот лозунг развязывает наглость невежд. Подражая пушкинскому сапожнику в роли критика, Рудзутак находит, что нарисованная кем-то лошадь не похожа на живую — в лошадях он, вероятно, знает толк. И серьезные люди, артисты, старый мастер Юон не только должны выслушивать эту дичь, но оправдываться, давать обещания исправиться... Можно представить себе, как задыхались они от унижения и бессильной злобы в своих постелях в ту ночь. От партии, интеллигенции, спускаясь ниже, по ступенькам социальной лестницы, в России очень определенной, — на заводах, в деревне мы находим ту же атмосферу злобы и предательства. Испортить машину, пырнуть ножом выскочку стахановца, сбивающего заработок, угрюмо проголосовать резолюцию о расстреле каких-нибудь вредителей и мечтать о войне, которая покончит со всеми притеснителями — вот общественная жизнь пролетариата, все еще, по имени, господина страны. Рабочий вредительствует на фабрике, крестьянин — в колхозе — не только пассивной забастовкой, но порой, за спиной начальства, уничтожает жатву, чтобы избавить себя от лишней барщины. Он ведет упорную, партизанскую борьбу с властью — но каким оружием! Покорный на собраниях советов, он убивает выстрелом в спину председателя или секретаря; чтобы отомстить директору совхоза, он не останавливается перед тем — мы читали и это, — чтобы проломить головы его детям. Нечистая, ползучая борьба, где, сцепившись с удавом, человек сам принимает в себя что-то змеиное. Он ненавидит власть, но когда несчастный, в конце замученный беглец из концентрационного лагеря приближается к границе, окрестные крестьяне принимают участие в погоне не столько из страха ответственности, сколько ради обещанной награды — за куль муки. Куль муки — цена крови (30 сребреников). Мучительно хочется

знать, сколько их еще в России — тех, которые не прельстятся такой наградой за жизнь человека.

## 2

Поскорее отвернуться от этой картины из дантовского ада. Есть другие изображения современной России, более утешительные и нарисованные свидетелями столь же достоверными. Это образы здоровья, кипучей жизни, бодрого труда и творчества. Здесь, в эмиграции, они хорошо известны. Последние годы мы на них отдыхаем от сталинских кошмаров. В этих положительных образах трудно лишь выделить моральную сторону, интересующую нас. Россия, несомненно, возрождается материально, технически, культурно. Народ, теперь почти уже грамотный, весь прошедший через школу, жадно тянется к просвещению. Он выделяет из себя молодую, огромную по численности интеллигенцию, которая, не щадя себя, не боясь никаких жертв, вгрызается в «гранит науки», идет на заводы, в поля — строит новую Россию, счастливую, богатую, великую. Героическая мечта этого поколения — завоевать воздух, пустыни, полярные льды. Бесстрашие русских летчиков и полярных исследователей вызывает изумление во всем мире. Сколько талантов родит русская земля во всех областях творчества: изобретателей, музыкантов, чемпионов. Как хороша русская молодежь в массовых спортивных состязаниях. Какая слаженность, какое единство координированных движений и усилий. Люди, смотревшие русские футбольные команды за границей, отмечали, что сила русской игры не в отдельных достижениях, не в атлетических талантах, а в согласованности и дисциплине. Это ново и поистине удивительно. К русской одаренности мы привыкли. Но знаем так же хорошо и русский анархизм, неохоту и нелюбовь к социальной и трудовой дисциплине. Новое поколение преодолело эту распущенность, наследие мягкого русского барства. Конец обломовщины! Впечатление здоровья и силы, идущее от русской молодежи, не рассеивается тем, что мы узнаем о ее сексуальной жизни. В этом отношении она не хуже всякой иной молодежи нашего времени. Одно время можно было бояться, что сознательное разрушение

семьи и идеала целомудрия со стороны коммунистической партии загубит детей. Мы слышали об ужасающих фактах разврата в школе, и литература отразила юный порок. С этим, по-видимому, теперь покончено. Разврат детей оказался накипью революционных лет, подобно хулиганству рабочей молодежи и детской беспризорности. Сейчас нельзя уже обобщать этих мрачных явлений. Беспризорные дети перемерли в лагерях смерти. Хулиганство сублимировалось в танцевальный запой. Школы подтянулись и дисциплинировались. Власть поддерживает моногамную семью, борется с абортами, с половой распущенностью. Нет, с этой стороны русскому народу не грозит гибель. Еще не истощены физические резервы расы. Она размножается с поразительной и даже опасной для народного хозяйства быстротой.

На этом физическом здоровье и крепости строится, правда, очень элементарное, но уже нравственное воспитание. Порядок, аккуратность, выполнение долга, уважение к старшим, мораль обязанностей, а не прав — таково содержание нового пореволюционного нравственного кодекса. Нового в нем очень мало. Зато много того, что еще недавно клеймилось как буржуазное и что является общечеловеческим. В значительной мере реставрировано десятословие. Правда, по-прежнему с приматом социального, с принесением лица в жертву обществу, но и лицо уже имеет некоторый малый круг, пока еще плохо очерченный, своей жизни, своей этики: дружбы, любви, семьи. И тот коллектив, которому призвана служить личность, уже не узкий коллектив рабочего класса — или даже партии, а нации, родины, отечества, которые объявлены священными. Марксизм — правда, не упраздненный, но истолкованный — не отравляет в такой мере отроческие души философией материализма и классовой ненависти. Ребенок и юноша поставлены непосредственно под воздействие благородных традиций русской литературы. Пушкин, Толстой — пусть вместе с Горьким — становятся воспитателями народа. Никогда еще влияние Пушкина в России не было столь широким. Народ впервые нашел своего поэта. Через него он открывает собственную свою историю. Он перестает чувствовать себя голым зачинателем новой жизни. Будущее связывается с прошлым. В удушенную рационализмом, технически

ориентированную душу вторгаются влияния и образы иного мира, полнозвучного и всечеловечного, со всем богатством этических и даже религиозных эмоций. Этот мир уже не под запретом. Вечное заглядывает в глаза, через прошлое стучится в настоящее. Советский звереныш становится человеком.

Эти образы новой России, собранные из документов, из книг, с чужих слов подтверждаются опытно и, так сказать, зрительно, когда мы случайно сталкиваемся с советской молодежью — студентом, инженером, ученым, — приезжающей за границу. Грубоватые, внешне малокультурные, они почти всегда производят симпатичное впечатление. От них веет здоровьем и силой, и притом не злой, а сдержанной, скорее скромной, хотя и уверенной в себе силой. Разве такие бывают глаза у провокаторов и убийц? Когда мы глядим на них, нам не страшно за Россию. Мы готовы верить в ее будущее.

### 3

Как примирить непримиримое? Как согласовать эти два портрета Советской России, которые оба зарисованы множеством надежных свидетелей? Простейший выход из апории — принять один и отвергнуть другой. Для большинства из нас вопрос решается не исследованием, а верой. Изначальное «да» или «нет» современной России создает в нас могущественную апперцепцию, которая перемалывает впечатления жизни. К сожалению, это правило относится, почти без исключения, к молодежи, которая ради немедленного действия избавляет себя от труда мысли. Здесь вопрос ставится так: с Солоневичами или с возвращенцами? Между этими слепыми, или ослепленными, флангами эмиграция все более раскалывается пополам.

Каков же выход для зрячих? Для тех, кто не хочет брести в потемках? Нужно изощрять критическое восприятие жизни. Нужно учиться интерпретировать источники. Исследователь современной России поневоле становится историком. Да и на самом деле, она труднее поддается пониманию, чем многие древние, канувшие в Лету культуры.

Было бы слишком легко отделаться от проблемы, ук-

рывшись за необозримую сложность жизни. В России есть все (как и в любой стране). Цельного образа построить нельзя. Можно лишь копить факты и наблюдения. Такой эклектизм не пригоден даже для истории, чем же он может помочь в лабиринте жизненных противоречий? Мы хотим найти ориентировочные вехи в хаосе явлений, отметить существенное, усмотреть общие контуры и направление событий...

Попробуем наметить некоторые из этих возможных вех. Начнем с внешнего — так сказать, территориального. Быт Солоневичей (или Чернавиных) зарисован в каторжном лагере. Героический быт имеет своей территорией вузы, студии, учебные мастерские молодежи. В концлагерях, по грубым подсчетам, томится (или томилось) до трех миллионов человек. Может быть, столько же бодро и весело думают строить новую жизнь. Одни начинают свою карьеру, другие, по незадачливости или случайности, ее окончили — сброшены с быстро мчащегося поезда. Те, что в вагоне, не обращают внимания на исчезнувших спутников. Они слишком заняты разглядыванием волнующих новизною пейзажей. Завтра, может быть, придет и их черед. Но сегодня они веселые путешественники, строители и патриоты социалистической родины.

Быт лагерей и вузов понять нетрудно. Но 6 миллионов еще не Россия. С кем же страна: со строителями или с мучениками? Вот на что нелегко дать ответ.

Конечно, Солоневич прав, когда говорит, что в концлагере он видел в сгущенном виде то же, что происходит во всей России. Колхоз и фабрика тоже места принудительного, крепостного труда. ГПУ, которому принадлежат лагеря, хозяйничает и над всей страной. Повсюду мучают людей, расстреливают без суда... Но ведь так же повсюду, а не только в вузах, люди учатся и работают с увлечением, строят, а не только халтурят, и даже веселятся. Люди сживаются со всем: с нищетой, с недоеданием, даже с перспективой насильственной смерти. Вуз и концлагерь только фокусы, только центры лучеиспусканий, откуда снопы белых и черных лучей прорезают всю Россию. Лучи скрещиваются, переплетаются, картина ни белая, ни черная, а очень пестрая...

Попробуем идти дальше и спросим себя, где, в какой

среде преобладают концлагерные и где — вузовские цвета. Во всех профессиях есть удачники, талантливые и сильные люди, которые овладели нелегким искусством приспособляться к настроениям власти. Они искренне любят свое дело и легко соединяют личную карьеру с заботой о благе страны. Таких людей, вероятно, много в армии, в авиации, среди инженеров, ученых, художников. Вузовский тип расширяется, охватывая — конечно, не всю, — но значительную часть советской интеллигенции. Режим каторги вне лагерей всего полнее осуществляется для трудящейся бедноты деревни и города. Колхозник и чернорабочий всего более придавлены государством рабочих и крестьян и всего более деморализованы им.

Не забудем осложняющих поправок. И в колхозах, и на заводе, как и в концлагере, есть своя аристократия, свои удачники: стахановцы, ударники, активисты. Строить карьеру можно начиная с самых низших ступеней. Стахановцам должны быть присущи социальный оптимизм и веселая мораль господ. С другой стороны, повсюду так легко оступиться и упасть. Сколько людей, в разгаре головокружительной карьеры, останавливаются в холодном поту, чувствуя, что незримая рука приближается к горлу. Не сегодня — завтра позовут «с вещами».

Можно было бы сказать, пожалуй, что вуз и каторга в России приобретают значение классовых дифференциаций. Господа жизни, вновь созданные революцией, с одной стороны, — а с другой — поработанные массы. Тогда свет и тени распределялись бы ярко, как в древнем рабовладельческом обществе. Внизу эргастерий с прикованными рабами. Наверху триклиний, где Петроний принимает своих утонченных гостей. Или, поближе к русской действительности, крепостная девичья и гостиная сороковых годов. Но эти параллели грешат двумя неточностями: во-первых, в современной России культурный уровень разных классов несравненно однороднее, чем в любом историческом обществе. Во-вторых, классовые различия еще неустойчивы. Лично завоеванное положение легко гибнет. Неравенство — и притом вопиющее — не приобрело стабильного характера. Бедность еще не унижительна, и богатство не дает права на уважение.

Возможно ли подойти к интересующей нас дифферен-



циации с количественным критерием? Кого больше: счастливых или угнетенных? У нас нет никаких данных для ответа, кроме самых априорных. Несчастных всегда больше, чем счастливых, аристократия, отбор — по самому понятию — есть меньшинство. Однако это меньшинство может быть весьма значительным, а главное, при его активности и повышенной культурности именно оно представляет современную Россию и определяет ее судьбу. Так, конечно, и в прошлом, не крепостная необозримая масса, а тонкий слой дворянства и интеллигенции творил историю России. Однако до какой-то черты. До 1917 года.

Не забудем и «болото» — обывателя. Зощенковского героя — того, который не организует, не душит, но и не чувствует себя на каторге: изворачивается в нелегкой борьбе за жизнь и хочет кое-как скрасить свое существование. Таких, вероятно, большинство. Социалистическому обществу не удалось избежать своего мещанства. Оно выполняет даже положительную морально-санитарную роль. Не участвуя в гражданской войне и лишь пассивно в бесчеловечном строительстве, эта вялая, рыхлая масса смягчает, как подушка, жестокость сильных и ненависть слабых. Здесь находит свое последнее убежище жалость. Эта бытовая бескостная масса связана, одной стороной, с господами, другой — с рабами. Без нее общество — всякое общество — раскололось бы на враждующие классы. Схематические изображения современной России слишком часто забывают о значении этой аморфной нейтральной среды.

#### 4

До сих пор мы пытались, ощупью, установить если не классовое, то психологически-бытовое расслоение России. Не забыли ли мы по дороге о нашей теме — о морали? Разве символические категории вуза и концлагеря покрывают нравственные категории добра и зла? Конечно, нет, и здесь-то и начинается самая болезненная часть исследования.

В нашей условной классификации «концлагерь» включает в себя и палачей, и жертв. Нам трудно, невыносимо покрыть одной моральной категорией чекиста и терзаемую им жертву. К тому же русская интеллигенция всегда была

склонна идеализировать добродетели угнетенных. Но мы знаем — знали всегда, и современная Россия дает нам новые, ужасные подтверждения тому, — что рабство развращает. Есть степень насилия, которая, при отсутствии героического или святого сопротивления, уничтожает личность человека, превращает его в лохмотья, лоскутья человека. Конечно, совершенно разный стиль гнусности — палача и жертвы. Пусть безмерно более тяжка ответственность первого, но Иуда-то получается из жертвы. А также тот низкий мститель, который убивает детей за грехи отца... Вот почему в наших надеждах на моральное возрождение России не будем рассчитывать на миллионы сталинских рабов. Поскольку мученичество их не вольное и не просветленное, поскольку у них, или у большинства их, нет Бога в сердце и христианской силы прощения — их страдания искажают и губят в них все человеческое и оставляют грядущей России тяжелое наследие цинизма и злобы. Поскольку... Но к этому мы вернемся.

Обращаемся к верхнему, чистому этажу русской жизни. В нем-то так ли уж все чисто? И прежде всего, так ли однороден этот слой, который мы окрестили «вузовским». Ведь из предыдущих схем наших ясно, что он включает не только энтузиастов-юношей, но и преуспевающих карьеристов, суровых господ жизни... следовательно, и палачей? Без палачей не обойтись и в красном, чистом углу России. Вообще, чтобы что-нибудь понять в ней и что-нибудь простить ей, надо раз навсегда отказаться от требований полной чистоты. Но с этой оговоркой, не насильственно ли, не произвольно ли мы объединяем в понятие единого слоя юношу-студента и маститого героя гражданской войны, переменившего дюжину специальностей — прошедшего, весьма возможно, и через Чека, чтобы кончить свою жизнь краскомом, директором завода и даже директором вуза? Нет, не произвольно, ибо он сам, этот юноша, не отгораживается от господ жизни, он живет с ними общей жизнью, вдохновляется примером их подвигов, ставя их себе в образец. Но и как изолировать себя от их общества, когда они повсюду занимают первые места? Знает ли юноша, сколько крови на руке знатного товарища, которую он пожимает? Знает, конечно, но это его не смущает. Знает ли он о миллионах, томящихся без всякой вины в концлагер-

рях? Знает, — весьма возможно, не одобряет, но не очень расстраивается. Вернее, кровь и жестокость окружающей жизни не мешают ему наслаждаться своей молодостью, сознанием своей силы и радостью «творческого» (он преувеличенно подчеркивает: т в о р ч е с к о г о) труда. Счастлив он, если ему самому, выросшему не в годы гражданской войны, не довелось проливать кровь. Но если он чуть-чуть постарше и участвовал в строительстве первой пятилетки (1930 год!), то без крови вряд ли обошлось. Эта кровь его не мучит. Едва ли он вспоминает о ней. Советская литература дает нам множество примеров того, с какою легкостью переступает современный человек через кровь. Не будем торопиться причислять его к чекистам. У него такой честный и открытый вид. Он вовсе не жесток и полон самых благих намерений: по отношению к родине, к народу, своему призванию. Не жесток, но, конечно, жесток — в России это высшая похвала. Его можно, не обижая его, назвать толстокожим. У него мозоли не только на руках, но и на сердце. Да и как иначе он мог бы выжить и уцелеть в это жестокое время, родиться в котором он считает величайшим счастьем. С точки зрения вечной христианской и старой русской морали, у него почти нет того, что называется совестью. Вернее, она у него весьма рудиментарна. Признаем это безбоязненно, и пусть это не мешает нам любоваться его мужеством, его жизнерадостностью, его жертвенностью.

Содержание велений совести — или ее требовательность — так часто менялись во времени. В средневековье — в самые христианские столетия нашей культуры — жизнь человека ценилась очень дешево. Отправляясь в дорогу, каждый брал с собою меч или нож, чтобы обороняться от лихих людей. За такое, почти невольное, бытовое убийство совесть не упрекала... Не упрекает она и в наше время офицера и солдата, «исполняющих свой долг» на войне. Или, вернее, редко упрекает. Скажут, одно дело война, другое — революция. Не будем наивничать. Мы сами живем здесь, среди изгнанников, в большинстве — участников гражданской войны. Чувствуют ли они угрызения совести за пролитую русскую кровь? Так вот, юноши в России смотрят точно так же на кровь «белогвардейцев» или «контрреволю-

ционеров», как здесь смотрят на кровь большевиков. Она не отягощает совести.

И здесь и там, да и не только у нас, русских, — у всего послевоенного мира совесть не та, что была в блаженные годы начала века. И наших современников — не зрителей, а участников истории — справедливо мерить меркою не XX, а, скажем, XVII века. Тогда и юный строитель Советской России перестанет нам казаться нравственным чудовищем и мы поймем, как он может иметь такие невинные, спокойные глаза.

Поймем и простим — ему, но не строю, который делает бесчеловечие (в России, как и в Германии) законом жизни. Пожалуй, труднее простить другое: ту неизбежную и повседневную ложь, которая кажется нам несовместимой с мужеством и героизмом. Но и здесь, проклиная строй, покаявшийся на основной лжи, постараемся вдуматься в психологию социально-неизбежной лжи.

Каждое общество существует на известном цементе социальной лжи, называть ли ее условностью, приличием или лицемерием (*sant*). В старой монархии лезть была неизбежной формой обхождения при дворе. Ломоносов, Державин не были подлецами, когда писали свои хвалебные оды. Благородные люди употребляли формулы (в Московской Руси, например), которые нам кажутся несовместимыми с человеческим достоинством, какими, может быть, потомкам покажутся и наши формы вежливости. Культ вождей в современной диктатуре гнусен, но для участников его он не отличается от монархической верноподданности. В Англии республиканцы по убеждениям участвуют на каждом шагу в монархических манифестациях, а люди, не очень твердые в вере, подписывают 39 статей англиканской церкви. В России с такой же легкостью голосуют в с е предлагаемые резолюции, не смущаясь содержанием. Открытый протест невозможен и, вероятно, кажется донкихотским, несоциальным поступком. Но и в России — мы знаем это — проводят различие между добрым товарищем и подлецом. Есть подхалимство, которого не прощают. Есть предательство, которое исключает негодяя из личного дружеского общения. Понятия добра и зла существуют, хотя и сдвинуты сравнительно с христианской моралью. Делать карьеру интригой и пронырством, подставлять ножку направо и налево соперникам, вы-

служиваться, пуская пыль в глаза, особенно промышлять доносами, конечно, и в России мерзко, отвратительно, хотя обеспечивает нередко (как в доброе старое время Молчалиным) легкий, если и не очень прочный, успех. Честные работники, образующие советский актив, живут в одной среде с проходимцами и провокаторами. Они ими облеплены весьма густо. Режим диктатуры, особенно на ее идеологическом ущербе, чрезвычайно благоприятен для культуры подлости. Но грани между честным и подлым активом, слава Богу, не стерлись. Подлецы, время от времени, разоблачаются, — конечно, не все. Самые ловкие пролезают наверх, к подножию трона. Есть слои, или прослойки, по самой злосчастной природе их наиболее обезоруженные перед спросом на халтуру и подлость. Увы, к таким принадлежит профессия литераторов, которая невольно заслоняет для нас всю остальную интеллигенцию в России. Но можно быть уверенным: там, в России, видят границы, которых не смеет переступить человек, имеющий право на уважение. И, как бы ни отличались их границы от границ старой или христианской морали, и мы не можем отказать в уважении тем, кто, живя среди необыкновенных соблазнов, соблюдает скромный, неписанный, но принятый для себя закон.

## 5

И это все? Все, что мы имеем сказать в защиту России? Этим слоем толстокожих оптимистов и строителей исчерпывается все лучшее, чем жива Россия? Признаюсь, при всем уважении к этой породе, мне бесконечно больно за Россию, когда я поддаюсь малодушию видеть в них ее подлинную элиту. Эти серые герои, без Бога и без жалости к человеку, с большим вкусом к жизни и труду, — как много в них общего с молодежью Запада и Америки и как мало — со старой и древней Россией, у которой не было ни одного из их достоинств, но зато сколько им непонятого духовного благородства. Ловишь себя на сомнении: да полно, Россия ли это? Один ли язык русский и территория составляют духовное лицо России? Ведь тогда, пожалуй, и обитатели Элладского королевства тоже граждане Древней, вечной Греции.

От чекистов и рабов, от строителей и мещан хочется предпринять последнее, необыкновенно трудное «путешествие в глубь ночи», окутывающей Россию. Есть еще одна категория людей, которых мы не опросили в нашей анкете и которые не могли бы дать нам никакого ответа. Ибо это категория молчащих. В них-то и таится сейчас последняя надежда России. Говоря о молчащих, надо пояснить, кого, какую категорию молчальников мы имеем в виду. Ибо молчит, как мы сказали вначале, вся страна, за исключением строителей и подхалимов. Но у молчания есть разная глубина, разная значительность. Я бы сказал, у молчания есть разный язык. Об одном молчании мы знаем, что за ним скрывается. Мы знаем, что такое молчание ненависти или скуки. И тем и другим — а это, может быть, огромное большинство в России, — в сущности, нечего сказать. Одним нужны некоторые эффектные жесты — разmozжить голову, например, — другим нужны некоторые полезные вещи — жилплощадь и кровати с шишечками. Да, в сущности, эти категории молчащих находят своих адвокатов и бытописателей. Одна в Солоневичах, другая в Зошенко. Но есть молчание, значение которого для нас неведомо. Мы знаем только, что оно существует и что звук его (звук тишины) на весах вечного бытия России перевешивает весь гром оркестра одной шестой.

Где можно подслушать это молчание? Начну с простейших примеров. Когда мы с негодованием просматриваем списки подписей под очередным иудиним письмом, всегда ли мы обращаем внимание на то, чьих подписей здесь недостает? Мы поражены, видя пропечатанным позор людей, которых привыкла любить и уважать «вся Россия». Поражены, и больше не хотим ничего знать. Ну а те, кто не подписались, кто промолчали? Так ли их уж мало? И что означает их молчание? Оно означает если не прямую опасность для жизни и свободы, то, во всяком случае, для карьеры. Неподписавшийся человек не может рассчитывать на ответственные места; на водительство в той настоящей стройке, в которой ему, совершенно бескорыстно, наверное, хочется принять участие. Неподписавшийся вычеркивает себя из списка активных, уходит в полуподполье, жертвует драгоценными годами быстро утекающей жизни, которую он мог бы отдать целиком любимому де-

лу, России. Он, может быть, губит свое призвание, свою жизнь, чтобы не совершить этого иудина жеста. А мы не замечаем, сколько самоотвержения погребено в пустом месте, между столбцами газетного листа. На каждое из имен популярных строителей новой культуры можно назвать не одно имя, нам известное, человека, который мог бы быть в первых рядах, а кончает свою жизнь в потемках библиотеки или в канцелярии советского учреждения. Мы знаем философов, ученых, которые не пишут книг, талантливых писателей, которые вдруг умолкли. Преклонимся перед жертвой, которая скрывается за их молчанием, и не будем интерпретировать его в духе культурной контрреволюции.

Среди благородных молчальников есть, конечно, немало людей старых традиций, которые органически не смогли принять новую жизнь и замкнулись в кругу воспоминаний. Это доживающие себя. Их значение исчерпывается поддержанием внешнего культурного преемства между поколениями, что само по себе тоже немаловажно. Но мы знаем среди людей этого круга и таких, для которых опыт грозных лет не прошел даром. Он очистил и высветлил их культурное и творческое себялюбие, открыл им источники неподозреваемой раньше духовности. Они все простили и ничего не хотят для себя. Им 'не жаль даже старого, и они живут, поскольку в них сохранилась искра социального служения, лишь верой в воскресение России. Качество новой, открывшейся им духовности нам не ясно — оно, вероятно, различно у разных людей, но будем уверены, что под чудовищным прессом революции эта сдержанная, недоступная слову духовность нагнетается до давления, о котором мы, говорящие и болтающие, не имеем понятия.

Одни ли старики молчат в России? Среди онемевших писателей есть люди совсем молодые, иной традиции, люди Октября, для которых пришла пора задуматься над смыслом жизни. Чудом дошедшие до нас «письма оттуда» рисуют очень молодую культурную среду, которая живет вечными вопросами духа. Может быть, это и не молчальники в полном смысле слова. Может быть, эти юноши, каждый в своей специальности, математике или теории искусства, пишут книги, как-то выражают себя. Но не до конца. Или говорят за четырьмя стенами, в тесном кругу друзей. Чем дальше идут годы с их охлаждением револю-

ционного и вообще социального энтузиазма, тем больше число молодых и на все 100% советских людей, которые ставят себе вечные и такие русские вопросы: зачем жить? что делать? Эти вопросы, может быть, измучат юношу, у которого так мало сил и средств для ответа, доведут его до самоубийства. Но они свидетельствуют о проснувшейся совести. Да и ответы кому-нибудь да откроются. Не свойствен русскому человеку скептицизм. Самое замечательное то, что эти вопросы, в робкой и часто рабьей маскировке, просачиваются в литературу. Иначе быть не может. Не может вся литература великого народа исчерпываться поверхностным социальным заказом. Нужно обладать тонким слухом и свободой от предвзятых идей («паразитов»), чтобы подслушать по этому радио голос молчащей России. С большой чуткостью и изощренным литературным слухом у нас несет эту службу Г. В. Адамович: радиотелеграфист, который ловит в океане голос России.

Есть среди молчаливиков одна категория, самая многочисленная и лучше других известная: это люди верующие, «церковники», которые и платили, и платят за исповедание (тоже, в сущности, молчаливое) своей веры годами, десятилетиями тюрьмы, ссылки, каторги. Признание их известного социального значения следует видеть в самом факте сохранения властью остатков культа. Но не будем преувеличивать внешнее, социальное значение этого факта. Наблюдатели России последних лет — большинство иностранцев и русских беженцев оттуда — игнорируют религиозную жизнь. Очевидно, она настолько сжалась, стала уделом такого меньшинства, и притом молчащего, что поверхностный наблюдатель проходит мимо, не замечая самого явления. Да и как увидеть духовную жизнь, не находящую выражения в слове, ничем не воплощенную социально. Ибо открытый культ может быть интерпретирован по-разному, и чаще всего интерпретируется живучестью бытовых традиций в старом, уходящем из жизни поколении.

Но мы можем быть уверены: не бытовые традиции делают людей мучениками и дают им такую силу духа на каторге и в тюрьме, о которой изредка доходят до нас скудные свидетельства. Христианство в России снова стало той героической верой, какой оно было в Римской империи, в младенческие годы Церкви. Сколько вековой ветоши долж-



но было сгореть в очистительном огне, как обновилось и просияло вечное!

Их мало, этих избранников, но нельзя поверить, чтобы такая вера, такое горение не имели своего лучеиспускания. Там, где горят эти потаенные огни, там смягчается злоба, расплавляется скука, по-новому освещается созидательная работа и даже — бывало и это — кое-где опускаются руки палача.

Та жизнь духа, которая связана с Церковью, не ограничена никаким культурным или классовым кругом. В этом ее значение если не для настоящего — то для будущего России. И, конечно, центральный вопрос духовного воскресения России в том, найдут ли утоление новые смутные духовные запросы молодой России в вечном источнике, питавшем доньше духовную жизнь народа.

\* \* \*

Здесь, в эмиграции, в наших расчетах на русское национальное возрождение, мы делаем ставку на один из двух полюсов русского общества: на рабов или на строителей. Первая ставка — на ненависть и разрушение, вторая — на примирение и созидательный труд. Этот выбор, который политически неизбежен, делает вся эмиграция. Он лежит, психологически и морально, в основе нашего разделения на пораженцев и оборонцев, которое уже начинает поглощать все наши политические группировки. По мере того как призрак войны из темных предчувствий вступает в ясный свет исторического дня, выбор становится все неизбежнее. Родина зовет. И выбор простой и ясный. Политику не на кого больше ставить, как на один из двух основных типов русской жизни. Но когда мы углубляемся мыслью в будущее и от завтрашнего дня переходим ко дню послезавтрашнему, когда гадаем о духовном облике России, тогда вспомним о третьем: о бессильных ныне и скрывающихся по «пещерам и ущелиям» советской жизни, о тех, голос которых не доходит до нас, но которых, поистине, не только Россия, но и «весь мир недостоин»; и на них, неизвестных, с полным сознанием риска поставим свою ставку: ставку Паскаля, ставку веры, — ставку, без которой не для кого и незачем жить.

## ЗАЩИТА РОССИИ

Эмигранты всех времен и народов боролись с оружием в руках против своей родины. Афиняне и спартанцы, гвельфы и гибеллины, французы Великой революции и русские за XIX и XX столетие. Плутарх или Иловайский прославили для нас со школьной скамьи имена великих изменников: Фемистокла, Павзания, Кориолана. У нас князь Курбский и Герцен не колебались идти с врагами России. Мы, кстати, только теперь, в изгнании, вполне оценили значение Курбского и Герцена для русской национальной чести. Курбский и митрополит Филипп — эмигрант и святой — одни спасают достоинство России в век Ивана Грозного. Нравственный смысл измены — хотя и трагический — заключается в том, что родина не является высшей святыней: что она должна подчиниться правде, то есть Богу. Западная Церковь, начиная с блаженного Августина, учила о допустимости для христиан принимать участие лишь в справедливой войне. Тем самым суверенитет отечества лишается своей абсолютности. Отсюда один шаг до возможности и даже обязанности бороться против несправедливого, незаконного и тиранического отечества. В средние века, в эпоху христианской культуры, в этом не могло быть сомнений.

Почему же теперь для нас, и христиан, революционеров, измена сталинской России ощущается не только как политическая ошибка, но и как моральный грех? Просто ли это наша дурная русская привычка морализировать политику и употреблять слово «подлец» в смысле английского «достопочтенный джентльмен»? Я думаю, что дело сложнее и что в нас говорит опыт нового чувства России, выношенного в боли и муках последних десятилетий. Это чувство я определил бы, за отсутствием другого слова, как чувство хрупкости России.

Когда человек не молод и уже знает, что в мире есть

смерть, тогда он относится к любимому существу с бережностью, непонятной для юноши и в которой постоянный страх борется с нежностью. Все старые счета, незаконченная распря целой жизни, смолкают пред симптомом рокового недуга. В великую войну мы впервые испугались за жизнь России. Раньше мы могли, по политической традиции, говорить о слабости России, повторять слова о «колоссе на глиняных ногах», но в глубине души не верили им. Россия представлялась нам несокрушимо прочной, гранитной, монументальной, в стиле того памятника, который Паоло Трубецкой создал отходящей в вечность эпохе. Не только консерваторы, но и революционеры — мы были загипнотизированы Александром III. Такую махину — можно ли сдвинуть? Легкая встряска, удар по шее только на пользу сонному великану. За Севастополь — освобождение крестьян, за Порт-Артур — конституция. Баланс казался недурен. Мы не хотели видеть, что сонный великан уже дряхл и что огромная лавина, подточенная подземными водами, готова рухнуть, похоронив под обломками не только самодержавие, но и Россию.

Война раскрыла нам глаза. Такой войны еще не было в истории. Впервые не правительства, не армии, а народы стояли друг против друга. Война на истощение, в которой не мужчины даже, а матери решают дело, вскрыла страшную слабость России. За гнилой властью, за бедной техникой мы увидели народ, который отказался защищать родину, народ, который сказал себе: «На что мне Россия? Плевать мне на Россию! У меня один враг — мой буржуй, а я и под немцами проживу». Была еще одна страна, подданные которой рассуждали приблизительно таким же образом. Это была древняя монархия Габсбургов: она не существует более.

В то время, когда национальное сознание казалось умершим в народе русском, все остальные народы рухнувшей Империи переживали бурный экстаз своего национального рождения. Их пробуждение, даже самое существование многих из них, мы так же прозезали, как выветривание русского патриотизма. Нам и в голову не приходило сопоставлять национальную структуру России с Австро-Венгрией. До того мы смотрели на вещи глазами победоносцевской эпохи. 1917 год поставил нас перед вполне ре-

альной возможностью расчленения России. Оно началось, отторгло от России все западные окраины, но было приостановлено неожиданным пробуждением русского революционного патриотизма.

Для миллионов обращенных в нигилистическую веру рабочих и крестьян революция оказалась если не родиной, то центром кристаллизации нового элементарного чувства родины. Россия, освобожденная от буржуев, мужицкая Россия была своя. Ее стоило защищать, хотя и очень еще был слаб инстинкт самозащиты в изъеденном моральной гангреной организме. Новый советский патриотизм есть факт, который бессмысленно отрицать. Это есть единственный шанс на бытие России. Если он будет бит, если народ откажется защищать Россию Сталина, как он отказался защищать Россию Николая II и Россию демократической республики, то для этого народа, вероятно, нет возможностей исторического существования. Придется признать, что Россия исчерпала себя за свой долгий тысячелетний век и, подобно стольким древним государствам и нациям, ляжет под пар на долгий отдых или под вспашку чужих национальных культур.

Еще очень трудно оценить отсюда силу и живучесть нового русского патриотизма. Он очень крепок у молодой русской интеллигенции, у новой знати, управляющей Россией. Но так ли силен он в массах рабочих и крестьян, на спинах которых строится сталинский трон? Это для нас неясно. Сталин сам, в годы колхозного закрепощения, безумно подорвал крестьянский патриотизм, в котором он теперь столь нуждается. Но и сейчас, в горячке индустриального строительства, он губит патриотизм рабочих, на котором создавалась Советская республика. Мы с тревогой и болью следим отсюда за перебоями русского надорванного сердца. Выдержит ли? Выдержит ли оно новое военное напряжение, которое, вероятно, будет тяжелее прежнего, перед лицом опасностей несравненно более грозных?

Эти сомнения еще не безнадежность: вопрос — не отрицание. В России есть силы жизни, которые энергично борются с болезнетворными, смертоносными процессами. Исход не предрешен до конца. Иногда кажется, что чашки весов почти уравнивают друг друга. Тогда для нас, для жалкой кучки эмигрантов, отрезанных от родины и даже от политического дела, может выпасть страшная роль «по-

следней соломинки». Такой соломинкой должен ощущать себя каждый из нас. Соломинкой, которая может переломить хребет перегруженной лошади.

Вот почему так не похоже наше время и наши споры на все исторические прецеденты и почему так бессмысленна сейчас политическая арифметика, сложение плюсов и минусов возможных результатов. Там, где одна из возможностей есть смерть России, расчеты смолкают.

Кто не с Россией в эти роковые дни, тот совершает — может быть, сам того не сознавая — последнее и безвозвратное отречение от нее.

## О ЧЕМ ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ ВОЗВРАЩЕНЕЦ?

За последнее время вопрос о возвращенчестве приобрел новую остроту. Изменилось нечто и в самом составе возвращенческой среды, и в отношении к ней эмиграции. Раньше мы знали, что в полпредство идут из эмигрантов или люди, безнадежно измученные и отчаявшиеся, или же просто продавшиеся. Раздумывать здесь много не приходилось. Сейчас в Россию потянулась честная молодежь, которая хочет служить родине. Среди них встречаются имена из старшего поколения, которые мы привыкли произносить с уважением. Вместе с тем стала тоньше стена, разделяющая этих людей от эмиграции. Они появляются на кафедре в эмигрантских политических собраниях. К ним начинают относиться, как к некоторому законному течению эмигрантской мысли.

Эта перемена, конечно, связана с теми сдвигами, которые происходят в России. И Россия сейчас приблизилась к нам. И Бухарина мы слушаем уже не так, как слушали бы раньше. Ведя по-прежнему борьбу с диктатурой Сталина, мы стараемся говорить и чувствовать, как бы находясь внутри России. Хотим найти общий язык и в борьбе.

Если эволюция России будет совершаться в сторону роста свободы, то в известные моменты — для одних раньше, для других позже — откроется возможность возвращения. Пока все, что мы можем сказать: момент политического возвращения не наступил ни для одной из общественных групп эмиграции. Я даже думаю, что нет пока и намека на ту эволюцию, которая бы сделала его возможным. Сталин мог изменить коммунизму, стать черносотенцем или шестидесятником, или, что всего ближе к истине, черносотенным шестидесятником, но одним он не грешит — пристрастием к свободе. Он с каждым годом пока закручивает туже свой деспотический режим, меняя его направление. Ему нужны послушные слуги и холопы, а не свободные сотрудники.

Но политическая эмиграция и беженство не одно и то же. Мы это хорошо знаем. Что невозможно для политиков и граждан, то возможно для рабочих и обывателей. Для этой категории возвращенцев отпущение грехов было дано давно — я говорю о левом нашем лагере. Но так ли просто и легко обстоит дело и с обывателем?

Приходится и здесь различать. Учителю, философу, журналисту нечего делать в нынешнем СССР, для инженера или врача путь открыт — пока, впрочем, теоретически. Для несчастного, затравленного бродяги, ночующего под мостом (а это наш нансеновский символ), работа в России, хотя бы полуголодная, на полукаторжном заводе, представляется раем. Однако только ли эти профессиональные соображения определяют возвращение беженцев?

Если он не окончательно одурел от чтения «Известий», он должен помнить, что едет не в свободную страну, а в тюрьму. Никакая лояльность, никакая законопослушность не спасут его от неожиданного ареста, ссылки, каторжных работ — без всякой вины и даже видимого основания. Просто по соображениям высокой политики понадобится наш винтик, определенная цифра жертв или даже бесплатная рабочая сила в лагерях — и он, как бывший эмигрант, один из первых имен в списке. Но он готов на это. Это, может быть, даже жертва, которую он приносит России. Пред этой жертвенностью можно только преклониться.

Но он должен знать и другое. Кроме жертвы и чистых страданий ему придется пройти через унижения. Они начинаются уже здесь. Он должен будет отречься от своих убеждений, подписывать заявления и анкеты, за которые ему придется краснеть. Так как в России курс меняется каждый месяц, в зависимости от прихоти самодержца, то он не знает заранее даже, на каком Евангелии или «Капитале» ему придется присягать и от чего отречься завтра. Если он верует в Бога, он должен скрывать свою веру; если у него есть какие-нибудь научные или даже профессиональные взгляды, он должен в любой момент утверждать прямо противоположное, если этого захочет ближайшее начальство. Он готов и на это. Это жертва честью. Советский гражданин не имеет права на личную честь. В традиции русской мысли всегда лежала тенденция недооценки чести. «Полюби нас черненькими». Это связывалось всегда

даже с русским смирением. Я не верю, чтобы бесчестное смирение можно было оправдать. Но его можно простить, и простить при одном условии: если оно приемлется от безвыходности страдания.

Но есть еще и третье, о чем должен помнить возвращенец. Ему придется не только лгать и унижаться. Весьма возможно, что он должен будет стать и предателем. Он-то уж в первую голову из советских граждан — он, который должен искупить свое прошлое. И нельзя вперед давать зарок. Кто может поручиться за свои нервы в условиях научно организованных, хотя бы «моральных» пыток? В любой момент, когда понадобится состряпать бумагу, которая отправит его товарища или совсем неизвестного человека на расстрел. Глубочайший имморализм советской системы — не в терроре, а во лжи и предательстве, которые стали нормами, будничным фактом. Последние попытки постановок стахановских процессов инженеров, последние травля и доносы со стороны художников, ученых на своих коллег показывают, что система не изменилась. Если идеологические доносы поощряются при свете дня, можно представить себе, что творится в застенках! У советского гражданина нет выхода, кроме петли. Поэтому даже иудин грех о т с ю д а мы не судим. Но свободный человек, который добровольно и заранее соглашается жить в условиях, которые могут принудить его стать Иудой, не заслуживает снисхождения. Никакое служение родине не оправдывает предательства. Никакая родина не стоит этой жертвы. Или можно сказать иначе: принимающие эту жертву духовно губят Россию, растлевают ее.

Граница между грехом личного унижения и предательством малозаметна в теории. Но Достоевский никогда не переступал ее: он мог защищать и любить проститутку, но не пытался оправдать Иуду. Страшно думать, что в России эта граница уже стерлась.

Если представить себе, что может ожидать там юношу, хотя и глупого, но чистого, который, не подозревая правды, хочет ехать служить родине, то всякая слабость и снисхождение с нашей стороны, а тем более умиление перед его энтузиазмом просто отвратительны. Не раскрывая ему глаза, мы сами становимся соучастниками в возможном растлении его души.



## ПУШКИН И ОСВОБОЖДЕНИЕ РОССИИ

Среди тьмы русской жизни, среди казней, предательства, лжи, окутывающей все густой, непроницаемой пеленой, одна мысль сейчас утешает, дает надежду: в России читают Пушкина. Читают не в порядке юбилейного заказа, наспех, напоказ, для проработки на собраниях. Мы знаем, что читают уже давно, много лет, — читают, как никогда раньше не читали. Пушкин стал любимым народным поэтом.

Или и это ложь, одна из подробностей генеральной линии, и Пушкина навязывают народу, как некогда навязывали Маркса? Мы так часто обманывались, и так трудно что-нибудь разглядеть сквозь советскую ложь, что и эти искустельные мысли приходят в голову. Если бы Сталину не хотелось, чтобы народ читал Пушкина, разве узнали бы мы, что его читают? Сумели бы замолчать, если не задумшить. Если Сталин хочет, чтобы его читали, что стоит ему создать культ Пушкина, подобно тому как он создает культ стольких эфемерных героев строительства? Но нет, слишком уже вопиюще противоречие между Пушкиным и сталинизмом, чтобы можно было серьезно остановиться на гипотезе обмана. Да, и Сталин хочет нагреть себе руки в огне пушкинской славы. Здесь, в этой точке, каким-то непостижимым образом сошлись вкусы диктатора и народа. Что же, и здесь, в эмиграции, самые жестокие враги соединяются на этом имени. Лишнее свидетельство пушкинского универсализма.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,  
И назовет меня всяк сущий в ней язык.

Через сто лет пророчество поэта исполнилось. Исполнилось с лихвой. Не только назвали, то есть услышали о его имени, но и читают — действительно читают на всех языках России: и финн, и тунгус, и калмык. В этом, может быть, и состоит единственное подлинное достижение революции.

Да, через сто лет Пушкин дошел до народа. Вчерашние крепостные читают «Евгения Онегина» — без зависти и злобы. Современные барышни-крестьянки вздыхают над судьбой Татьяны, а не ее сенных девушек. Совершается преодоление классового сознания; в рабочем, в крестьянине родился человек, и Пушкин стоит у купели крестным отцом.

Почему не сказать и всей правды? С тех пор, как Россия потеряла своего поэта, никогда русская интеллигенция, русское общество не читали его с таким единодушным упоением, с каким должны (мы убеждены в этом) читать его сейчас в России. В XIX веке культ Пушкина теплился в «часовне» культурного и реакционного меньшинства, почти секты. Для большинства он был слишком далек, классичен, холоден. Изумительная цельность пушкинского мира, едва поэт успел закрыть глаза, была разорвана его наследниками: Гоголем, Лермонтовым, Герценом, Хомяковым. Толстой и Достоевский заставили заглянуть так глубоко в темные извилины человеческой природы, что надолго отбили вкус к «прозрачной ясности». Лишь XX век воскресил Пушкина — правда, ища в нем своего: своих эстетических и мистических (менее всего нравственных) ценностей. Это был Пушкин, прошедший сквозь Брюсова и Мережковского.

И вот теперь его читают так, как могли читать в 20-х годах прошлого века. С доверчивостью, почти наивной, с восторгом, почти детским, с цельностью восприятия, почти адекватной самому Пушкину. О, конечно, современный читатель — варвар. Он стоит на такой примитивной ступени сознания, что Пушкин для него должен быть и труден, и сложен. И все же этот читатель должен быть ближе к Пушкину и пушкинскому веку, чем все, прошедшие через Гоголя и Достоевского.

Дорого дали бы мы, чтобы узнать, что именно пленяет в Пушкине современного русского читателя. Может быть, когда-нибудь и узнаем; но сейчас осуждены на гадания. Мне думается, что в Пушкине сейчас должно нравиться цельное приятие Божьего мира, картины мирного, прекрасного быта, амнистия человеку — вне героического напряжения и подвига, — человеку просто, который хочет жить и хотя бы мечтать о счастье. Это значит, не болдинские трагедии, а «Евгений Онегин», «Капитанская дочка»

должны прежде всего открывать Пушкина советскому читателю.

За мирным бытом дворянства, давно разрушенных усадеб, встает образ России в ее величии, в ее истории. Пушкин был последним у нас поэтом Империи, и вековая вражда между Империей и русской интеллигенцией немало мешала нам воспринимать Пушкина. Эта преграда пала. Народ, преемник царей, принимает державное наследство исторической славы. Пушкинский Петр, герой государственности и просвещения, должен говорить сердцу новой интеллигенции, строителям новой России. Здесь, вероятно, и есть точка совпадения правящей и трудящейся России в их общей оценке Пушкина.

Пореволюционная Россия явно ближе к XVIII веку, чем XIX-му. Она повторяет не только его уродливые гримасы: обожание техники, власть временщиков, уродливую лесть поэтов («Оды Фелице» и «Рассуждения о пользе стекла»). Дух Империи и дух просвещения — новое соединение государства и культуры, давно разорванных в России, — вот что перекидывает мост из XVIII века в XX. И Пушкин возрождается как поэт-завершитель, не зачинатель, как «остальной из стаи славных екатерининских орлов».

Повторяю, мы не знаем, как понимают Пушкина в России, что берут, мимо чего проходят. Но вот на чем нельзя не остановиться. Для Пушкина Империя была связана не только с просвещением, но и со свободой. Пушкин был, всегда сознавал себя певцом свободы. С отроческих лицейских лет и до последнего вздоха (предсмертный «Памятник») он не устал славить свободу. Менялось ее содержание, революционер превращался в лояльного монархиста, политическая свобода отходила на задний план перед свободой духа, творчества, но в каждый момент своей жизни Пушкин пел свободу. Для него свобода была то же, что дыхание, что жизнь. Неужели в Москве забыли разницу между Пушкиным и Тредьяковским?

Мы читаем, что на Пушкинских празднествах в России принято декламировать «Вольность», «Кинжал», «Послание к Чаадаеву» («Гавриилиада» — слава Богу, вышла из моды).

Неужели за славянизмами полудержавинской речи никто в России уже не понимает ее смысла? Никто, так-таки никто, не расшифрует «девы-Эвмениды» и не узнает, кому

предназначается ее кинжал? Я убежден, что такие эрудиты найдутся. Но и без комментариев, на слух ясно, что пушкинский кинжал обоюдоострый грозит на обе стороны: царям и Маратам. Как могли это проглядеть в Кремле? Кто это «исчадь мятелей»? О ком это?

Презренный, мрачный и кровавый,  
Над трупом вольности безглавой  
Палач уродливый возник.

Пусть никто уже в России не помнит имени Марата (а кажется, ему было посвящено в России немало улиц и площадей). Но разве уж так трудно подставить под это имя его русский эквивалент?

Мы слышали, что в Москве решено восстановить пушкинские строки на его памятнике. Какая смелость! В стране Сталина эти слова будут гореть, как клеймо на лбу каторжника:

Что в мой жестокий век восславил я свободу

(чей это век?)

И милость к падшим призывал.

(Уже не всенародным ли требованием казней?)

Насколько спокойнее для деспота приличная строка Жуковского: «прелестью полезен» — что же, пользу можно извлечь из всего, даже из Пушкина — до поры до времени. Теряешься в догадках, не зная, как объяснить политическую дерзость реставраторов. Пушкин сам нам подсказывает. В одной из юношеских заметок о Петре Великом он выражается о нем — несправедливо, конечно: «Петр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество». Только презрением к человечеству — или к русскому народу — можно объяснить пушкинский либерализм Сталина: это быдло никогда не поймет! А что, если поймет? Если Пушкин наконец станет «сеятелем свободы» в родной стране?

## ФЕВРАЛЬ И ОКТЯБРЬ

**Ф**евраль и октябрь — нельзя сказать чтобы очень приятные месяцы русского года — надолго останутся для России политическими символами. Октябрь будет скоро праздновать двадцатую годовщину своей победы. Февраль уже отметил для себя, в молчании и скорби, двадцатилетие своих несбывшихся надежд. Но, странное дело, побежденный февраль не хочет умирать. И чем дальше идет время, чем более исчерпывает себя и духовно опустошает Октябрь-победитель, тем настойчивее встает вопрос о его преемнике. И Февраль, как легитимный претендент, как «король в изгнании», предъявляет свои права.

В каком смысле можно противопоставлять Февраль и Октябрь? Конечно, не в социологическом анализе русской революции. Исторически они оба входят в этот грандиозный процесс как его моменты. Для историка всегда останется Февраль-зачинатель и Октябрь-завершитель. Завершитель того распада государственной власти, который не в феврале, конечно, начался, но в нем дал свой первый взрыв: свалилась корона. Те же силы, которые вызвали взрыв Февраля, произвели и Октябрь. Самая глубокая и самая простая правда о 1917 годе состоит в том, что народные массы не желали продолжать непонятную и ненавистную войну. Лозунг «Долой войну!» все время был самым популярным, самым массовым, хотя и долго заглушался другими на него наброшенными благородными словами. Февральский переворот был произведен петроградским гарнизоном; октябрьский — самовольно демобилизованной армией. Осенью, как и весной, массы дали увлечь себя вождам, с которыми, в сущности, они не имели ничего общего и которые пытались использовать энергию стихийного обвала для своей политической работы. Люди Октября в этом успели потому, что в своем безграничном иммортилизме открыли все шлюзы низким страстям. Фев-

ралисты говорили о жертвах, о долге, о родине и свободе; октябристы — о прекращении войны, о грабежах, о классово-вой мести. Психологически борьба была неравная. Лишь позднее Октябрь предъявил свой счет издержек: десятки миллионов трупов и десятки лет нищеты.

Смотря на вещи объективно, двадцать лет спустя, видишь, что другого исхода не было; что при стихийности и страшной силе обвала русской государственности Февраль мог бы совладать с разрушением при одном условии: если бы он во всем поступал, как Октябрь. Временное правительство — всякое правительство 1917 года — могло бы удержаться, если бы заключило «похабный» мир и отдало высшие классы, от офицерства до интеллигенции, в жертву народной ярости. Вероятно, еще сейчас есть немало черных душ — пореволюционных и контрреволюционных большевиков, — которые не могут простить Февралю того, что он не пошел по этому пути. Но чем бы он тогда отличался от Октября? Экономической программой? Неужели стоило идти на поражение и разгром России, на истребление интеллигенции и торжество Держиморды во имя спасения капитализма?

К чести России и ее интеллигенции, в ее среде не нашлось Растопчиных, бросающих Верещагина на растерзание толпе. Впрочем, такие растопчины-крыленки имелись в изобилии, но русская интеллигенция извергла их из своей среды.

На вопрос, в чем основное различие между Февралем и Октябрем, следует искать ответа не в анализе политических событий и творящих их классов, а в сознании возглавляющих их групп. Есть немало охотников стирать эти различия и видеть в большевиках прямых и достойных завершителей дела русской интеллигенции. Что они выросли из одного с ней ствола — от Радищева или, скажем, от Герцена, — это бесспорно. Но уже рано, с 60-х годов, две линии русской революции разошлись достаточно далеко. Не-чаев был отвергнут поколением 60-х годов. Ленин был одинок в породившей его социал-демократической среде. Он ненавидел интеллигенцию более страстной ненавистью, чем капитализм или самодержавие. Он должен был искать себе поддержки в людях полукультурных, даже полуграмотных: в Зиновьевых и Сталиных. Между ним и револю-

ционной интеллигенцией проведена черта — не его максимализмом (максимализмом нельзя было напугать русскую интеллигенцию), а его абсолютным имморализмом.

Печатью этого имморализма отмечен весь Октябрь и его дело — вплоть до последних трансформаций Сталина. Это нечаевский корень, который принес свой достойный плод в русском варианте фашизма. (Кстати, и весь мировой фашизм поднялся на ленинских дрожжах.) Февраль не только не породил Октябрь в этом смысле, но в противостоянии ему нашел себя. Если и были в нем, в разных течениях русской интеллигенции, некоторые соблазны имморализма, то они перегорели в очистительном огне испытаний. Остатки разбитой армии духовно не разоружились. Они лишь глубже осознали свое призвание и свою духовную генеалогию. За ними стоит великий XIX век в основной линии русской свободолюбивой и человеколюбивой мысли. А еще глубже — забытые, но еще живые заветы русского деятельного христианства, прошедшие сквозь разум западного, тоже христианского, гуманизма. Так обнаруживается, что символ Февраля, очищенный от всех случайных исторических наслоений, — есть символ гуманизма, символ деятельного, социального христианства. И прежде всего символ Свободы.

Все остальное в Феврале — все детали его демократических программ, вся его полуюкобинская, полумарксистская фразеология, неуверенная тактика — будут забыты и получат историческую амнистию. Но как забыть, что на рубеже новой исторической эпохи, на рубеже нового «тоталитарного» деспотизма, нависшего над миром, Февраль в последний раз развернул знамя свободы? Настанет время — мы не знаем, близко ли оно, — когда растоптанный, униженный человек (ведь он, в конце концов, не термит, а бессмертный дух!) взбунтуется и потребует своих прав: уже не на пищу, не на спорт, не на зрелища, а на мысль, на свободу, на нравственную ответственность. Это первое пробуждение человека и будет воскресением Февраля — в России. Вероятно, немало времени пройдет, пока духовные принципы свободы найдут свое выражение и в общественной жизни. Для этого и Февралю придется повозиться, как Николаю-угоднику, над завязшей в грязи телегой русского мужика. Придется сделать выводы политического реализма из

горького опыта поражений. Новый Февраль будет тверже, суровее. Никто не сможет упрекнуть его в толстовском непротивленчестве. Но, обнажая меч власти для обуздания зла, он не забудет, что этот меч поднят в конечном счете для защиты человека и стоящей над ним правды. В этом различие между духом Февраля и духом всех Октябрей, абсолютизирующих чисто социальные ценности. Для кого нет ничего выше рабочего класса или Великой России, те не остановятся ни перед чем ради своего идола. Насилие не только не отвратительно для них, но даже является настоящим источником злой радости. Ведь в основе всякого социального коллектива — класса и государства — живет пафос силы, а сила любит ощущать себя в насилии. Вот почему мы видим сейчас, как дух ленинского имморализма оживает в стане реакции. Точно старый большевизм, издыхающий в России Сталина, нашел для себя новую телесную оболочку. Так умирающий Святогор вливает, вместе с могильным дыханием, чудовищную силу свою Илье. В стане контрреволюции происходит настоящий процесс обольшевичения. Мало сказать: все средства хороши. Люди убеждены, что низость или жестокость средств является прямой гарантией успеха. Чем гнуснее, тем надежнее. «Мы не сдюнтая. Для нас перевешать 2-3-5 миллионов — плевое дело». Так растут у пня поваленного Белого движения ядовитые грибы новой все-русской Чеки.

От чекистов настоящих и чекистов будущих, от торжествующего и раздавленного насилия да спасут нас, в эти дни траурной памяти о побежденном Феврале 1917 года, стоящие за ним тени подвижников и героев, из века в век проливавших свою кровь за освобождение человека.



## ТЯГА В РОССИЮ

Существует ли она? Своевременно ли говорить о ней теперь, когда Россия окутана кровавым пологом и ни один человеческий, то есть подлинно человеческий, голос не слышен оттуда? Как будто надо быть безумцем, чтобы стремиться туда, на свою собственную погибель!

И тем не менее я утверждаю, что та к и е б е з у м ц ы е с т ь. Быть может, число их немного ubyло за последний год, но они существуют и задают нам нелегкую психологическую загадку. Французам дана тут благодарная тема для философствований насчет «ам слав», но можем ли и мы вполне рационально разобраться в этом явлении, не спускаясь в потемки, в извилистые подземные коридоры «славянской» (то есть русской) души?

Есть существенная разница между возвращенчеством старого времени и возвращенчеством последних лет. Когда-то в «союз» шли опустившиеся, потерявшие облик человеческий. Теперь, мы знаем, там есть люди, которые по крайней мере сами себя уважают. Возвращенчество приняло с некоторых пор как бы идейный характер. Слово «идейный» плохо выражает его сущность. Дело тут не в идеях, а в иной, конкретной реальности: эта реальность, конечно, родина, Россия. Идеи могут быть те или другие — коммунистические или националистические, но Россия останется — тот костер, на который летят бабочки.

Серьезность возвращенчества как явления состоит в том, что небольшое, зарегистрированное ядро — сжегших свои корабли — окружено широким, расплывающимся пятном сочувствующих, вздыхающих, томящихся. Если бы то была лишь тоска по родине! Кто из нас ее не знает! Но варварский монизм (или следует назвать его тоталитаризмом?) наивной мысли торопится подсказать тождество: Россия = Советская Россия = большевицкая власть = Сталин.

Не одни иностранцы ловятся на русскую музыку и пля-

ску. Есть и среди нас люди, которые начинают с умиления перед русской природой, русской молодежью в советских фильмах и кончают — панегириком Сталину. Таким людям не мешают даже казни. Во-первых, сейчас льется больше коммунистическая кровь. Многие испытывают при известиях о московских казнях низкое чувство удовлетворения. Ведь и популярность Грозного в народной традиции (даже научно-исторической!) связана не в малой мере с качеством проливаемой им — боярской — крови. Во-вторых, казни Сталина даже усиливают его политический престиж. Они представляют его бесспорное — если не единственное — достижение. Перебил стльких людей — и, казалось бы, сильных людей — и до сих пор сам цел: значит, гений. Так рассуждает детская логика.

Возвращенчество — б о л е з н ь русского национального чувства. Главная слабость русского национализма — в его органическом, каком-то животном или растительном натурализме. Растение, вырванное из почвы, засыхает. Человек свободно движется по лицу земли. Но русский человек все еще слишком похож на растение. Для него родина прежде всего — не мысль, и даже не слово, а звучание, тембр голоса. Вне этой узкой природной среды трудно жить. Другие народы — греки и римляне, британцы и немцы — смело бросали родину, неся ее богов и культуру в чужие страны. Но для нас и культура, и сама вера кажутся нежизненными без родного чернозема (и краснотерра), Это большая слабость, как бы неразвитость мужественной человечности. Если прибавить к этому привычку к коленопреклоненной позе, то вот уже и почти готовая формула «славянской души» и вместе с тем диагноз русского возвращенчества.

Конечно, иначе приходится судить молодежь, почти денационализированную, о родине не тоскующую, но ищущую приложения своих сил, талантов и дипломов. Здесь все г о р а з д о п р о щ е. Юноша предпочитает быть рабом, но по своей специальности, чем безработным на свободе. Окружающая его европейская упадочная культура привила ему изрядную дозу общественного имморализма, или, вернее, у него никогда и не рождалось общественного сознания. Можно пожалеть его, но, во всяком случае, пора

перестать умиляться над ним. Не стоит искать жертвенности в простом, естественном эгоизме.

Но все же еще раз: каким образом люди, едущие в Россию, старые и молодые, не боятся за свои головы? Жизнь в России так дешева и такая тонкая стенка отделяет благополучие устроенного существования от каторги или подвала ГПУ! Ну и это понять можно. Для молодежи здесь есть элемент риска, почти спортивного, может быть, даже повышающего остроту чувства жизни. Так, вероятно, молодежь в России, с закаленными нервами, ходит весело на краю могилы. Для других, вырванных из почвы и засыхающих, нет выбора: лучше смерть на родине, чем жизнь на чужбине. Здесь все так постыло, что хуже, кажется, быть не может. Тоже типично русская иллюзия — даже не иллюзия, а чувство: хоть гирише, да иныше. Но что можно сказать самоубийце, который находит, что за глоток русского воздуха, за один взгляд на московский переулок — не слишком дорого заплатить и смертью?

И, однако же, мне кажется, что сказать можно, хотя, подходя к этому пункту, я испытываю большое затруднение. Почему-то не раз, говоря об этом с разными людьми, я наталкивался на непонимание. А между тем мне самому это представляется таким ясным. Дело в том, что едущий в Россию рискует не только своей головой, но и головой других людей. Р и с к у е т о к а з а т ь с я п р е д а т е л е м и с о у ч а с т н и к о м в и х г и б е л и. Мы знаем все, как организуются политические и вредительские процессы в России. Когда нужно погубить человека, требуют оговора его в несуществующих преступлениях от друзей, знакомых, даже незнакомых. Для получения этих оговоров людей арестуют, подвергают моральным пыткам и держат в тюрьме так долго, пока не добьются требуемого лжесвидетельства. Многочисленные оговоры на всех процессах показывают, как могущественны средства воздействия и как трудно им сопротивляться. В России это знают и, вероятно, не осуждают невольных предателей. Не бросаем в них камня и мы. Но совсем иное отношение к связанному по рукам и ногам советскому гражданину, у которого нет выбора, и к эмигранту, который на свободе имеет возможность трезво обсудить все условия своего возвращения и своей жизни в России. Он, конечно, знает об этой роковой возможности.

Вероятно, он не считает себя героем и не может поручиться за свою стойкость на допросах под пыткой. Но он успокаивает себя мыслью, что ведь эти трагедии не так часто случаются, что не всем обывателям, особенно маленьким людям, как он, приходится выступать в иудинной роли. Больше шансов за то, что эта чаша меня минует. Да, конечно, больше шансов. Ну а если все-таки выпадет в лотерее черный выигрыш? Разве я не несу за него ответственность? Ведь мой выбор был свободен, и я предвидел этот черный шанс. Значит, я заранее согласился — на худой конец — стать предателем, послать в подвал мне неизвестного Х, чтобы подышать перед смертью воздухом России.

У Свифта в «Путешествии Гулливера» изображается фантастическая утопия деспотизма в стране лилипутов. Там, чтобы удостоиться королевской аудиенции, нужно ползти на животе, «лижа прах у подножья трона». Русская утопия рабоче-крестьянского рая прибавила к этому еще одну подробность этикета: доползши до трона, нужно выстрелить в затылок кому-то по указанию церемониймейстера. В стране Сталина это считается простой придворной формальностью.

Но спрашивается: как относиться к путешественнику, который, зная о порядках в стране московских лилипутов, все же едет туда? Даже если не всякий иностранец, а один из десяти приглашается на высочайшую аудиенцию? Даже если эта страна его родина? «Лизать прах» — свойство человеческое, слишком человеческое. Но стрелять в затылок — это уж чересчур!

## ПЕВЕЦ ИМПЕРИИ И СВОБОДЫ

**К**ак не выкинешь слова из песни, так не выкинешь политики из жизни и песен Пушкина. Хотим мы этого или не хотим, но имя Пушкина остается связанным с историей русского политического сознания. В 20-е годы вся либеральная Россия декламировала его революционные стихи. До самой смерти поэт несет последствия юношеских увлечений. Дважды изгнанник, вечный поднадзорный, он оставался в глазах правительства всегда опасным, всегда духовно связанным с ненавистным декабризмом. И как бы ни изменились его взгляды в 30-е годы, на предсмертном своем памятнике он все же высек слова о свободе, им восславленной.

Пушкин-консерватор не менее Пушкина-революционера живет в кругу политических интересов. Его письма, его заметки, исторические темы его произведений об этом свидетельствуют. Конечно, поэт никогда не был политиком (как не был ученым-историком). Но у него был орган политического восприятия, в благороднейшем смысле слова (как и восприятия исторического). Утверждая идеал жреческого, аполитического служения поэта, он наполовину обманывал себя. Он никогда не был тем отрешенным жрецом красоты, каким порой хотел казаться. Он с удовольствием брался за метлу и политической эпиграммы, и журнальной критики. А главное, в нем всегда были живы нравственные основы, из которых вырастают политическая совесть и политическое волнение. Во всяком случае, в его храме Аполлона было два алтаря: России и свободы.

Могло ли быть иначе при его цельности, при его укорененности во всеединстве, выражаясь языком ненавистной ему философии? Пушкин никогда не отъединял своей личности от мира, от России, от народа и государства русско-го. В то же время его живое нравственное сознание, хотя и подчиненное эстетическому, не позволяло принять все дей-

ствительное как разумное. Отсюда революционность его юных лет и умеренная оппозиция режиму Николая I. Но главное, поэт не мог никогда и ни при каких обстоятельствах отречься от того, что составляло основу его духа, — от свободы. Свобода и Россия — это два метафизических корня, из которых вырастает его личность.

Но Россия была дана Пушкину не только в аспекте женственном — природы, народности, как для Некрасова или Блока, но и в мужеском — государства, Империи. С другой стороны, свобода, личная, творческая, стремилась к своему политическому выражению. Так само собой дается одно из главных силовых напряжений пушкинского творчества: Империя и Свобода.

Замечательно: как только Пушкин закрыл глаза, разрыв Империи и свободы в русском сознании совершился бесповоротно. В течение целого столетия люди, которые строили или поддерживали Империю, гнали свободу, а люди, боровшиеся за свободу, разрушали Империю. Этого самоубийственного разлада — духа и сил — не могла выдержать монархическая государственность. Тяжкий обвал императорской России есть прежде всего следствие этого внутреннего рака, ее разъедавшего. Консервативная, свободоненавистническая Россия окружала Пушкина в его последние годы; она создавала тот политический воздух, которым он дышал, в котором он порой задыхался. Свободолюбивая, но безгосударственная Россия рождается в те же 30-е годы с кружком Герцена, с письмами Чаадаева. С весьма малой погрешностью можно утверждать: русская интеллигенция рождается в год смерти Пушкина. Вольнодумец, бунтарь, декабрист — Пушкин ни в одно мгновение своей жизни не может быть поставлен в связь с этой замечательной исторической формацией — русской интеллигенцией. Всеми своими корнями он уходит в XVIII век, который им заканчивается. К нему самому можно приложить его любимое имя:

Сей остальной из стаи славных  
Екатерининских орлов.

Изучая движение обеих политических тем Пушкина, мы видим, что одна из них не перестает изменяться, постоянно сдвигает свои грани и в общем указывает на опре-

деленную эволюцию. Выражаясь очень грубо, Пушкин из революционера становится консерватором. 14 декабря 1825 года, столь же грубо, можно считать главной политической вехой на его пути. Мы постараемся лишь показать, что как в декабрьские свои годы Пушкин не походил на классического революционного героя, так и в николаевское время, отрекшись от революции, он не отрекался от свободы. Сама свобода лишь менялась в своем содержании. Зато другая тема, тема Империи, остается неизменной. Это константа его творчества. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить два «Воспоминания в Царском Селе». Одно — лицейское 1814 года, то самое, которое он читал на экзамене перед Державиным, другое — 1829 года, по возвращении после долгих лет изгнания в священные сердцу места. При всем огромном различии художественной формы тема не изменилась; остались и те же сочетания образов: «великая жена», Кагульский памятник, столь дорогой ему по воспоминаниям отроческой любви.

Увы, промчались те времена златые,  
Когда под скипетром великия жены  
Венчалась славою счастливая Россия, —

вздыхает отрок. И зрелый Пушкин отвечает:

Еще исполнены великою Женою  
Ее любимые сады.  
Стоят населены чертогами, столпами,  
Гробницами друзей, кумирами богов,  
И славой мраморной, и медными хвалами  
Екатерининских орлов.

Героические воспоминания минувшего века окружают детство Пушкина. Летопись побед России воплощается в незабываемых памятниках, рассеянных в чудесных садах Екатерины. Личная биография поэта на заре его жизни сливается с историей России: ее не вырвать из сердца, как первую любовь.

Гроза 1812 года глубоко взволновала царскосельский лицей. Для Пушкина она навсегда осталась источником вдохновения. Но замечательно, что за ней он прозревал век еще более могучий, которого последними отпрысками были герои двенадцатого года. Слагая оды Кутузову, Барклаю де Толли, он их видит на фоне восемнадцатого века. Таков

же для него и генерал Раевский — «свидетель екатерининского века» прежде всего и уже потом «памятник двенадцатого года». Пушкин никогда не терял случая собирать живые воспоминания прошлого века — века славы — из уст его последних представителей. Таковы для него старый Раевский, кн. Юсупов, Мордвинов, фрейлина Н. К. Загряжская, разговоры с которой он тщательно записывал.

Нахлынувшие в молодости революционные настроения нисколько не поколебали у Пушкина этого отношения к Империи — не только в прошлом ее великолепии, но и в живой ее традиции, в настоящей борьбе за экспансию. Чрезвычайно интересно изучать то, что можно назвать имперскими концовками в его ранних, так называемых байронических поэмах: в «Кавказском пленнике», в «Цыганах» — там, где мы их менее всего ожидаем. Казалось бы, на Кавказе сочувствие мятежного поэта должны были привлечь вольнолюбивые горцы, отстаивавшие свою свободу от наступающей России. Ведь для пленника в жизни нет ничего выше свободы:

Свобода, он одной тебя  
Еще искал в подлунном свете...

Байрон и Вальтер Скотт, конечно, встали бы на сторону горцев. Но Пушкин не мог изменить России. Его сочувствие раздваивается между черкесами и казаками. Чтобы примирить свое сердце с имперским сознанием — свободу со славой, — он делает русского пленником и подчеркивает жестокость диких сынов Кавказа. Тогда казацкие линии и русские штыки становятся сами символом свободы:

Тропой далекой  
Освобожденный пленник шел,  
И перед ним уже в туманах  
Сверкали русские штыки,  
И окликались на курганах  
Сторожевые казаки.

Не довольствуясь этим завершающим аккордом, поэт слагает в эпилоге гимн завоевателям Кавказа — Цицианову, Котляревскому, Ермолову, не щадя жестоких красок, не смягчая исторической правды. Особенно ужасным встает Котляревский — «бич Кавказа». Стихи, ему посвященные:

Твой ход, как черная зараза,



Губил, ничтожил племена, —

вызвали в свое время гуманные и справедливые замечания кн. Вяземского: «Мне жаль, что Пушкин окровавил стихи своей повести... Гимн поэта никогда не должен быть слово-словием резни».

Здесь, несомненно, налицо погрешность против нравственного, а следовательно, и художественного такта. Это юношеское увлечение насилием в гимне Империи находит свою параллель в оде «Вольность» — гимне свободе.

Зато в зрелых, почти совершенных «Цыганах» «имперская концовка» дает настоящее разрешение пронесшейся буре губительных страстей. Над личной трагедией проносятся как примиряющее и возвышающее воспоминание:

В стране, где долго, долго брани  
Ужасный гул не умолкал...  
Где старый наш орел двуглавый  
Еще шумит минувшей славой...

В «Полтаве», в «Медном всаднике» тема Империи уже не концовка и не орнамент, она составляет самую душу поэмы: заглавия об этом свидетельствуют. В «Полтаве» Петр, истинный ее герой, подавляет своим грозным величием трагических любовников:

Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,  
Огромный памятник себе.

Этот памятник с теми же аполлиническими и грозными чертами императора оживает и в петербургской поэме. В «Медном всаднике» не два действующих лица, как часто утверждали, давая им символическое значение: Петр и Евгений, государство и личность. Из-за них явственно встает образ третьей, безликой силы: это стихия разбушевавшейся Невы, их общий враг, изображению которого посвящена большая часть поэмы. И какое это изображение! Нева кажется почти живой, одушевленной, злой силой:

Осада, приступ! Злые волны,  
Как воры, лезут в окна...

Продолжая традиционную символику — законную, ибо Всадник, несомненно, символ Империи, как назвать эту третью силу — стихии? Ясно, что это тот самый змей, ко-

торого топчет под своими копытами всадник Фальконета. Но кто он, или что он? Теперь, в свете торжествующей революции, слишком соблазнительно увидеть в этой стихии революцию, обуздываемую царем. Но о какой стихийной революции мог думать Пушкин? Уж конечно, не стихийным было 14 декабря. Пугачевщина скорее напоминает разлив волн. Но и это толкование было бы слишком узким. Для Фальконета, как для людей XVIII века змей означал начало тьмы и косности, с которым борется Петр, скорее всего старую, Московскую Русь. Мы можем расширить это понимание: змей или наводнение — это все иррациональное, слепое в русской жизни, что, обуздываемое Аполлоном, всегда готово прорваться: в сектантстве, в нигилизме, в черносотенстве, в бунте. Русская жизнь и русская государственность — непрерывное и мучительное преодоление хаоса началом разума и воли. В этом и заключается для Пушкина смысл Империи. А Евгений, несчастная жертва борьбы двух начал русской жизни, это не личность, а всего лишь обыватель, гибнущий под копытом коня Империи или в волнах революции.

Конечно, и Всадник Империи имеет в себе нечто демоническое, бесчеловечное:

Ужасен он в окрестной мгле.

Называя его «кумиром», поэт подчеркивает языческую природу государства. Пусть ужасный лик Петра в «Полтаве» божествен:

Он весь как Божия гроза.

Но что это за божество? кто этот «бог браней» со своей благодатью? Не Аполлон ли, раз навсегда смутивший воображение отрока поэта? «Дельфийский идол», «полон гордости ужасной» и дышащий «неземной силой».

Бесполезно было бы до конца этизировать аполлинический эрос Империи, которым живет Пушкин. Мы уже видели срыв военных строф «Кавказского пленника». Этот срыв неизбежен в песнях войны. На бранном поле Аполлону трудно сохранить благородство своей бесстрастной красоты. Где кровь, там торжествует стихия: «И смерть и ад со всех сторон». Пушкин любил войну — всегда, от детских лет до смерти. В молодости мечта о военной службе, в

тридцать лет, в Эрзерумском походе, мчался — единственный раз в жизни — в казачьем строю против неприятеля. За отсутствием военных впечатлений, всю жизнь возился с оружием, искал в дуэлях волнующих ощущений. Даже Николай Павлович импонировал ему «в о й н о й, надеждами, трудами».

Бесполезно поэтому видеть в Империи Пушкина чистое выражение нравственно-политической воли. Начало правды слишком часто в стихах поэта — как и в жизни государства — отступает перед обаянием торжествующей силы. Обе антипольские оды («Клеветникам России» и «Бородинская годовщина») являются ярким воплощением политического аморализма:

Славянские ль ручьи сольются в Русском море,  
Оно ль иссякнет?

Это чистый вопрос силы. Самая возможность примирения враждующих славянских народов, возможность их братского общения игнорируется поэтом. И здесь, как в гимне Котляревскому, Пушкин имеет против себя кн. Вяземского — и А. И. Тургенева. Зато можно представить себе, что бывшие друзья его — декабристы были бы с ним в этом отношении к польскому восстанию 1830 года. Имперский патриотизм был не менее сильной страстью революционеров 20-х годов, чем самое чувство свободы. Великодушное отношение к Польше императора Александра глубоко их возмущало. В этом нечувствии к Польше, к ее национальной ране, Пушкин, как и декабристы, принадлежал всецело XVIII веку.

Но если это так, если Империю нельзя очистить до значения нравственной силы, не разрушает ли она свободы? Каким образом Пушкин мог совмещать служение этим двум божествам?

Вернемся к «Медному всаднику», который дает ключ к пушкинской Империи. В этой поэме Империя представлена не только Петром, воплощением ее титанической воли, но и Петербургом, его созданием. Незабываемые строфы о Петербурге лучше всего дают возможность понять, что любит Пушкин в «творении Петра». Совестно цитировать то, что мы все помним наизусть, что повторяем ежедневно, как благие чары против тоски и смуты нашей жизни. Но,

не цитируя, стоит лишь напомнить, что все волшебство этой северной петербургской красоты заключается в примирении двух противоположных начал: тяжести и строя. Почти все эпитеты парны, взаимно уравнивают друг друга: «громады стройные», «строгий, стройный вид», «узор чугунный». Чугун решеток прорезывается легким узором; громады пустынных улиц «ясны», как «светла» игла крепости. Недвижен воздух жестокой зимы, но легок зимой «бег санок» и «ярче роз — девичьи лица». Как торопится Пушкин набросить на гранитную тяжесть своего любимого города прозрачную ясность белых ночей, растворяющих все «громады» ее спящих масс в неземном и призрачном. И даже суровые военные потехи марсовых полей исполнены «стройно-зыблемой», живой «красивостью». Пушкин, как и Николай I, любил военные парады. Но, несомненно, они должны были по-разному воспринимать их красоту.

Империя, как и ее столица, для Пушкина, с эстетической точки зрения, это прежде всего лад и строй, открытая тяжесть, одухотворенная мощь. Она бесконечно далека от тяжести древних восточных Империй, от ассирийского стиля, в котором, например, послебисмарковская и современная Германия ищет воплотить свой идеал мощи.

Но эта эстетическая стройность Империи получает — по крайней мере стремится получить — и свое нравственное выражение. Пушкин по-разному видит Петра. То для него он полубог, или демон, то человек, в котором Пушкин хочет выразить свой идеал светлой человечности. Таков он в «Арапе Петра Великого», таков в мелких пьесах. «Пир Петра Великого» — это апофеоз прощения. В стансах 1826 года он «незлобен памятью», «правдой привлек сердца». Но еще более, чем правда и милость, подвиг просвещения и культуры составляет для Пушкина, как для людей XVIII века, главный смысл Империи: он «нравы укротил наукой», «он смело сеял просвещение». Преклонение Пушкина перед культурой, еще ничем не отравленное — ни славянофильскими, ни народническими, ни толстовскими сомнениями, — почти непонятное в наши сумеречные дни, — не менее военной славы приковывало его к XVIII веку. Он готов посвятить неосуществленной Истории Петра Великого свою жизнь. И хотя изучение архивов вскрывает для него темные стороны тиранства на любимом лице, он не допу-

скают этим низким истинам омрачить ясность своего творимого Петра — подобно тому как низость Екатерины, прекрасно ему известная, не пятнает образа «Великой Жены» в его искусстве. Низкие истины остаются на страницах записных книжек. В своей поэзии, включая и прозаическую поэзию, Пушкин читит в венценосах XVIII века — более в Петре, конечно, — творцов русской славы и русской культуры. Но тогда нет ничего несовместимого между Империей и Свободой. Мы понимаем, почему Пушкину так легко дался этот синтез, который был почти неосуществим после него. В исторических заметках 1822 года Пушкин выразился о своем императоре: «Петр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения...» В другом месте назвал его «révolution incarnée» со всей двойственностью смысла, который Пушкин — и мы — вкладываем в это слово.

\* \* \*

Свобода принадлежит к основным стихиям пушкинского творчества и, конечно, его духовного существа. Без свободы немислим Пушкин, и значение ее выходит далеко за пределы политических настроений поэта. В известном «Демоне» 1823 года Пушкин дает такой инвентарь своих юношеских — а на самом деле постоянных, всегдашних — святынь:

Когда возвышенные чувства,  
Свобода, слава и любовь,  
И вдохновенные искусства  
Так сильно волновали кровь...

При видимой небрежности этого списка, он отличается исчерпывающей полнотой. Чем больше думаешь, тем больше убеждаешься, что к этим четырем «чувствам» сводится все откровенство — это его *virtutes cardinales*, говоря по-католически. Правда, это еще не весь поэт. Пушкину не чужды и *virtutes theologales*, на которые он бросает намек в «Памятнике»: «милость к падшим». Чем дольше Пушкин живет, тем глубже прорастают в нем христианские семена (последние песни «Онегина», «Капитанская дочка»). Но «природный» Пушкин — иначе говоря, Пушкин, созданный европейским гуманизмом, — живет этими четырьмя

заветами: свободой, славой, любовью, вдохновением. Он никогда не изменяет ни одному из них, но если можно говорить об известной иерархичности, то выше других для него свобода и творчество. Он может во имя свободы указать на двери любви:

Беги, сокройся от очей,  
Цитеры слабая царица...

И во имя ее же поставить славу рядом с рабством:

Рабства грозный гений  
И Славы роковая страсть...

Но никогда, ни на одно мгновение своей жизни Пушкин не может отречься ни от свободы, ни от творчества.

Следя за темой Империи у Пушкина, мы, в сущности, следим за политической проекцией его «славы». Приступая к свободе, не будем сразу ограничивать ее политическими рамками. Движение этой темы у Пушкина во всей ее полноте может многое уяснить и в изменчивой судьбе его политической свободы.

«Свобода», «вольность», «воля»... особенно «свободный», «вольный»... Нет слов, которые чаще бросались бы в глаза при чтении Пушкина. Пожалуй, они встречаются так часто, что мы к ним привыкаем и они перестают звучать для нас (в этом омертвлении привычного совершенства главная причина нередкой у нас холодности к Пушкину). Осознаем ли мы вполне смысл таких строк:

Как вольность, весел их ночлег?..

Чувствуем ли мы всю странность этого образа:

...под отдаленным сводом  
Гуляет вольная луна, —

издевающегося над всеми законами астрономии?

В невиннейшей «Птичке» способны ли мы, подобно умному цензору, разглядеть серьезность и почти религиозную силу пушкинского свободолюбия:

За что на Бога мне роптать,  
Когда хоть одному творенью  
Я мог свободу даровать?

В чем только, в каких образах Пушкин не искал воплощения своей свободы! В вине и пирах, в орле, «вскормленном на воле», и в беззаботной «птичке Божией», в волнуемом море (это один из главных ликов свободы) и в линии снеговых гор. Свободе посвящены всецело поэмы (помимо неудавшегося юношеского «Вадима»): «Братья-разбойники», «Кавказский пленник», «Цыганы». Из поздних свобода, конечно, одушевляет «Анджело».

Но, в отличие от темы Империи, тема свободы непрестанно движется. Пушкин не только находит все новые ее воплощения — от иных он отрекается, хотя у Пушкина отречение никогда не бесповоротно. За сменой форм ясно изменение в самой природе пушкинской свободы: не только в творчестве, но и в живой личности поэта.

В лицейские и ранние петербургские годы свобода впервые открылась Пушкину в своеволии разгула, за стаканом вина, в ветреном волокитстве, овеванном музой XVIII века. Парни и Богданович стоят, увы, восприемниками свободы Пушкина, как Державин — его Империи. Но уже восходит звезда Шенье, и поэт Вакха и Киприды становится поэтом «Вольности». Юношеский протест против всякой тирании получает свою первую «сублимацию» в политической музе. В сознании юного Пушкина его политические стихи — серьезное служение. В них дышит подлинная страсть, и торжественные классические одежды столь же идут к ним, как и к революционным композициям Давида. Но у Шенье есть и другой соперник: Байрон. Политическая свобода в лире Пушкина, несомненно, созвучна той мятежной волне страстей, которая владеет им, хотя и не всецело, в начале 20-х годов: тот же взрыв поработченных чувств, та же суровая энергия, та же мрачность, завлакивающая на время лазурь. В эти годы, на юге, море («свободная стихия») становится символом этой страстной, стихийной свободы, сливаясь с образами Байрона и Наполеона. Но как близок катарсис, аполлиническое очищение от страстей! В «Цыганах» мы имеем замечательное осложнение темы свободы, в которой Пушкин совершает над собой творческий суд: свободу мятежную он судит во имя все той же, но высшей свободы.

Алеко порвал «оковы просвещения», «неволю душевных городов», и это первое освобождение — байроническое —

остается непререкаемым. Он прав в своем бунте против цепей условной цивилизации. Он ищет под степными шатрами свободы и не находит. Почему? Пушкин верит, или хочет верить, что «бродячая бедность» цыган и есть желанная «воля»:

Здесь люди вольны, небо ясно...

Но этой ясности Алеко не дано. Он несет в себе свою собственную неволю. Он раб страстей:

Но, Боже, как играли страсти  
Его послушною душой.

Грех Алеко в «Цыганах» не столько против милосердия, сколько против свободы:

Ты не рожден для дикой доли,  
Ты для себя лишь хочешь воли.

Порвавшему оковы закона необходимо второе освобождение — от страстей, на которое Алеко не способен. Способы ли на это сыны степей? Поэту кажется, что да. В цыганской вольности даются два ответа на роковой вопрос: легкость изменчивой Земфиры, этой пушкинской Кармен, и светлая мудрость старика, который из отречения своей жизни выносит то же благословение природной, изменчивой любви:

...вольнее птицы младость.  
Кто в силах удержать любовь?

В оптимизме старика цыгана слышатся отзвуки Руссо. Но, отдавая дань и здесь XVIII веку, Пушкин все же сомневается в его правде. Один ли Алеко, чужак, угрожает счастьем детей природы? Последние звуки полны безысходного, совершенно античного трагизма:

И всюду страсти роковые,  
И от судеб защиты нет.

Очищение Пушкина от «роковых страстей» протекает параллельно с изживанием революционной страстности. Это первый серьезный кризис его «свободы», о котором дальше. Прощание с морем в 1824 году — не простая разлука уезжающего на север Пушкина. Это внутреннее про-



щение с Байроном, революцией — все еще дорогими, но уже отходящими вдаль, но уже невозможными.

С тех пор, на севере, свобода Пушкина все более утрачивает свой страстный, дионисический характер. Она становится трезвее, прохладнее, чище. Она все более означает для Пушкина свободу творческого досуга. Ее все более приходится отстаивать от утилитаризма толпы, от большого света, в который вошел Пушкин. Она расцветает чаще всего осенью; уже не море, а русская деревня, Михайловское, Болдино являются пестунами ее. Свобода Пушкина становится символом независимости. Такова ее, приправленная горечью, последняя декларация (так называемое «Из Пиндемонта»):

Иная, лучшая потребна мне свобода...  
Никому  
Отчета не давать; себе лишь самому  
Служить и угождать...  
По прихоти своей скитаться здесь и там,  
Дивясь божественным природы красотам,  
И пред созданьями искусств и вдохновенья  
Безмолвно утопать в восторгах умиления —  
Вот счастье! Вот права...

Но если здесь свобода как бы снижается до себялюбия, до индивидуалистического отъединения от мира людей, то на противоположном полюсе она начинает для Пушкина звучать религиозно. Не смея касаться мимоходом чрезвычайно сложного вопроса о пушкинской религиозности, не могу не отметить, что во всех, не очень частых, высказываниях Пушкина, в которых можно видеть отражение его религиозных настроений, они всегда связаны с ощущением свободы. В этом самое сильное свидетельство о свободе как метафизической основе его жизни. Религия предстает ему не в образе морального закона, не в зовах таинственного мира и не в эросе сверхземной любви, а в чаянии последнего освобождения.

Так он вздыхает, заглядевшись на монастырь в горах Кавказа (1829):

Туда, сказав прости ущелью,  
Подняться к вольной вышине,  
Туда б, в заоблачную келью,  
В соседство Бога скрыться мне!

Здесь важна интуиция Пушкина, что Бог живет в царстве свободы и что приближение к Нему освобождает.

Переводя из Беньяна (1834) начало его суровой пуританской поэмы, весьма далекой от всякого чувства свободы, Пушкин роняет стих, который, очевидно, имеет для него особое значение:

Как раб, замысливший отчаянный побег, —

для выражения аскетического отречения от мира.

Даже перелагая монашескую, покаянную, великопостную молитву, Пушкин вкладывает в нее тот же легкий, освобождающий смысл:

Чтоб сердцем возлетать во области заочны...

И, наконец, накануне смерти, в послании к жене, он оставляет свое последнее завещание свободы, в котором явно сливаются образы беньянского беглеца и монастыря на Кавказе.

На свете счастья нет, а есть покой и воля.  
Давно завидная мечтается мне доля,  
Давно, усталый раб, замыслил я побег  
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

\* \* \*

Вглядимся пристальнее в ту линию, которую на общем фоне пушкинского свободолюбия описывает кривая его политической свободы — свободы, сопряженной с Империей.

Пушкин начинает с гимнов революции. Напрасно трактуют их иногда как вещи слабые и не заслуживающие внимания. «Кинжал» прекрасен, и послание к Чаадаеву принадлежит к лучшим и, что удивительно, совершенно зрелым (1818 г.) созданиям Пушкина. Среди современных им вакхических и вольтерьянских шалостей пера революционные гимны Пушкина поражают своей глубокой серьезностью. Замечательно то, что в них выражается не одно лишь кипение революционных страстей, но явственно дан и их катарсис. Чувствуется, что не Байрон, а аполлинический Шенье и Державин водили пушкинским пером. А за

умеряющим влиянием Аполлона как не почувствовать его собственного благородного сердца?

Конечно, срывы есть. Дионисическая стихия мятежа иногда захлестывает, и муза поэта, как в кавказском гимне Цицианову, поет кровь. Строфа из «Вольности» «Самовластительный злодей» и т. д., которая читается теперь как проклятие, исполнившееся через сто лет, конечно, ужасна. Но дочитаем до конца. Поэт, только что выразивший свою радость по поводу убийства Павла, рисует сцену 11 марта:

О, стыд! О, ужас наших дней!  
Как звери, вторглись янычары!  
Падут бесславные удары —  
Погиб увенчанный злодей!

Нравственное сознание торжествует здесь над политическим удовлетворением. Убитый тиран и убийцы-звери одинаково отвратительны поэту. Не находит оправдания в его глазах и казнь Людовика, жертвы предков. Правда, он воспекает кинжал, то есть террор, то есть убийство. Но здесь слабый убивает сильного, свободная личность восстает против тирана. Принимая войну и рыцарский поединок, Пушкин не мог возражать против тираноубийства. Но посмотрите, как нелегитимно наносит он свои удары. Его герои — Брут, Шарлотта Корде, Георг Занд. Убийца императора поставлен рядом с убийцей революционного тирана. В «Вольности» народы и цари одинаково подвластны Закону:

И горе, горе племенам,  
Где дремлет он неосторожно,  
Где иль Народу, иль Царям  
Законом властвовать возможно!

Призыв к «восстанию рабов», угрозы смерти тиранам кончаются идеалом законной, конституционной монархии:

И станут вечной стражей трона  
Народов вольность и покой.

Если это декабризм, то декабризм конституционный, Никиты Муравьева, а не Пестеля.

«Деревня» рисует крепостное рабство в России мрачными, тяжелыми красками. Таким видел его Радищев. Злодеяния господ, изображенные здесь, как будто вопиют о мести. Восстание угнетенных было бы в этом случае есте-

ственным, даже с художественной точки зрения, разрешением. Но мы знаем, как кончает Пушкин: падением рабства «по манию царя» и зарей «просвещенной свободы».

Отметим также, что, хотя Пушкин поет о страданиях народа и грозит его притеснителям, ничто не позволяет назвать его демократом. Свобода его еще не эгоистична, она для всех. Но опасность грозит ей одинаково и от царей, и от самих народов. Для Пушкина драгоценна именно воля народа, а не его власть. Это чрезвычайно существенно для понимания политической эволюции Пушкина. Его отход от революции вытекает из разочарования не в свободе, а в народе как в недостойном носителе свободы.

Мы сказали, что освобождение Пушкина от революционных страстей протекает параллельно с его очищением от страстей байронических. Байрон был для него и политическим героем, борцом за свободу Греции. Кризис настал, или был ускорен, в связи с политическими событиями в Европе. 1820 год ознаменовался рядом восстаний, угрожавших взорвать реакционный порядок, установленный «Священным Союзом». В Испании, в Неаполе, в Германии происходят народные движения, на которые Пушкин и его друзья отзываются радостными надеждами. В Кишиневе Пушкин сам присутствует при начале греческого восстания и восторженно провожает на войну героев гетерии. Поражение всех этих революционных вспышек оставило в поэте горький осадок. По отношению к грекам оно обострилось еще разочарованием в них как в народе, не достойном великих предков. В конце 1823 года этот кризис нашел себе горькое и сильное выражение в известных стихах:

Свободы сеятель пустынный,—  
Я вышел рано, до звезды.

Пушкин сознает себя сеятелем свободы, серьезно относясь к своему революционному призванию. Но он приходит к сознанию бесполезности своих — и общих — усилий:

Но потерял я только время,  
Благие мысли и труды...  
Паситесь, мирные народы!  
Вас не разбудит чести клич!  
К чему стадам дары свободы?  
Их должно резать или стричь!

Жестокие слова, срывающиеся из-под пера (снова срыв) — не проклятие свободе, а проклятие рабам, не умеющим за нее бороться. Но это поворотный момент. Здесь, а не 14 декабря 1825 года, первое рождение пушкинского консерватизма. Не отрекаясь от идеала свободы, он уже поражен горечью ее неосуществимости. Его консервативное сознание впервые рождается из скептицизма. Это подтверждается обращенным к А. Н. Раевскому «Демоном», написанном в те же дни.

«Неистошимый клеветой» искуситель отрицает все святыни, на которых покоилась религия пушкинского гуманизма:

Он вдохновенье презирал,  
Не верил он любви, свободе...

Отрицание свободы для Пушкина равносильно с клеветой на Провидение. И тем не менее Пушкин признается, что он подпадает под власть этих искушений («вливая в душу хладный яд»).

Свобода не теряла для Пушкина своей священности в то время, когда он прощался с ней. Его последнее обращение к морю, как мы указали уже, имеет своей темой свободу, то есть мятежную, революционную стихию, к которой он рвался так страстно — в греческом ли восстании или в декабристском заговоре. Не об этой ли «свободной стихии» Пушкин мечтает, бессознательно (как бы обертонно), говоря о своих несбывшихся надеждах:

Не удалось навек оставить  
Мне скучный, неподвижный брег...

Эта твердая почва, на которой он стоит, — почва России, быта, консерватизма, — не имеет еще для него ни малейшей прелести. Но свобода неосуществима, и мир постыл — именно потому, что в нем нет места свободе:

Мир опустел...  
Судьба людей повсюду та же:  
Где благо, там уже на страже  
Иль самовластье, иль тиран.

Эту мысль он повторяет — только с еще большей горечью, на этот раз обращенной к самой изменчивой стихии моря, — в 1826 году в письме к кн. П. А. Вяземскому:

Не славь его! В наш гнусный век  
Седой Нептун — земли союзник.  
На всех стихиях человек —  
Тиран, предатель или узник.

Хорошо известен политический намек, заключающийся в этих словах (слух об аресте Н. И. Тургенева), и совершенно ясно, что, обвиняя море, Пушкин еще не предпочитает ему суши и что величайшими преступлениями для него являются те, которые совершаются против свободы.

Много лет пройдет, пока в «Медном всаднике» (1832) Пушкин не увидит в ярости бушующей водной стихии злую силу и не станет против нее с Петром:

Да умирится же с тобой  
И побежденная стихия!

Что в Пушкине жив, и после прощания с морем, этос свободы, хорошо видно из «Андрея Шенье», написанного им «на суше», в Михайловском, в период «Бориса Годунова» (1825). Это стихотворение совершенно подобно «Вольности» и «Кинжалу» в своей двусторонней направленности против тирании царей и народа. Замечательно, что гибнущий под революционным топором поэт — а с ним и Пушкин — не смеет бросить обвинения самой свободе, во имя которой неистовствуют палачи:

Но ты, священная свобода,  
Богиня чистая, нет не виновна ты...

В 1825 году Пушкин на распутье. Позади море, юг, революция — перед ним Михайловское, деревня, Россия. Нет сомнения, что его развитие в сторону «свободного консерватизма» было предопределено. Но в этот медленный, органический рост его нового чувства России 14 декабря упало, как молния. Оно сильно запутало и исказило ясность пушкинского пути. Оно заставило поэта принять решение, сделать выбор — для него, быть может, преждевременный. Оно стало исходным пунктом ложного положения, в котором Пушкин мучился всю свою жизнь. Это положение можно было бы охарактеризовать кратко: поднадзорный камер-юнкер — или певец Империи, преследуемый до самого конца за неистребимый дух свободы.

Корни пушкинского консерватизма — вполне предопре-

деленного — многообразны и сложны. В главном он связан, конечно, с «поумнением» Пушкина: с возросшим опытом, с трезвым взглядом на Россию, на ее политические возможности, на роль ее исторической власти. Личный опыт и личный ум при этом оказываются в гармонии с основным и мощным потоком русской мысли. Это течение — от Карамзина к Погодину — легко забывается нами за блестящей вспышкой либерализма 20-х годов. А между тем национально-консервативное течение было, несомненно, и более глубоким и органически выросшим. Оно являлось прежде всего реакцией на европеизм XVIII века, могущественно поддержанной атмосферой 1812 года. У его истоков — «История государства Российского», в завершении — русские песни Киреевского, словарь Даля, молодая русская этнография николаевских лет. «Народность» не была только официальным лозунгом гр. Уварова. Она удовлетворяла глубокой национальной потребности общества. И Пушкин принял участие в творческом изучении русской народности как собиратель народных песен, как создатель «Бориса Годунова» и «Русалки». Мы понимаем, почему он был ближе по своим сочувствиям к Карамзину (несмотря на юношескую эпиграмму), чем к Каченовскому, к Погодину, чем к Полевому.

Но к этим органическим и оправданным мотивам историческая случайность (14 декабря) присоединяет другие, менее чистые. С одним мы уже познакомились: это скептицизм. Другой явственно и болезненно для нас встает в его письмах: это его естественная, но отнюдь не героическая потребность — определить как можно скорее свою судьбу, вырваться из Михайловского, покончить с прошлым, вступить с правительством в лояльные, договорные отношения. Замечательно, что и этот мотив восходит все к той же свободе — на этот раз личной свободе. Пушкин жаждет вырваться из ссылки какой бы то ни было ценой: не удастся бегство из России, эмиграция — остается договориться с царем. В этих переговорах все преимущества были на стороне императора. Николай I показал себя, как в отношениях с декабристами, превосходным актером, и Пушкин запутался в сетях царя.

Есть полная и печальная аналогия между отношением Пушкина к Н. Н. Гончаровой и отношением его к Нико-

лаю. Пушкин был прельщен и поработчен навсегда — в одном случае бездушной красотой, в другом — бездушной силой. С доверчивостью и незащитностью поэта, Пушкин увидел в одной идеал Мадонны, в другом — Великого Петра. И отдал себя обоим добровольно, связав себя словом, обетом верности, обрекавшим его на жизнь, полную терзаний и бессмысленных унижений.

Но как понятен источник роковой ошибки. Поэт, наскучивший своей бездомностью и скитальчеством, хочет иметь родину, семью, быть певцом родной земли и вкушать лояльной, не блуждающей любви. Возьмем первую тему. Доселе он воспевал императоров XVIII века, носителей свободы, и проклинал царей своего времени — Павла, Александра, изменивших ей. Почему же новый царь не может вернуться к благородной традиции свободолюбивой Империи? Пушкин не изменяет себе, он лишь хочет сковать в одно две свои верности, две политические темы своей музыки: Империю и Свободу. «Стансы» Николаю, его поэтический договор с царем, где он предлагает ему идеал Петра, — разве это измена? Пушкин долго живет надеждами, ловит в словах нового самодержца проблески просвещенной доброй воли; ошибаясь, бранится, будирует, но не разрывает новой лояльности.

Впрочем, отношения Пушкина к Николаю I слишком сложны, чтобы их исчерпать в нескольких строках. Столь же сложен стал образ свободы у Пушкина в последнее десятилетие его жизни. С уверенностью можно сказать, что поэт никогда не изменил ей. Со всей силой он утверждает ее для своего творчества. Тема свободы поэта от «черни», общественного мнения, от властей и народа становится преобладающей в его общественной лирике. Иной раз она звучит лично, эгоистически: «себе лишь одному служить и угождать», иной раз пророчески-самоотверженно. Но рядом с этой личной свободой поэта не умирает, хотя и приглушается, другая, политическая тема. Все чаще она, никогда не имевшая демократического характера, получает аристократическое обличие. Впрочем, этот аристократический либерализм Пушкина оставил больше следа в его заметках и письмах (рассуждения о дворянстве, замечания вел. кн. Михаилу Николаевичу о Романовых-niveleurs), чем в поэзии. Нельзя, впрочем, не найти в «Борисе Годунове»



отражения собственных политических идей поэта хотя бы в словах фрондирующего Пушкина, его предка, или в похвалах кн. Курбскому.

Наконец, нельзя не видеть сжатого под очень высоким «имперским» давлением пафоса свободы в пушкинском «Пугачеве». Неслучайно, конечно, Стенька Разин и Пугачев, наряду с Петром Великим, более всего влекли к себе историческую лиру Пушкина. В зрелые годы он никогда не стал бы певцом русского бунта, «бесмысленного и беспощадного». Но он и не пожелал бросить Пугачева под ноги Михельсону и даже Суворову. В «Капитанской дочке» два политических цетра: Пугачев и Екатерина, и оба они нарисованы с явным сочувствием. Пушкин, бесспорно, любил Пугачева за то же, за что он любил Байрона и Наполеона: за смелость, за силу, за проблески великодушия. Пугачев, рассказывающий с «диким вдохновением» калмыцкую сказку об орле и вороне: «чем триста лет питаться падалью, лучше один раз напиться живой крови», — это клич к пушкинскому увлечению. Оно порукой за то, что Пушкин, строитель русской Империи, никогда не мог бы сбросить со счетов русской, хотя бы и дикой, воли. Русская воля и западное просвещение проводят грань между пушкинским консерватизмом, его Империей и николаевским или погодинским государством Российским.

Конечно, Пушкин не политик и не всегда сводит концы с концами. Есть у него грехи и прегрешения против свободы — и даже довольно тяжкие. Такого его удовлетворение по поводу закрытия журнала Полевого или защита цензуры в антиграбидцевских «Мыслях по дороге». Но все эти промахи и обмолвки исчезают перед его основной лояльностью. Никогда, ни единым словом он не предал и не отрекся от друзей своей юности — декабристов, как не отрекся от А. Шенье и от Байрона. Никогда сознательно Пушкин не переходил в стан врагов свободы и не становился певцом реакции. В конце концов кн. Вяземский был совершенно прав, назвав политическое направление зрелого Пушкина «свободным консерватизмом». С именем свободы на устах Пушкин и умер: политической свободы — в своем «Памятнике», духовной — в стихах к жене о «покое и воле». Пусть чаемый им синтез Империи и свободы не осуществился — даже в его творчестве, еще менее — в рус-

ской жизни; пусть Российская Империя погибла, не решив этой пушкинской задачи. Она стоит и перед нами, как перед всеми будущими поколениями, теперь еще более трудная, чем когда-либо, но непреложная, неотвратимая. Россия не будет жить, если не исполнит завещания своего поэта, если не одухотворит тяжесть своей вновь воздвигаемой Империи крылатой свободой.

## ПИСЬМА О РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

### I

#### Русский человек

Начиная свои беседы с читателем о русской культуре, надо условиться, о чем будет речь, чтобы в дебрях частных не исчезла главная тема. Русская культура, о которой мы будем говорить на этих страницах, это не великое ее прошлое, уже отошедшее в историю. Революция провела между этим прошлым и будущим резкую грань. В сущности, в осмыслении этой грани и состоит наша задача. Будущее скрыто от нас, но именно к нему устремлены наши взоры. Невозможность предсказаний особенно ясна на явлениях духовной культуры. Если это культура, заслуживающая этого имени, то творчество — творчество нового — составляет самое определение ее. Но творчество свободно, не предопределено и, следовательно, непредвидимо. Попробуйте предсказать заранее научное открытие, не говоря уже о художественном произведении. Чем выше оно, тем неожиданнее, удивительнее, чудеснее. Задним числом пытаются «объяснить» его. Но, в сущности, не идут дальше общего фона, обстановки, в которой оно увидело свет. Его рождение — богочеловеческая тайна.

Но всякое создание культуры имеет этот общий фон, который состоит из традиций, из соединенных усилий народа, из «общего дела». Взятая из большой дали, культура обнаруживает единство — по крайней мере единство направленности. Так мы можем сказать, даже читая в переводах: это русский автор, это французский. Лишь об этих общих чертах, общих предпосылках национального стиля и может говорить историк. Лишь в этом общем завтрашний день продолжает вчерашний; здесь возможно если не предвидение, то ожидание.

Русская литература — и русская культура в целом — до

революции имела свою направленность. Она обращала к будущему свои определенные вопросы. Но эта нить резко оборвана. Возможно ли связать ее узлом в той точке (1917 г.), где она оборвалась? Я этого не думаю. Признаюсь в своей слабости. Будучи решительным противником политической реставрации, я ничего не имел бы против реставрации культурной. Со всеми своими недостатками, даже пороками, культура старой России мила мне, как и всем людям моего поколения. Нам, привыкшим к ее приволью и благородству, трудно дышать в другом воздухе. Но надо смотреть правде в глаза: мертвого не воскресить. Не переставая помнить о нем всегда с грустью и нежностью, мы должны жить для живого, для тех детей и внуков, которые, может быть, мало радуют нас, но в которых живет наш род, живет Россия. Будущее России сейчас уже связано не с тем поколением, которое было застигнуто войной 1914 года, а с тем, которое воспитано Октябрьской революцией. О, конечно, и ему предстоит пережить много кризисов, много духовных переломов. Но едва ли оно будет выкорчевано с корнем, как наше. Во всяком случае, совершенно не видно, что могло бы сместить его. Ибо это поколение — вся Россия.

Но, разумеется, историк знает, что, как ни резки бывают исторические разрывы революционных эпох, они не в силах уничтожить непрерывности. Сперва подпочвенная, болезненно сжатая, но древняя традиция выходит наружу, сказываясь не столько в реставрациях, сколько в самом модернистском стиле воздвигаемого здания. Однако старина эта бывает не похожа на недавнее, только что убитое прошлое. Из катастрофы встают ожившими гораздо более древние пласты. Можно сказать, пожалуй, что в человеческой истории, как в истории земли, чем древнее, тем тверже: гранит и порфир не легко рассыпаются. Вот почему, не мечтая о воскрешении начал XIX века, мы можем ожидать — и эти ожидания отчасти уже оправдываются — воскрешения старых и даже древних пластов русской культуры. Октябрьское поколение не помнящих родства было бы бессильно что-либо создать, если бы в нем — и в нем также! — не жил гений народа. Вот почему необходимо иметь всегда перед глазами этот фон тысячелетней истории, на котором выделяются взбунтовавшиеся против него, но уже умирямые им «октябристы». Эти соображения определяют направление наших поисков. Мы ищем предпосылок будущей культуры Рос-

сии в ее настоящем, стараясь уяснить его в свете прошлого.

## 1

Первой предпосылкой культуры является сам человек. Мы жадно вглядываемся в черты нового человека, созданного революцией, потому что именно он будет творцом русской культуры. Вглядываемся — и не узнаем его. Первое впечатление — необычайная резкость происшедшей перемены. Кажется, что перед нами совершенно новая нация. Спрашиваешь себя с волнением, и даже мукой: полно, да русский ли это человек? Перебираешь одну за другой черты, которые мы привыкли связывать с русской душевностью, и не находишь их в новом человеке. И вместе с тем сколько новых качеств, которые мы привыкли видеть в чужих, далеких национальных типах. Что осталось от «Святой» и от «вольной» Руси, но также и от Обломова, от «мальчика без штанов» и от всех положительных и отрицательных воплощений русского национального лица? Мы привыкли думать, что русский человек добр. Во всяком случае, что он умеет жалеть. В русской мучительной, кенотической жалости мы видели основное различие нашего христианского типа от западной моральной установки. Кажется, жалость теперь совершенно вырвана из русской жизни и из русского сердца. Поколение, воспитанное революцией, с энергией и даже яростью борется за жизнь, вгрызается зубами не только в гранит науки, но и в горло своего конкурента-товарища. Дружным хором ругательств провожают в тюрьму, а то и в могилу, поскользнувшихся, павших, готовы сами отправить на смерть товарища, чтобы занять его место. Жалость для них бранное слово, христианский пережиток. «Злость» — ценное качество, которое стараются в себе развивать. При таких условиях им нетрудно быть веселыми. Чужие страдания не отравляют веселья, и новые советские песни, вероятно, не звучат совершенно фальшиво в СССР:

И нигде на свете не умеют,  
Как у нас, смеяться и любить...

Мы привыкли считать, что русский человек отличается

тонкой духовной организацией (даже в народе): что он «психологичен», чуток, не переносит фальши. Недавние заграничные гастроли Художественного театра показали всему свету, что талантливейшие русские артисты разучились передавать тонкие душевные движения. Им доступно лишь резко очерченное, грубое, патетическое. Самое замечательное, что в этом нет ничего нарочитого. Они хотели бы дать психологическую драму, хотели бы сохранить наследие Станиславского, они еще учатся у старых учителей. Но жизнь сильнее школы. Выйдя из нового поколения, они приносят с собой его бесчувственность — которая не исключает, конечно, художественной одаренности.

Мы привыкли считать, что русский человек индивидуалист-одиночка, не способный к организации и общему делу. Наши большие люди всегда бунтари и чудачки, идущие своим путем, не подчиняющиеся социальной дисциплине. О чем же говорит техника новых русских актеров, спортивных команд, певческих хоров? Великолепные массовые сцены, слаженность действий, изумительная четкость коллективных движений — при сравнительной бедности личных талантов. Нет гениев, но много талантов, и таланты эти раскрываются в коллективе. Да ведь это почти торжество немецкой «умеренности и аккуратности», хотя и в боевых, военных темпах. Русский народ оказывается народом солдат, а не партизанов, команд, «экипа», а не искателей, одиночек, бунтарей.

Этот ряд противопоставлений можно было бы продолжить далеко. Оставляю пока без проверки, насколько основательны наши ходячие представления о нас самих. Мы привыкли, как и все народы, глядеться на себя в кривое зеркало. Но факт несомненен: все характеристики русской души, удобные в прошлом, отказываются служить для нового человека. Он совершенно другой, не похожий на предков. В нем скорее можно найти тот культурный тип, в оттолковении от которого мы всегда искали признак русскости: тип немца, европейца, «мальчика в штанах». Нотом Еуропаео-Американо. Это вечное пугало русских славянофилов, от которого они старались уберечь русскую землю, по-видимому, сейчас в ней торжествует. Такое первое впечатление, которое, конечно, нуждается в проверке.

Самый факт необычайно резкого перелома не подлежит

сомнению. Недалеко искать и причины его резкости и глубины. Сама по себе революция — и какая! — не могла не перевернуть национального сознания. Ни один народ не выходит из революционной катастрофы таким, каким он вошел в нее. Зачеркивается целая историческая эпоха, с ее опытом, традицией, культурой. Переворачивается новая страница жизни. В России жестокость революционного обвала связана была к тому же с сознательным истреблением старого культурного класса и заменой его новой, из низов поднявшейся интеллигенцией. Второй источник катастрофы — хотя и совершенно мирный — заключается в чрезвычайно быстром процессе приобщения масс к цивилизации, в ее интернациональных и очень поверхностных слоях: марксизм, дарвинизм, техника. Это, в сущности, процесс рационализации русского сознания, в который народ, то есть низшие слои его, вступил еще с 60-х годов, но который, протекая сперва очень медленно, ускорился в геометрической прогрессии, пока наконец в годы революции не обрушился настоящей лавиной и не похоронил всего, что сохранилось в народной душе от московского православного наследия. Двадцать лет совершили работу столетий. Психологические последствия таких темпов должны быть чрезвычайно тяжкими. Прибавьте к этому и третье, неслыханное и небывалое в истории осложнение: тоталитарное государство, которое решает создать новый тип человека, опираясь на чудовищную монополию воспитания и пропаганды и на подавление всех инородных влияний. Эта задача удалась — по крайней мере в отрицательной части: новая интеллигенция, прошедшая через советскую школу и давно уже отеснившая остатки старой во всех областях культуры и жизни, совершенно не похожа на старую и на тот «старый» народ, из недр которого она вышла. Новый человек: *Eurapeo-Americanus*.

Что же, значит ли это, что Россия умерла? Что СССР, союз восточноевропейских народов, лишен какой бы то ни было русской национальной окраски и нельзя уже в будущем говорить о русском народе как носителе особой национальной культуры? Заключение поспешное, но вопрос ставится именно так. Как ни дико это звучит для нашего уха, но мы должны иметь мужество смотреть прямо в лицо будущего. Нации не вечны. Тысячелетие, может быть, не слишком ран-

ний срок для смерти нации, хотя мы не знаем никаких законов, определяющих длительность ее жизни. Поищем аналогии в истории — не для того, чтобы грубо применять их к России, но хотя бы для того, чтобы освободиться от предрассудков, от все еще не изжитых, несмотря на все катастрофы, оптимистических иллюзий XIX века.

## 2

Аналогии бывают разные. Есть и очень успокоительные. Каждая нация проходит через глубокие кризисы, которые радикально меняют ее лицо. Оставаясь в пределах XIX века, как изменилось, и при этом не раз, лицо Германии! Германия романтизма, Германия Бисмарка и Германия Гитлера — кажутся совершенно разными нациями. Русский роман XIX века («Дворянское гнездо») сохранил нам трогательный образ немца: прекрасногодушного, чистого сердцем, немножко смешного в своей наивности, преданного музам и мечтам. То было время (или реминисценция времени), когда немец в политике играл роль смешного «Михеля» и раздробленная Германия удовлетворяла свое честолюбие единственно в сфере духа. Столетие от Лессинга до Гегеля в самом деле венчало Германию королевой европейской мысли. За элитой мудрецов и поэтов стоял народ — трудолюбивый, честный, лояльный, добродушный. Двадцать лет (1848—1870), и Михель создает Империю. Романтические мечты молодости сданы в архив. Трезвый, практический, с волевым упорством и методичностью, он борется за производство, строит великую науку, колоссальную индустрию, могущественное государство. Надо всем начинает доминировать «воля к власти». Это путь, который в годы великой войны русская интеллигенция грубовато окрестила: от Канта к Круппу. Четыре года (1914—1918) сверхчеловеческого напряжения, и бисмарковский немец погиб. Его сменил немец Гитлера. Неврастеник, фантазер, разучившийся работать методически и отдавший во власть фантастической грезы. Судороги насилия он принимает за выражение силы и манию величия — за национальное самосознание. Теперь он презирует интеллектуальный труд и живет лишь пафосом войны. Из всего великого



прошлого Германии ему импонирует только «белокурый зверь» первобытного язычества. Как связать воедино эти три образа Германии? Признаемся в своем бессилии. Ясны те связи, которые идут от дедов к отцам и внукам: Германия Бисмарка живет капиталом мысли и трудолюбия, накопленным Михелем. Гитлер взял от отцов «волю к власти» и от дедов романтику иррационального. Но, глядя со стороны, эти три человеческих типа кажутся не имеющими ничего общего. Нужно время, которое успокоит бурю и выявит длительные, устойчивые черты на лице нации. Если... если только нация не погибнет, то есть не разрушится до конца то глубокое и неопределимое единство, которое мы называем немецким народом.

Но пример Германии скорее говорит — хотя и без особых убедительных доказательств — о прочности национального организма, переживающего бурные катастрофы и болезни роста. Однако судьба современной Европы может навести и на более пессимистические мысли о жизни и смерти наций. Можно говорить о постепенном вывертывании национального своеобразия почти у всех великих западных наций. Современная культура все более сливает многообразие европейских типов в один — европейский. Странно говорить об этом в эпоху обостренного национализма, когда народы Европы все повернулись спиной друг к другу. Но ненависть разделяет часто кровных братьев, ненавидят чаще свое, домашнее, современная национальная ненависть является отражением внутренних политических страстей. Ненависть направлена на народы фашистские, демократические, коммунистические, то есть, в конце концов, на внутренних врагов, на тот политический тип, который хотят истребить в своей собственной стране. Прибавьте противоречия интересов, действительные или мнимые, между государствами (а это не то же, что нации), психологию страха, злопамятства, реванша или самозащиты. Среди сил, разделяющих Европу, я не вижу противоречий национального духа. Вот уже целое столетие, как этот национальный дух разлагался капиталистической научной культурой, общей всему Западу. Более всего денационализации подверглись те классы, которые были носителями новой цивилизации: торгово-промышленная буржуазия, ученая и культуртрегерская интеллигенция, артистическая

богема — и, наконец, промышленный пролетариат. Национальное сознание хранилось древней и той большой литературой, которая жила традицией. Борьба между уходящей нацией и торжествующей Америко-Европой не кончена, но победа последней чрезвычайно ускорена революциями последних лет. При этом цели и лозунги революции безразличны: коммунизм в России и фашизм в Италии (я спрашиваю себя: и расизм в Германии?) имели одинаково денационализирующее действие на подвергшиеся им народы. Все новейшие революции создают один и тот же психологический тип: военно-спортивный, волевой и антиинтеллектуальный, технически ориентированный, строящий иерархию ценностей на примате власти. Этот тип человека есть последний продукт западной цивилизации, продукт перерождения буржуазного индивидуализма. В нем нет ничего русского, немецкого, итальянского. Особенно горестна и даже трагикомична судьба Италии. Италия дольше других наций сохраняла связь с землей, со средневековым прошлым, великим и своеобразным. Капитализм был бессилен стереть его черты. Понадобилось мнимонациональная революция Муссолини, чтобы уничтожить старый, благородный народ и превратить его в «потомка римлян», то есть в европо-американца. Характерно это равнодушие, с каким Муссолини разрушает средневековый Рим, чтобы обнажить излюбленные им остатки Рима античного. Но всякому известно, что императорский Рим не имел своей национальной культуры, что между древним Римом и современной Италией нет ничего общего; что наследие Рима досталось не Италии, а всей Европе и что, пожалуй, среди всех европейских наций на римское духовное наследие имеет больше прав Франция. Муссолини разрушил Италию совершенно так же, как Ленин Россию и, может быть, как Гитлер Германию.

Но судьба европейских наций еще не решена. Борьба не кончена; силы духовной реакции еще находят себе опору в пробуждении религиозного чувства, в исторической памяти и «регионализме». Воскрешение к жизни стольких малых наций гальванизирует и старые, одряхлевшие. Исход этого драматического процесса не ясен. Но в прошлом мы имеем примеры гибели наций. Среди них можно найти один необычайно поучительный — потому что он совер-

шился без катастроф, без завоеваний, с сохранением видимой непрерывности, языковой и политической. У нас видят в языке и государстве чуть ли не исчерпывающую характеристику нации. Ну так есть, или был, народ, который сохранил и язык, и государство, перестав быть самим собой. Я говорю о греках. Кто серьезно признает в современных греках соотечественников Перикла и Сократа? А между тем литературный язык их чрезвычайно близок к классическому. В Византии писали почти чистым греческим языком, конечно с легкими переменами в словаре, но не большими, чем это обычно в многовековой истории единого народа. Римская Империя, в составе которой жили классические греки со II века до Р.Х., не была разрушена. Государство, которое мы называем условно Византией, само себя называло Римской Империей. А между тем духовный тип византийского грека настолько далек от классического, что их можно просто считать антиподами. Как же, в какой момент времени совершилось перерождение классического типа? Для этого не надо было тысячелетия, процесс совершался гораздо более быстро, хотя и незаметно для современников. В III веке по Р.Х. греческая литература (Плотин) еще бесспорно принадлежит классической древности. В V веке столь же бесспорно — Византии. Перерождение произошло за одно столетие. IV век был временем принятия христианства и острой ориентации Империи. Этих двух чисто духовных факторов было достаточно, чтобы породить новый народ из элементов старого, при полном сохранении государства и языковой традиции. Явление поразительное и угрожающее для современной Европы и России. В особенности для России.

Россия переживает сейчас процесс, совершенно подобный константиновской Империи: перемену религии и острую окцидентализацию — в масштабе всенародном. Устоит ли в этом перерождении русский национальный тип — и при каких условиях? Вот вопрос, который нас мучит. Ответ на него может дать только будущее. Сейчас ясно лишь, что борьба за русскую душу не кончена. Может быть, она только еще начинается. Опасность несомненна и грозна. Но то живое, что долетает до нас из России, не дает права хоронить ее. Русская литература, как бы ни относиться к ней, все-таки русская, а не европейско-американская. И совсем уже русская — песня, ко-

тору там поют. Вот почему нельзя сплеча решать вопрос о гибели или перерождении русской нации, а следует более пристально вглядываться в происходящие там глубокие изменения. Полный смысл этих изменений там откроется в будущем. Сейчас мы можем лишь спрашивать себя, какие черты «русскости» погибли, какие сохранились в грандиозной катастрофе старой России.

## 3

Какими словами, в каких понятиях охарактеризовать русскость? Если бесконечно трудно уложить в схему понятий живое многообразие личности, то насколько труднее выразить более сложное многообразие личности коллективной. Оно дано всегда в единстве далеко расходящихся, часто противоречивых индивидуальностей. Покрыть их всех общим знаком невозможно. Что общего у Пушкина, Достоевского, Толстого? Попробуйте вынести общее за скобку — окажется так ничтожно мало, просто пустое место. Но не может быть определения русскости, из которого были бы исключены Пушкин, Достоевский и столько еще других, на них не похожих. Иностранцу легче охватить это общее, которого мы в себе не замечаем. Но зато почти все слишком общие суждения иностранцев отзываются нестерпимой пошлостью. Таковы и наши собственные оценки французской, немецкой, английской души.

В этом затруднении — по-видимому, непреодолимом — единственный выход — в отказе от ложного монизма и в изображении коллективной души как единства противоположностей. Чтобы не утонуть в многообразии, можно свести его к полярности двух несводимых далее типов. Схемой личности будет тогда не круг, а эллипсис. Его двоецентрие образует то напряжение, которое только и делает возможным жизнь и движение непрерывно изменяющегося соборного организма. Все остальное может быть сведено к одному из этих двух центров. В этом есть известное насилие над жизнью, но менее грубое, чем в монистических построениях. При более пристальном рассмотрении каждый из центров национальной души представится сам сложным многоединством. Его, в свою очередь, можно

разлагать на составные элементы. Пусть это рабочий прием, но прием, себя оправдывающий. Если он не удовлетворяет нашего — очевидно, неосуществимого — томления по духовно-национальному монизму (который может быть явлен лишь в последней гармонии Царства Божия), зато он хорошо объясняет природу исторического развития.

Если сейчас, в эмиграции, попросить кого-нибудь из рядовых беженцев дать характеристику «русскости», я уверен, что мы получим два прямо противоположных портрета. Стиль этих портретов нередко совпадает с политическим лагерем эмигрантов. Правые и левые видят совершенно иное лицо русского человека и лицо России.

Возьмем левый портрет. Это вечный искатель, энтузиаст, отдающийся всему с жертвенным порывом, но часто меняющий своих богов и кумиров. Беззаветно преданный народу, искусству, идеям — положительно ищущий, за что бы пострадать, за что бы отдать свою жизнь. Непримиримый враг всякой неправды, всякого компромисса. Максималист в служении идее, он мало замечает землю, не связан с почвой — святой беспочвенник (как и святой бесребреник), в полном смысле слова. Из четырех стихий ему всего ближе огонь, всего дальше земля, которой он хочет служить, мысля свое служение в терминах пламени, расплавленности, пожара. В терминах религиозных, это эсхатологический тип христианства, не имеющий земного града, но взыскующий небесного. Впрочем, именно не небесного, а «нового неба» и «новой земли». Всего отвратительнее для него умеренность и аккуратность, добродетель меры и рассудительности, фарисейство самодовольной культуры. Он вообще холоден к культуре как к царству законченных форм и мечтает перелить все формы в своем тигеле. Для него творчество важнее творения, искание важнее истины, героическая смерть важнее трудовой жизни. Своим родоначальником он чаще всего считает Белинского, высшим выражением (теперь) — Достоевского. Нетрудно видеть, что этот портрет есть автопортрет русской интеллигенции. Не всего образованного русского класса, а того «ордена», который начал складываться с 30-х годов XIX века.

Однако этот столь юный, последний в русской культуре, интеллигентский слой не лишен совершенно народных

корней — или, точнее, соответствий. Потому что здесь мы имеем дело не с прямым влиянием из народной глубины, а с темной, подсознательной игрой народного духа, которая в судьбе отщепенцев и мнимых апатридов повторяет черты иного, очень глубокого и вполне народного лица. Отщепенцы, бегуны, искатели, странники — встречаются не только на верху, но и в низу народной жизни. Их мы видим среди многочисленных сектантов, но также среди еще более многочисленного слоя религиозно обеспокоенных, ищущих, духовно требовательных русских людей. В них живет по преимуществу кенотический и христоцентрический тип русской религиозности, вечно противостоящий в ней бытовому и литургическому ритуализму. Эти кенотические силы народной религиозности были освобождены вместе с расколом XVII века, то есть вместе с утратой церковной цельности. Поиски духовного града начались вместе с сомнениями в безусловном православии московско-петербургского царства. Таким образом, и этот народный тип, столь ярко отраженный русской литературой XIX века, — сравнительно позднее образование — конечно, более старое, чем интеллигенция, но приблизительно совпадающее по времени с Империей. Это не значит, что у него не было истоков в Древней Руси — они были даны в кенотическом типе русской святости, — но в оторванности от почвы, в скитальчестве своем эта духовная формация принадлежит новейшей истории.

Любопытно, что у русской интеллигенции кроме народной параллели есть и другая, все отчетливее проявляющаяся к концу XIX века. Это параллель еврейская. Недаром, начиная с 80-х годов, когда начался еврейский исход из гетто, обозначилось теснейшее слияние русско-еврейской интеллигенции не только в общем революционном деле, но и во всех духовных увлечениях, а главное, в основной жизненной установке: в пламенной беспочвенности и эсхатологическом профетизме. Это была духовная атмосфера, в своей религиозной глубине напоминающая первохристианство, но, конечно, лишенная центрального стержня веры и потому способная рождать всевозможные, порой изуверско-сектантские уклоны. Русские реакционеры правы, когда сближают интеллигенцию с еврейством. Они лишь извращают историческую перспективу, делая еврейство соблаз-

нителем невинных русских юношей. Нет, орден русской интеллигенции давно сложился и вступил в единоборство с самодержавием, когда начался первый, сперва слабый, приток из гетто, притягиваемый духовным сродством. Это именно сродство заставляет близорукого западного наблюдателя рисовать «ame slave» в типично еврейских чертах. Если для многих сионистская работа в Палестине кажется делом русской интеллигенции, то Шпенглер — конечно, ненавистник ее — видит в кружках русской интеллигенции продолжение духа и традиции талмудистов. Да, был такой «особенный еврейско-русский воздух», о котором один еврейский поэт сказал: «Блажен, кто им когда-либо дышал».

И, однако, лишь иностранцу простительно не различать в единстве интеллигентско-сектантского типа славянские и семитические черты. Белинского не примешь за еврея, и о еврействе Достоевского Толстой, конечно, говорил в самом метафорическом смысле. Различие тонкое, но ощутительное, — скорее в стиле, в эстетической оправе, чем в этическом содержании, каковы и все почти национальные различия. Родство интеллигенции с народным сектантством — факт более привычный и сам по себе достаточный для того, чтобы этот интеллигентский тип сделать одной из исторических формаций русской души.

## 4

Я думаю, многие, и даже не из правых кругов, откажутся видеть в этом интеллигентском типе самое глубокое выражение русскости. И мне самому, когда я на чужбине стараюсь вызвать наиболее чистый образ русского человека, он представляется в иных чертах. Глубокое спокойствие, скорее молчаливость, на поверхности — даже флегма. Органическое отвращение ко всему приподнятому, экзальтированному, к «нервам». Простота, даже утрированная, доходящая до неприятия жеста, «Молчание — золото». Спокойная, уверенная в себе сила. За молчанием чувствуется глубокий, отстоявшийся в крови опыт Востока. Отсюда налет фатализма. Отсюда и юмор, как усмешка над передним планом бытия, над вечно суетящимся, вечно озабоченным разумом. Юмор и сдержанность сближают этот тип русско-

сти всего более с англо-саксонским. Кстати говоря, юмор, свойствен в настоящем смысле только англичанам и нам. Толстой и его круг — большой свет Анны Карениной — в Европе только в англо-саксонской стихии чувствуют себя дома. Только ее они способны уважать. Но, конечно, за внешней близостью скрывается очень разный опыт. Активизм Запада — и фатализм Востока, но и там и здесь буйство стихийных сил, укрощенных вековой дисциплиной.

Мы должны остановиться здесь, не пытаясь утончать нравственный облик этой русскости. Вообще, мне кажется, следует отказаться от слишком определенных нравственных характеристик национальных типов. Добрые и злые, порочные и чистые встречаются всюду, вероятно, в одинаковой пропорции. Все дело в оттенках доброты, чистоты и т. д., в «как», а не «что», то есть скорее в эстетических, в широком смысле, определениях. Добр ли русский человек? Порою — да. И тогда его доброта, соединенная с особой, ему присущей, спокойной мудростью, создает один из самых прекрасных образов Человека. Мы так тоскуем о нем в нашей ущербленности, в одержимости всяких, хотя бы духовных, страстей. Но русский человек может быть часто жесток — мы это хорошо знаем теперь, — и не только в мгновенной вспышке ярости, но и в спокойном бесчувствии, в жесткости эгоизма. Чаще всего он удивляет нас каким-то восточным равнодушием к ближнему, его страданиям, его судьбе, которое может соединяться с большой мягкостью, поверхностной жалостью даже (ср. Каратаева). Есть что-то китайское в том спокойствии, с какой русский крестьянин относится к своей или чужой смерти. Эта мудрость выводит нас за пределы христианства. Толстой глубоко чувствовал дочеловеческие, природные корни этого равнодушия («Три смерти»). Нельзя обобщать также и волевых качеств русского человека. Ленив он или деятелен? Чаще всего мы видели его ленивым; он работает из-под палки или встряхиваясь в последний час и тогда уже не щадит себя, может за несколько дней наверстать упущенное за месяцы безделья. Но видим иногда и людей упорного труда, которые вложили в свое дело огромную сдержанную страсть: таков кулак, изобретатель, ученый, изредка даже администратор. Рыхлая народная масса охотно отдает



руководить собой этому крепкому «отбору», хотя редко его уважает. Без этого жестко-волевого типа создание Империи и даже государства Московского было бы немыслимо.

Заговорив о Московском государстве, мы даем ключ к разгадке второго типа русскости. Это московский человек, каким его выковала тяжелая историческая судьба. Два или три века мяли суровые руки славянское тесто, били, ломали, обламывали непокорную стихию и выковали форму необычайно стойкую. Петровская Империя прикрыла сверху европейской культурой Московское царство, но держаться она могла все-таки лишь на московском человеке. К этому типу принадлежат все классы, мало затронутые петербургской культурой. Все духовенство и купечество, все хозяйственное крестьянство («Хорь» у Тургенева), поскольку оно не подтачивается снизу духом бродяжничества или странничества. Его мы узнаем, наконец, и в большой русской литературе, хотя здесь он явно оттеснен новыми духовными образованиями. Всего лучше отражает его почвенная литература — Аксаков, Лесков, Мельников, Мамин-Сибиряк. И, конечно, Толстой, который сам целиком не укладывается в московский тип, но все же из него вырастает, его любит и подчас идеализирует. Каратаев, Кутузов, Левин-помещик — все это москвичи, как и капитан Миронов и Максим Максимович — пережившие петровский переворот московские служилые люди. Николаевский служака, которому так не повезло в обличительной литературе, представляет последний слой московской формации. Мы встречаем его и на верхах культуры: Посошков, Болотов (мемуарист), семья Аксаковых, Забелин, Ключевский и Менделеев, Суриков и Мусоргский — берем имена наудачу — все это настоящие москвичи. Здесь источник русской творческой силы, которая, однако же, как и все слишком национальное («истинно русское»), не лишена узости. Узость Толстого и Мусоргского может принимать даже трагические формы.

## 5

Таковы два полярных типа русскости, борьба которых главным образом обусловила драматизм XIX века. В них

можно видеть выражение основного дуализма, присущего русской душе. Но это лишь последнее во времени, исторически обусловленное выражение этого дуализма. В культурных напластованиях русской души это ее московский слой и тот последний, «интеллигентский», который рождается с 30-х годов прошлого века. Но этот исторический подход к проблеме русской души сам по себе уже указывает на необходимость выйти за пределы установленного нами дуализма. Между Москвой и интеллигенцией лежит Империя. Да и не с Москвы началась Россия. Где же среди нас русский человек Киево-Новгородской Руси?

Когда мы, вслед за Достоевским и ориентируясь на Пушкина, повторяем, что русский человек универсален и что в этом его главное национальное призвание, мы, в сущности, говорим об Империи. Ни московскому человеку, ни настоящему интеллигенту не свойственна универсальность. Но Петровская реформа действительно вывела Россию на мировые просторы, поставив ее на перекрестке всех великих культур Запада, и создала породу русских европейцев. Их отличает прежде всего свобода и широта духа — отличает не только от москвичей, но и от настоящих западных европейцев. В течение долгого времени Европа как целое жила более реальной жизнью на берегах Невы или Москва-реки, чем на берегах Сены, Темзы или Шпрее. Легенда о том, что русский человек необыкновенно способен к иностранным языкам, создана именно об этой имперской, дворянской формации. Простой русский человек — москвич, как и интеллигент — удивительно бездарен к иностранным языкам, как и вообще не способен входить в чужую среду, акклиматизироваться на чужбине. Русский европеец был дома везде.

За два века своего существования он нам знаком в двух воплощениях — скитальца и строителя. Противоречие между всей шкалой оценок старой русской и новой западной жизни рождает скептицизм, поверхностность или преждевременную усталость. Начиная с петиметров XVIII века, «душою принадлежащих короне французской», через Онегиных, Рудиных и Райских — цепь лишних людей проходит через русскую литературу. Еще недавно в них принято было видеть основное течение русской жизни. Это колоссальное недоразумение, род историко-литературной

абберации. Мы знаем и другой тип русского европейца — того, который не потерял силы характера московского человека, связи с родиной, а иногда и веры отцов. Именно эти люди строили Империю, воевали и законодательствовали, насаждали просвещение. Это подлинные «птенцы гнезда Петрова», хотя справедливость требует признать, что родились они на свет еще до Петра. Их генеалогия начинается с боярина Матвеева, Ордина-Нащокина — быть может, даже с Курбского. Их кульминация падает на век Александра. Тогда они занимали почти все правительственные посты, и между властью и культурой не было разрыва. Пушкин, «певец империи и свободы», был последним великим выражением этого имперского типа. Но он не исчез вполне и после николаевского разрыва между монархией и культурой. В эпоху великих реформ, на короткое время, европейцы опять стали у власти. Мы еще видели «последних могикан» в Сенате, в Государственном Совете, при двух последних императорах, когда, оттесненные от власти и влияния, они хранили свой богатый опыт, свою политическую мудрость — увы, уже ненужную для вырождающейся династии. Но ниже, в управлении и суде, во всех либеральных профессиях, в земстве и, конечно, прежде всего в Университете, европейцы выносили главным образом всю тяжесть мучительной в России культурной работы. Почти всегда они уходили от политики, чтобы сохранить свои силы для единственно возможного дела. Отсюда их непопулярность в стране, живущей в течение поколений испарениями гражданской войны. Но в каждом городе, в каждом уезде остались следы этих культурных подвижников — где школа или научное общество, где культурное хозяйство или просто память о бескорыстном враче, о гуманном судье, о благородном человеке. Это они не давали России застыть и замерзнуть, когда сверху старались превратить ее в холодильник, а снизу в костер. Если москвич держал на своем хребте Россию, то русский европеец ее строил. Но, в сущности, как мы сказали, творческий или трудовой тип европейца вырастал сам на московском корню. Пусть в жизни ему приходилось всего больше бороться с косностью и ленью москвичей, у него с ними была общность нравственного идеала, была общая любовь к родной стране и к ее «душе». История Ключевского и русская му-

зыка были его связью с Москвой. Там, где это выветривалось, европеец превращался в перекасти-поле, теряя способность к созидательной работе. При иных условиях он мог превратиться в интеллигента — это верхний, дворянский исток интеллигенции, весьма отличный от демократического. Но пока он стоял на трудовом посту, он был верен России и ее московскому завету служения. Как раз в начале XX века — с особой силой после первой революции 1905 года — русский европеец, человек культуры начал стремительно разрастаться за счет интеллигенции. Могло казаться, что ему принадлежит будущее. Судьба сулила иное...

## 6

Что в русском человеке отнести на долю «удельно-вечевой» Руси? Сознывая всю произвольность и даже фантастичность дальнейшего анализа, решимся все-таки сказать: ту сторону русской природы, которую мы называем ее «широтой», ее вольность, ее бунтарство — не идейное или сектантское бунтарство, — а органическую нелюбовь ко всякой законченности формы. Русское сердце и поныне откликается на древнюю русскую летопись, на «Слово о полку Игореве». Можно смело сказать, что не суровые строители земли, не государственные люди, а князья-витязи, Мстиславы Удалые, викинг Святослав, новгородская вольница — говорят всего непосредственнее русскому национальному чувству. Москве не удалось, как известно, до конца дисциплинировать славянскую вольницу. Она вылилась в казачестве, в бунтах, в XIX веке она находит себе исход в кутежах и разгуле, в фантастическом прожигании жизни, безалаберности и артистизме русской природы. В цыганской песне и пляске эта сторона русской души получает наиболее адекватное выражение. Если порою русский разгул бывает тяжел и мрачен — тут сказались и татарская кровь, и московский гнет, — то часто он весел, щедр, великодушен. Таков разгул Пушкина, соединявшего европеизм с русской вольной волей. Много талантливых русских людей стало жертвой своей природы (Ап. Григорьев), но до сих пор эта черта, если она хоть сколько-нибудь умерена дисциплиной и

культурой, неотъемлема от русского гения. «Люблю пьяных», — как-то против воли вырвалось у Толстого.

Мрачность и детскость и здесь поляризуют русскую волюность. И в детской резвости, в юношеской щедрости, в искрящемся веселье — русская душа, быть может, всего привлекательнее. Нельзя забывать лишь одного. Эта веселость мимолетна, безотчетная радость не способна удовлетворить русского человека надолго. Кончает он всегда серьезно, трагически. Если не остепенится вовремя (помосковски), кончает гибелью — или клобуком...

Возможно ли заглянуть еще глубже в русскую душу, за Киев и Новгород, за грани истории? Снимая, как с луковицы, слой за слоем культурно-исторические пласты, найдем ли мы в русском человеке основное, неразложимое ядро? Может быть, вопрос поставлен неправильно. Национальная душа не дана в истории. Этническая психея служит лишь сырым материалом для нее, да и психей этих множество: славяне, фины, турки — все отложились в русской душе. Нация не дерево и не животное, которое в семени несет все свои возможности. Нацию лучше сравнить с музыкальным или поэтическим произведением, в котором первые такты или строки вовсе не обязательно выражают главную тему. Эта тема иногда раскрывается лишь в конце. Может быть, XIX век более национален в этом смысле (как откровение слова), чем Киев или Москва. Нисколько не предполагая, чтобы в славянском язычестве была заложена идея русскости (где здесь отличие восточных славян от южных, то есть русских от болгар и сербов?), стоит все же всматриваться в эту таинственную глубину. Мы лучше всех культурных народов сохранили природные, дохристианские основы народной души. На дне величайших созданий русского слова открывается нечто общее с примитивом народного фольклора. Тютчев, Толстой и Розанов как бы дистиллируют, перегоняя в приборах высокого духовного напряжения, первобытную материю русского язычества.

Где искать ключа к нему? В этой статье мы не можем идти дальше намеков, первых ступеней, ведущих в подземные галереи русской души. Недавно В. В. Вейдле («Совр. зап.» № 64)<sup>1</sup> пытался нащупать — правильно, по-моему, — эту русскую стихию в родном начале. Русский славянин и

1 Ср. также мой опыт «Стихи духовные». YMCA-Press, 1935.

в XIX веке еще не оторвался вполне от матери-земли. Его сращенность с природой делает трудным и странным личное существование. Природа для него не пейзаж, не обстановка быта и, уж конечно, не объект завоевания. Он погружен в нее, как в материнское лоно, ощущает ее всем своим существом, без нее засыхает, не может жить. Он не осознал еще ужаса ее безжалостной красоты, ужаса смерти, потому что в нем нечему умирать. Все то, что в человеке есть ценного и высокого, — это общее, родное, неистребимое. А личное не стоит бессмертия. Моральный закон личности, ее право на свою совесть, на свое самоопределение просто не существует перед законом ж и з н и. В нравственной сфере это создает этику мира, коллектива, круговой поруки. В искусстве — громадную чувственную силу восприятия и внушения (от Геи-земли), при большой слабости формы, личного творческого замысла. В познании, разумеется, — иррационализм и вера в интуицию. В труде и общественной жизни — недоверие к плану, системе, организации и т. д., и т. д. Славянофильский идеал — при всем своем сознательном христианстве — весьма сильно пропитан этими языческими переживаниями славянской психеи. Зато и в народном быте она нам дана уже сущностью православия. На самом деле она ничего общего с христианством не имеет и уводит нас скорее далеко на Восток. Еще шаг, и мы уже в Индии с ее окончательным провалом личности.

Но можно спросить себя: где же в этой исторически-слоевой схеме русской души ее христианский, православный слой? Но все дело в том, что и этот слой не один, и есть столько же типов русского христианства, сколько исторических типов русского человека, а может быть, и еще больше. Если каждый народ по-своему переживает христианство, то и каждый культурный слой народа имеет свой ключ к христианству или по крайней мере свои оттенки. Впрочем, в русской душе не приходится говорить об оттенках: все противоречия ее встают в необычайной обостренности. Попробуйте выразить одной формулой религиозность преп. Сергия и прот. Аввакума, митр. Филарета и Достоевского. А что, если прибавить сюда православный фольклор и религию Толстого?

Есть мнение, широко распространенное, что русский народ отличается от других народов Европы особой силой

своей религиозности. На самом деле это впечатление объясняется тем, что XIX век застает Россию и Европу на разных актах религиозно-исторической драмы. В России — в народных слоях ее — средневековье удержалось до середины XIX века. Европа XIV—XV столетий представляла бы более близкую аналогию императорской России. Но зато и крушение русского средневековья особенно бурно и разрушительно. В отношении к религии масс и интеллигенции сейчас уже нет заметной разницы между Россией и Европой.

Такова наша схема. Грубая и недостаточная, как и все схемы вообще. Ее можно усовершенствовать, развивая в деталях. Но тогда, пожалуй, лес исчезнет за деревьями. Думается, что для поставленной нами цели — для определения предпосылок пореволюционной культуры, историческая схема русского человека плодотворнее, экономичнее «онтологических» или «феноменологических» схем. Ее достоинство по крайней мере в том, что она не грешит всегда соблазнительным монизмом.

## 7

Теперь мы можем подойти к ответу на основной вопрос: что, какие исторические пласты в русском человеке разрушены революцией, какие переживут ее? Ответ, в сущности, ясен из предыдущего. Истребление старого, культурного слоя и уничтожение источников, его питавших, должно было снять в духовном строении русского общества два самых верхних его слоя. Имперский человек и интеллигент погибли вместе с «буржуазией», то есть с верхним этажом старого общества. Что касается имперского типа, человека универсальной культуры, то остатки его еще сохраняются в рядах «спецов». С некоторого времени власть спохватилась, что истребление высшего культурного слоя наносит непоправимый урон технике. За оставшимися стариками стали ухаживать. Но в них ценили именно узких специалистов: как выразился один неглупый человек, заколачивали гвозди золотыми часами. Их широкая культура, никому не нужная, даже оскорбительная для нового правящего слоя, доживает в пределах чрезвычайно малых кружков и даже семейств. Но-

вый образованный класс дает исключительно спецов, лишенных часто самых элементарных основ общей культуры (даже грамотности). С другой стороны, никогда, со времен Московского царства, Россия не была отгорожена от Европы такой высокой стеной. Эта стена создана не только цензурой и запретом свободного выезда, но и необычайным национальным самомнением, прямым презрением к буржуазной, «догнивающей» Европе. В этом существенная разница между полуграмотной, технической интеллигенцией Петра и такой же интеллигенцией Сталина... Сталинская повернулась спиной к Европе и, следовательно, добровольно пресекла линию русского «универсального» человека.

Сложнее была судьба интеллигенции в узком смысле слова. Прежде всего этот класс, во всей ярости своего необычайного типа, не дожил даже до революции. После 1905 года он быстро разлагался, сливаясь с «культурным» слоем. Он не мог пережить крушения политической мистики, профанированной жалким русским конституционализмом; новая блестящая религиозно-философская культура русского ренессанса XX века, лишенная всякого этического пафоса, деморализовала его своими соблазнами. Война вовлекла его в поток нового для него национального сознания. В 1917 году революционный энтузиазм интеллигенции был подогретым блюдом. Его корни были неглубоки, и объем этой социальной группы — единственный, на которую могло вполне опереться Временное правительство, — очень сжался. Октябрьский переворот ударил по ней всей своей тяжестью. Принципиальные, непримиримые — они никак не могли принять торжествующего насилия. Неудивительно, что в борьбе с ним они истекали кровью. Уцелевшие были выброшены в эмиграцию, заполнили советские тюрьмы и концлагеря. Немногие сумели приспособиться к условиям советской службы и, превратившись в спецов, утратили постепенно всякое орденовое обличье. Мельница звериного быта молола неумолимо. С волками жить — по-волчьи выть. Кто не мог приспособиться, выбрасывался из жизни. Новая интеллигенция, приходящая на смену, органически предана советскому строю, чувствует свою кровную связь с народом и с правящим классом, а потому даже в оппозиционности своей — скажем даже, предвосхищая будущее, даже в революционной борьбе с властью — не мо-



жет переродиться в тот беспочвенно-идейный, максималистический и эсхатологический тип — не говоря уж об ордене, — который мы называем русской интеллигенцией.

Однако этот погибший тип не остался вовсе без преемника. Сектантство и духовное странничество не умерли в народе, как об этом свидетельствует настойчиво безбожная пресса. Революция вызвала к жизни даже новые сектантские — почти всегда эсхатологические — образования. С другой стороны, часть старой интеллигенции нашла свою духовную почву в Церкви. Здесь последние остатки разбитого ордена могли утолить свою духовную жажду из того источника, который тайно и породил ее. В Церкви они сохранили, конечно, свои психологические черты: беспокойство и максимализм, жажду целостной, святой жизни. Здесь они оказались на одной почве с народным странничеством. Нужно помнить, что духовные границы между Церковью и сектантством после революции пролегают иначе, чем прежде. Гонения сблизили, психологически, разные исповедания. То, что осталось от старого ордена, — есть фермент для брожения всей религиозной массы. Но пока эта сила совершенно выброшена из культурного строительства или добровольно ушла из него. Для сегодняшнего дня русской культуры можно считать интеллигентский тип совершенно вымершим.

Остается московский человек с его непреодоленными, в нем живущими предками. Народные массы, из которых продуцируется в советской школе новый человек, до самого последнего времени жили в московском быте и сознании. Самая радикальная идеологическая катастрофа не в силах пересоздать душевного склада. В интернационалисте, марксисте и т. д. — кто бы он ни был — нетрудно узнать деревенского и рабочего парня, каким мы помним его в начале века. Как ни парадоксально это звучит, но *homo Eugoraeo-Americanus* оказывается ближе к старой Москве, чем к недавнему Петербургу. Парадокс разрешается очень просто. *homo Eugoraeo-Americanus* менее всего является наследником великого богатства европейской культуры. Придя в Европу в период ее варваризации, он усвоил последнее, чрезвычайно суженное содержание ее цивилизации — спортивно-технически военный быт. Технический и спортивный дикарь нашего времени — продукт распада

очень старых культур и в то же время приобщения к цивилизации новых варваров. Москвичу, благополучно отсидевшемуся в русской деревне от двухвековой имперской культуры, не нужно делать над собой никакого нравственного насилия, чтобы идти в ногу с еропейцами, проклявшими как раз последние века своей культуры. Удивительнее может показаться легкость религиозного отречения. Но это особая, очень трудная тема. В остальном московского парня нужно было только размять, встряхнуть хорошенько, погонять на корде, чтобы сбить с него старую лень и мешковатость. То, что делала с новобранцем старая казарма, то делают теперь партия и комсомол: тренируют увальней и превращают их в дисциплинированных солдат. Для дисциплины — особенно военной — московский человек дает необыкновенно пригодный материал. Из него строилась старая, императорская армия, лучшая в мире, быть может, по качеству своей «живой силы». Вековая привычка к повиновению, слабое развитие личного сознания, потребности к свободе и легкость жизни в коллективе, «в службе и в тягле» — вот что роднит советского человека со старой Москвой. Москва была не бедна социальными энергиями — скорее наоборот, они заглушали в ней все личное: недаром государственное хозяйство Москвы носило полусоциалистический характер. Теперь Сталин и сознательно строит свою власть на преемстве от русских царей и атаманов. Царь-Пугачев... Перенесение столицы назад в Москву есть акт символический. Революция не погубила русского национального типа, но страшно обеднила и искалечила его.

Русская вольница, конечно, неистребима. Жила она в царской Москве, живет и в сталинской. Она прошумела бунтом первых лет революции, она кричит о себе разгулом, все время подрывающим основы коммунистической дисциплины, она живет в беззаветной удали русских летчиков, полярных исследователей. Все то, чем красна сейчас русская жизнь и русское искусство, напоминает о героических веках русского прошлого. Русская вольность — не то что свобода, но она спасает лицо современной России от всеобщего и однообразного клейма рабства. Натуры сильные ищут и находят выход своим силам. Наличие этих сил может давать надежду — сейчас еще далекую — на освобождение.

Но сохранились ли самые глубокие — славянско-языче-

ские пласты русской души? Этого мы не знаем. Могучий процесс рационализации убивает безжалостно все подсознательно-стихийное, засыпает все глубокие колодцы, делает русского человека поверхностным и прозрачным. Но до конца ли? Нет ли таких медвежьих углов, где еще живут старые поверия, не порвалась древняя связь с землей? Ведь сохранилось же знахарство и шаманство — о чем нам время от времени сообщает советская этнография. Почему же не сохраниться более смутным и тонким комплексам родовой пантеистической душевности? Знаем, что кое-что сохранилось, что недаром пишет Пришвин, — кто-то должен сочувственно читать его. Но не знаем, достаточно ли это сохранившееся, чтобы по-прежнему питать большую русскую литературу. Ибо в этом вся значительность этого темного, русского пятна. Исчезнет оно, и русская литература, может быть, навсегда утратит свои подземные ключи, свою глубину. Лишенная чувства формы, она никогда не сможет стать чем-либо, подобным латинскому и французскому гению — культурой законченного совершенства. Ее путь другой. Даже духовная глубина Достоевского приоткрывает карамазовскую и шатовскую глубину — земли...

К сожалению, наш вопрос остается без ответа. И на этом безответном вопросе мы должны поставить точку — или многоточие — в предварительных поисках пореволюционного человека как основы будущей русской культуры.

## ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ (Письма о русской культуре)

### 1

На чем основано убеждение многих из нас, что на другой день после революции русская культура должна пережить небывалый расцвет? На анализе настоящего, на исторических аналогиях? Или на любви, которая «всему верит», которая живет мифами — мифами прошлого и будущего, на вере в чудо, которая одна, для слабых душ, способна дать силы жить?

Кажется, довольно мы жили иллюзиями и дорого заплатили за них. Если все пережитые испытания, гибель нашей России и нашей Европы не способны излечить нас от иллюзий, значит, зря мы были приглашены на «пир небожителей». Ничего не забыли, ничему не научились. Иллюзии двигают миром? Да, бесспорно. Но на его погибель. Сейчас, куда ни посмотришь, видишь марширующие миллионы, готовые поджечь мир с четырех концов и уже начавших грандиозное разрушение во имя соблазнительной и лживой мечты. Они все в бреду великих иллюзий, во власти мании величия. Конечно, истина тоже нуждается в батальонах, которые сражались бы и умирали за нее. Но вера, движущая ее бойцов, иного качества. *Jeunesse catholique* чем-то в духовном складе, а не только в содержании *credo*, отличается от молодежи коммунистической или фашистской. На кого же будет похожа наша, национальная и православная, молодежь, которая примет участие в строительстве России? Это вопрос решающий для ее будущего. Россия ждет от нас зрячей, трезвой любви. К тому же трезвость — одно из лучших качеств великоросса, москвича, который сейчас, как мы старались показать в предыдущем письме<sup>1</sup>, становится хозяином русской жизни.

1 Русские записки. 1938. № 3.

Итак, исторические аналогии, анализ настоящего? Что касается аналогий, я боюсь, что нас еще дразнит болотный огонек французской революции. Видя блестящий расцвет французской культуры с двадцатых годов XIX века, мы склонны объяснять его влиянием пережитой катастрофы. Мы говорим: революция освобождает скованные силы. Старый режим, не будучи, может быть, столь жестоким, как думали революционеры, своей инерцией, ленью и словесными привилегиями глушил народные силы. Освобождение гражданина стало освобождением и таланта. С другой стороны, те героические страсти, которые революция разбудила в своих сынах, не потухли бесплодно: они, сублимируясь, «переключились» в высшие сферы: романтической поэзии, истории, социологии.

Боюсь, что это представление покоится тоже на иллюзии.

Между революционным пожаром и культурным расцветом эпохи Реставрации лежит духовная пустыня: Империя. При Наполеоне литература была скована так, как никогда в старой монархии. Свободой пользовался собственник и предприниматель, а не мыслитель и художник. И, что, пожалуй, еще хуже, страна не ощущала потребности в иной свободе: поэзия и мысль, за ничтожными исключениями, как будто были парализованы. Если отвлечься от грома военных побед, Франция жила внутренними процессами буржуазного накопления. То были безличные, серые будни, в которых «трудились» разные Горио и Гранде.

Воскресение французской культуры было связано совсем не с революционной бурей, а скорее с ее отрицанием — с той огромной духовной реакцией против XVIII века, которая носит общее имя романтизма. Чтобы быть совсем точным, своеобразие и сила французского XIX века заключается в борьбе и синтезе идей реакции и революции, романтизма и просвещения. Уже Сен-Симон (его ученик Конт) выступают с планом синтетической конструкции, где рационализм XVIII века уживается с преклонением перед католичеством и «органическими» основами средневековья. А дальше новая волна, тоже двухсоставная: революционный романтизм, Гюго, Ламеннэ... Но почти все революционеры 30-х годов начинали с «ультра» романтической и католической реакции. Именно она дала им ту

пламенную страсть, которой была лишена потухшая и превратившаяся в быт революция.

Нет, аналогия французской революции не за нас. Ну а сама русская действительность? Что говорит анализ настоящего в смысле возможных прогнозов?

Было время, когда действительность давала веские основания для надежд. В самый разгар гражданской войны и свирепейшего террора в стране горела духовная жизнь. В эпоху нэпа это напряжение вылилось в значительную литературу, может быть переоцененную нами, но которая, конечно, не имеет себе равной в революции французской. Поэты старой России и новые писатели, вышедшие из народа, сливались в общем мажорном ощущении жизни. Буря событий захватила их, как дионисическое опьянение. Жизнь казалась чудесной, всеобещающей. Весело шагали по трупам — навстречу какому-то сияющему будущему. За литературой, театром — вставали массы, жадно рвущиеся к просвещению, наполнявшие залы популярных лекций, аудитории рабфаков. Жизнь была неприглядна, голодна и дика, насилие торжествовало повсюду, но, глядя на эти честные, взволнованные лица молодых и стариков, впервые дорвавшихся до культуры, хотелось верить в будущее. Увы, теперь от этих надежд мало что осталось.

Уже в годы нэпа волна пошлости и стяжательства нахлынула, затопляя бескорыстный идеализм «света и знания». Но во второе, сталинское, десятилетие от этого идеализма уже ничего не осталось. Сперва он был переключен на техническое поле строительства, на военный энтузиазм; на парашютничество, полярный миф и прочее. Но чем дальше, тем больше романтизм техники уступает место делачеству, устройству личной карьеры. Лозунг «счастливой жизни» отразил второе спадение идеалистической волны, которое кажется окончательным. То, что наступило потом, — массовый террор, ликвидация коммунистической идеологии, всеобщее подхалимство и рабство, — какая культура возможна в этом отравленном воздухе? И мы видим: советская литература кончается, удушенная, обескровленная, за отсутствием какой бы то ни было свободы и творческой воли к жизни.

Что это? Неужели Сталин, один Сталин сумел так изгадить, засорить все ключи жизни, заболотить все революци-

онные воды? Как бы ни была велика личная вина этого отверженного человека, позволительно выразить убеждение, что и без Сталина этот результат был предопределен характером русской революции и ее господствующей идеологии.

Свобода никогда не была основной темой русской революции. В большевизме она превратилась в ее прямое отрицание. Французская революция могла на годы, на десятилетия тиранически попираť свободу, сперва в ярости, потом в утомлении гражданской войны. Важно было то, что она ее провозгласила. Именно пафос освобождения вызвал во Франции, да и во всей Европе на рубеже XIX-века тот духовный взрыв, который был одним (одним только!) из элементов культурного возрождения начала века. Социализм исходит из частичного отрицания свободы — свободы экономической. Его тема — не свобода, а организация, то есть порядок. Русский большевизм вообще понял социализм как тоталитарное огосударствление жизни. Свобода была и остается для него главным, смертельным врагом. Поэтому-то Октябрьская революция оказалась не освобождением, а удушением культуры.

Вначале это могло казаться не так. Массы, участвовавшие в революции, действительно переживали праздник освобождения. Их свобода была двусмысленна и не имела никакого отношения к свободе мысли, слова, культуры. Это свобода от господ, от самого существования господ с оскорбительным сознанием социального неравенства. Говоря по-русски, воля, а не свобода. Но воля как стихийное буйство разлившейся жизни — она была, и она несла, как буря на парусах, тех, кто ей отдавался, кто мог, как Блок, «слушать революцию». Отсюда вещая значительность конца десятих и культурный подъем двадцатых годов в России нэпа. Но постепенное большевизм осуществил свои потенции: прибрал к рукам, «организовал» все духовное хозяйство. С 1922—1923 года марксизм становится обязательным в науке, с тридцатых годов — сталинизм в литературе. Там, где организация побеждала, наступала медленная смерть от удушения. И сейчас Россия — духовная пустыня. Такой результат неизбежен во всяком тоталитарно-тираническом государстве, какова бы ни была идея, положенная в его основу. В России такой идеей оказался марксизм. Я сомневаюсь, чтобы марксизм, даже в условиях наиболее благопри-

ятных, в обстановке совершенной свободы, мог лечь в основу значительной культуры. Какова бы ни была его ограниченная ценность в политической экономии и в социологии, в нем совершенно отсутствует тот воздух, в котором может дышать человеческая личность. Марксизм культурно возможен как прививка к чему-то иному: даже у Маркса — к его классическому и гегельянскому гуманизму. Страна, всерьез сдававшая марксизм единственной основой воспитания, превращается в «собачью пещеру», где могут выживать только низкие ростом.

Я не закрываю глаз на то, что русский большевизм, в особенности сталинизм, весьма далеко уклонился от настоящего марксизма. Чрезвычайно огрубляя его, с другой стороны, ассимилировал его с иными, чуждыми ему, хотя столь же элементарными идеями: с философским волюнтаризмом, с культом вождей — в последней редакции, даже с великорусским национализмом. Это дало возможность дышать и в собачьей пещере, — но все же каким спертым воздухом! Жизнь возможна и в России, но какая убогая! О культурном расцвете в странах марксизма нельзя и мечтать.

Но марксизм был и сойдет. Много ли уже сейчас от него осталось? Он отравил духовным туберкулезом одно поколение — лет на пятнадцать, — но это поколение еще не вся Россия. Правда, это поколение первенцев революции, самое горячее, активное — ему ли, казалось, не лежить, не оформлять податливой, пластичной массы, растопившей все старые формы быта и жаждущей новых? Новое творчество жизни оказалось бездарным, и вместе с тем лживым и порочным — весь духовный профетизм революции. Да, но это для первого поколения. Освободившиеся или освобождающиеся от марксизма октябрюта революции — они-то могут уже работать? Нет, ибо за сменой всех идеологий русской революции — бывших и будущих — остается ее фон: тоталитарной несвободы. В этом удушающем рабстве, в той легкости, с которой народ это рабство принял (он называл его в первое время свободой), не один лишь общий закон революционного процесса: от анархии — к деспотизму. Здесь сказывается московская привычка к рабству, культура рабства в московские и петербургские столетия истории. В свободе нуждалась, свободой жила интеллигенция, которая вместе с дворянством была выжжена революцией.



Москвич, пришедший ей на смену, никогда не дышал свободным воздухом: состояние рабства — не сталинского, конечно, — является для него исторически привычным, почти естественным.

Мы часто говорим о национализации русской революции. Но что это значит? Это значит, что в ней победил не Ленин и не Бакунин, боровшиеся друг с другом первые годы, а Иван Грозный. Сталин и есть перевод его на современность.

## 2

Духовная бескрылость, бездарность русской революции может доставлять злорадное удовольствие всем ее врагам. Но это факт глубоко печальный для русского народа и его будущего. Потому что это будущее кипит в котле революции. Потому что долго еще поколения, идущие нам на смену, будут нести ее печать. Нелегко будет стереть ее — да, можно спросить себя, удастся ли это когда-нибудь до конца?

Ну а как обстоят дела с нашей реакцией — с тем другим духовным источником, который должен питать наше будущее? Потому что нельзя забывать: реакции бывают жизненные, глубокие, плодотворные. Общественные реакции как бы существуют для того, чтобы дух, утомленный и разочарованный злой суетой настоящего, мог произвести свой *examen de conscience*, углубиться в себя и выносить в своих недрах новую творческую идею грядущего. В борьбе этой идеи с торжествующей, но уже изношенной идеей настоящего и задан духовный контрапункт эпохи.

Наша реакция? Нельзя не удивляться и не огорчаться ее духовным бессилием. Нас не удивляет бездарность революции: чего и ждать от учеников Ленина? Но здесь, в эмиграции, собраны — мы любим повторять — лучшие силы русской интеллигенции. Вся их энергия сосредоточена на одном помысле — на отрицании революции. И эта революция так уязвима: ее неправда и ложь самоочевидны. Почему же критики едва поднимаются над уровнем злобы дня? А там, где она решается на обобщения, она не выходит из повторения общих мест.

Мне кажется, разгадка этой бескрылости русской реакции заключается именно в том, что она давно уже сказала

свое слово и теперь ей остается лишь повторять самое себя. Парадоксальность положения состоит в том, что у нас реакция предшествовала революции, против которой она направлена. Это оказалось возможным потому, что замысел революции был выражен задолго до ее осуществления. И не только замысел, но и революционное движение. В этом огромное наше отличие от революции французской, совершенно импровизированной, творимой по вдохновению и страсти. У нас революционная мысль исчерпала себя задолго до возможности воплощения. Подобно романтической девочке, истощившей все свои силы в книжной, вымышленной любви, русская революционная интеллигенция растратила свое вдохновение задолго до решительного часа истории. Ее зенит падает на семидесятые годы. Но то же самое можно сказать и о ее отрицательном спутнике. Зенит реакции падает на восьмидесятые годы. Она была далеко не бедна духовно, наша реакция. От Тютчева (и даже Пушкина) через Достоевского к Леонтьеву и Розанову — мы имеем блестящий ряд мыслителей, каждый из которых дал свой ответ на замысел, если не на действительность, русской революции. Эти ответы — мы их знаем наизусть. С начала XX века русская интеллигенция, даже революционная, совершила над собой чудо самоотречения. Она воскресила своих врагов и приняла в свое сердце большую долю их стрел. Значительная часть контрреволюционной критики давно уже вошла в само революционное сознание — за исключением большевиков, конечно. Вот почему нашему поколению, несмотря на все ужасы, которые мы видим своими глазами, по существу отрицания революции уже нечего сказать.

Я не забываю, что кое-что эмиграция все-таки дала. (Нам приходится говорить только об эмиграции, так как реакции внутрироссийской мысли мы не знаем.) Это новое исчерпывается несколькими книгами религиозной философии и — евразийством. Впрочем, религиозная философия наша представляет прямое продолжение дореволюционной традиции, слишком резко оборванной грубой рукой: то есть и это не совсем новое. Евразийство — явление действительно новое. Теперь, когда оно как политическое течение умерло, можно беспристрастно оценить тот вклад в науку о России, который оно внесло. Даже не сочувствуя вполне его слишком

прямолинейным суждениям и прямым историческим ересям, нужно признать значительность новых проблем, поставленных им. Но если евразийство — единственный путь русской реакционной мысли на революцию, — то это все же не много: это не соответствует грандиозности исторического феномена революции, хотя, конечно, и превышает намного культурное убожество этого феномена.

Русская революция и русская реакция — обе были разогретым блюдом, явлениями запоздалыми, давно уже изжитыми русским самосознанием. Даже специфическая идеология большевистской революции — марксизм — была сполна изжита в девяностые годы, когда русский марксизм дал действительно много ценных теоретических трудов и вообще был самым творческим сектором социалистической Европы. Старая болезнь русской интеллигенции — разорванность бытия и сознания, жизнь в двух планах, которая раньше создавала гамлетов и доктринеров, теперь отомстила за себя безмыслием и бескультурностью политического дела.

Но это было бы с полбеды, если бы политика оставила культуру в покое; мудрецы могли бы на время предоставить историческую авансцену бандитам и удалиться «в катакомбы, в пещеры». Однако тоталитарная политика преследует их и под землей, тащит на площадь, требует от них всенародного унижения истины: не только предательства, но и пошлости. Дематоги от интеллигенции изготовления отвратительных помоев, которыми они кормят обращенных в свиней обитателей счастливых островов Цирцеи. Одни ли большевики? Увы, эта духовная болезнь (в Германии она называется «политизацией») оказывается чрезвычайно заразной; идя с Востока, как чума, она захватила пол-Европы. Но, может быть, сама Россия, заразив весь мир и перестрадав свое, приобретает иммунитет? Может быть, освободившиеся от большевиков поколения отшатнутся от всяких форм тоталитарного насилия над духом, возжаждя свободы? Это большой вопрос, может быть, самый основной вопрос русской судьбы. Не имея на него точного ответа, мы можем искать лишь элементов решения.

Оглянемся вокруг нас. Мы живем среди людей, сделавших из отрицания большевизма свое *profession de foi*. Людей, которые надеются принять участие в строительстве русской культуры — сами или в лице своих детей. И что же? Политизация свирепствует вокруг, быть может, с не

меньшей силой, чем в России или в Германии. Люди живут идеей — *idée fixe* — политической борьбы с большевизмом, подчиняя все остальные ценности, даже самые духовные, этой борьбе. В политическом утилитаризме мы не уступаем шестидесятникам. Какое там! В сущности, многие из нас вполне готовы к тоталитарному строю — только, конечно, не коммунистическому. Для многих важнее не свобода, а символы, во имя которых попирается свобода. Они предпочитают символ нации символу пролетариата, двуглавый орел — серпу и молоту. Вот и все. В этом смысл 1933 года. Пришествие к власти Гитлера было для русской эмиграции суровым испытанием. Приходится сознаться, что в целом она его не выдержала. Тот восторг, с которым многие следят за успехами Гитлера, еще более широкая популярность Муссолини доказывают, что не свобода привела в изгнание сотни тысяч эмигрантов. Борьба идет не за свободу, и даже не за Россию, а за с в о ю Россию, Россию своих воспоминаний и грез — против России сегодняшнего дня. Поразительно, что с тех пор, как Сталин объявил себя русским националистом и принялся казнить большевиков, он приобрел даже популярность среди части — правда, немногочисленной — русской эмиграции. Та необычайная по гнусности атмосфера, которая сейчас царит в России, не прекратила тяги к возвращению. Молодые «патриоты», для которых принципиально нет ничего выше нации, едут, или готовы ехать, в царство опричнины, не смущаясь кровавым насилием, которое там составляет закон обыденности.

Мы не знаем, что происходит там, в самой России, в глубине задавленных человеческих душ. Но не будет слишком смелым предположить, что и там невыносимые страдания и бессилие вызывают те же реакции. И там должны быть люди, мечтающие о Гитлере — своим или чужом — не освободителе, а мстителе. Повторяющие старую, такую русскую, хотя и в украинской транскрипции, пословицу: «Хоть гирше, та инше». Пусть большинство не желает — наверное, не желает — никакого тоталитаризма, пресытившись одним до тошноты. Но едва ли оно, воспитанное в рабстве, сумеет дать отпор меньшинству, которое пожелает навязать ему «инший» вид тоталитарного рабства. Не нужно забывать, что советский актив не знает и не хочет знать

никаких форм свободной культуры; что для него невообразима сама идея открытого противоречия, борьбы взглядов; что даже для беглецов из ада европейская свобода печати кажется непонятной и почти отвратительной. О свободе в России томятся многие. Говорят даже, что теперь это единственное объединяющее всех настроение. Но говорящие сейчас же прибавляют: впрочем, это самая скромная свобода, бытовая. Хотят иметь уверенность, засыпая, что не проснутся под чекистским наганом, хотят иметь возможность покупать хлеб и продавать изделия своего личного труда. Быть спокойным за жизнь своих близких, за завтрашний день. Все эти вожеления так легко осуществить в любом тоталитарном режиме, чуть-чуть полегче сталинского. Для этих людей гитлеровская Германия должна казаться раем.

Я знаю, что, говоря о политических условиях русской культуры, мы имеем уравнение со многими неизвестными. Многие зависит от того, в какой форме произойдет ликвидация большевистского периода русской истории. Война, восстание или эволюция режима? В случае насильственной развязки смена одного тоталитаризма другим представляется весьма вероятной. Многие скажут: фашизм придет на смену сталинизму, и это уже огромный шаг вперед. Я отвечаю: сталинизм есть одна из форм фашизма, так что этот исход равнозначен укреплению выдыхающегося фашизма с обновлением его идеологии. Новая идея вдохнет новую энергию в работу опричников-организаторов. Перемена личного состава лишь усилит их злобность: новая метла чище метет... Что касается эволюционного исхода, то как уменьшаются за последние годы его шансы! Сталин позаботился о том, чтобы отрезать себе и своим все пути к мирному отступлению.

Но пусть даже, вопреки вероятностям сегодняшнего дня, отступление окажется возможным и сталинский режим сможет эволюционировать — в сторону, скажем, нормализации. Это не увеличивает шансов свободы для завтрашнего дня. Позволю себе повторить написанное мною когда-то: «Поколение, воспитанное Чека, не может рассчитывать на свободу. Свобода может быть уделом только его детей». Сейчас, через десять лет ягодо-ежовского

воспитания, можно только повторить, с еще большей уверенностью и большей горечью, эти слова.

Нет, решительно нет никаких разумных человеческих оснований представлять себе первый день России «после большевиков» как розовую зарю новой свободной жизни. Утро, которое займется над Россией после кошмарной революционной ночи, будет скорее то туманное «седое утро», которое пророчил умирающий Блок. И каким же другим может быть утро после убийства, после оргии титанических потуг и всякого дурмана, которым убийца пытался заглушать свою совесть? Утро расплаты, тоски, первых угрызений... После мечты о мировой гегемонии, о завоевании планетных миров, о физиологическом бессмертии, о земном рае — у разбитого корыта бедности, отсталости, рабства — может быть, национального унижения. Седое утро...

Но довольно каркать. Не оказались ли мы во власти контрреволюционных настроений, рисуя эти мрачные картины? Сегодняшний застенок Сталина не должен парализовать у нас зрения и слуха, обращенных к созидательным процессам революционной России. Ее почти поголовная (или приближающаяся к таковой) грамотность. Рабочие и крестьяне, обучающиеся в университетах. Новая интеллигенция, не оторванная от народа: плоть от плоти и кость от кости его. В результате — огромное расширение культурного базиса. Книги издаются — и читаются — в неслыханных раньше количествах экземпляров. Не только для беллетристики, но и для научной популяризации открыт широкий рынок. Удовлетворять проснувшиеся культурные запросы масс не успевает советская интеллигенция, несмотря на огромный рост ее кадров. Кажется, надолго России, в отличие от стран старой Европы, не угрожает безработица и перепроизводство интеллигенции.

Правда, в настоящее время эта огромная экстенсификация культуры покупается, в значительной мере, за счет понижения ее уровня. Меряя масштабом старой России или новой Европы, приходится сказать, что в СССР, в сущности, нет настоящей ни средней, ни высшей школы. Никто не умеет грамотно писать, мало кто чисто говорит по-русски. Невежество в области истории, религии, духовной культуры вообще — потрясающее. Ученые, даже естествоиспытатели, жалуются на отсутствие смены. Новая академическая

молодежь явно не способна справляться с работой стариков. Обнаруживается опасный разрыв между поколениями... Но это не страшно, это дело поправимое. Можно нажить и грамотеев, и ученых: была бы охота, а охота есть. Нужны ли молодые ученые? Можно воспитать их за границей. Поднять уровень школы? Нет ничего невозможно. Конечно, если рассчитывать не на годы, а на десятилетия. Область научно-образовательной культуры во всем подобна культуре хозяйственно-технической. Все то, что измеряется количеством, может быть нажито энергией и трудом. По вычислениям Пражского Экономического Кабинета, русский рабочий живет сейчас хуже, чем до революции. Кто виноват в этом? Глупость хозяйственных руководителей? Органический порок хозяйственной системы? Или просто давление военной опасности, истощающей все силы народа в работе на оборону. И то, и другое, и третье (даже коммунистическая система) — факты преходящие, допускающие изменение. При огромности производительных сил России, с ее почти полной автаркией, возможности ее хозяйственного роста неограниченны. Изживется так или иначе ложная система, уйдут головотяпы, откроется дорога пусть для медленного, но постоянного и, в принципе, безграничного хозяйственного роста. То же и с просвещением. Моедленно, очень медленно разлившиеся воды достигнут предела, и начнется подъем уровней. Если низовая тяга к знанию, хотя бы только техническому, достаточно велика — а в этом пока нет причин сомневаться, — это обещает в будущем грандиозный подъем цивилизации. Все то, что может быть достигнуто средствами внешней, научно-технической цивилизации, в России будет достигнуто. И здесь формула Блока: «Новая Америка». Мечта Ленина об электрификации России — его убогая предсмертная мечта — конечно, осуществима. Для десятков миллионов людей в России, для большинства нашей молодежи в эмиграции — это все, о чем они мечтают. С такой мечтой нетрудно быть оптимистом. Все дело лишь в требовательности по отношению к жизни, к своему народу, к России. Чего мы ждем от нее, чего для нее хотим?

Вот здесь-то и сказывается, что все мы — я говорю об остатках, или «остатке», русской интеллигенции — глубоко разойдемся в вопросе о том, что должно считать истинной

или достойной целью культуры. Многие из нас остаются верны понятию «цивилизации», господствовавшему в России шестидесятых годов. Бокль, которого кое-кто из нас читал в детстве, остается и сейчас для многих учителем. Его цивилизация складывается из роста технических и научных знаний плюс прогресс социальных и политических форм. В основе этого понимания культуры лежит заветная утилитаризмом идея счастья или, вернее, удовлетворения потребностей. Человеческая жизнь не имеет другого смысла, и комфорт, материальный и моральный, остается последним критерием цивилизации. Все мы помним отчаянную борьбу против такой идеи цивилизации, которую повели в России Достоевский и Толстой, в Европе — возрождение философии и «модернистского» искусства. С легкой руки немцев, мы теперь противопоставляем культуру цивилизации, понимая первую как иерархию духовных ценностей. Цивилизация, конечно, включается в культуру, но в ее низших этажах. Культура имеет отношение не к счастью человека, а к его достоинству или призванию. Не в удовлетворении потребностей, а в творчестве, в познании, в служении высшему творится культура. В дисгармонии она рождается, протекает нередко в трагических противоречиях, и ее конечное стремление к гармонии остается вечно неудовлетворенным. Но высшее напряжение творчества народа (или эпохи), воплощенное в его созданиях или актах, одно оправдывает его историческое существование.

Еще недавно, в довоенной России начала XX века, последнее, духовное и качественное понимание культуры, казалось, побеждало, если не победило окончательно, утилитарное в количественное. С тех пор мир пережил страшную реакцию. В войне, в революциях, в экономических кризисах и катастрофах снова, с необычайной мощью, заявили о себе низшие, элементарные стихии культуры. Вопрос об оружии и вопрос о хлебе — вытеснили сейчас все запросы духа. Даже социальные проблемы, переживаемые с большой остротой, решаются теперь не в терминах свободы или справедливости, а в терминах хлеба и оружия, то есть национальной экономики и мощи. В то же время война вскрыла глубокий кризис в самой идее гуманистической культуры. Тупики, к которым она пришла во многих своих областях — нагляднее всего в искусстве, — вызвали глубокое разочарование в



самом смысле культуры. Умы, самые утонченные и передовые, возжаждали грубости и простоты. В спорте, в технике, в политике ищут спасения от вопросов духа. Сплошь и рядом эти жизненные установки совмещаются с религиозной — в религии авторитарной и искусственно примитивной, в которой вытравлено все гуманистическое и культурное содержание. Современный фашизм и коммунизм именно поэтому оказываются соблазнительными для многих тонких умов, ренегатов гуманистической культуры.

Отсюда понятно, что перспектива индустриальной, могущественной, хотя и бездушной или бездуховной России не всех пугает. Старые демократы и молодые фашисты могут объединиться в безоговорочном оптимизме по отношению к России завтрашнего дня.

Поспешим оговориться. Есть уровень нищеты, беззащитности, материальных страданий, перед которыми должны умолкнуть все вопросы о смысле культуры. Хлеб становится священным в руках голодного, и даже праща в руках Давида, вышедшего на Голиафа. До тех пор, пока народ в России ведет полуголодное существование, лишен самых насущных вещей — одежды, бани, лекарств, бумаги, я не знаю еще чего, — только снобы могут отфыркиваться от экономики. Сейчас цивилизация — самая низменная, техническая — имеет в России каритативное, христианское значение. Вопрос об оружии сложнее. Россия, конечно, не Давид, но и не Голиаф — пока. Во всяком случае, не она угрожает, а ей угрожают враги, могущественные, безжалостные. Постольку оправданна, отчасти, военная тенденция ее индустриализма.

Все это должно скоро измениться и даже превратиться в свою противоположность. Хлеб может быть священным символом культуры, комфорт — никогда. Но импульс технического энтузиазма, сейчас вызываемый необходимостью, будет действовать долго в силу инерции. Накопление богатств в социалистических формах не более почтенно, чем погоня за богатством буржуазным. Если этот идеал станет главным содержанием жизни  $\frac{1}{6}$  части земного шара, то следует сказать: эта страна потеряна для человечества, этот народ зря гадит (а он не может не гадить) свою прекрасную землю. Его историческая ценность меньше ценности любого крохотного племени, затерянного в горах

Кавказа или в Сибирской тайге, которое сохранило по крайней мере свои песни и сказки, художественные формы быта и религиозное отношение к миру. Россия — Америка, Россия — Болгария, Россия — Пошехонье, раскинувшееся на пол-Европы и Азии, — это самый страшный призрак, который может присниться в наш век кошмаров. Что же сказать, если этот счастливый пошехонец окажется вооруженным до зубов Голиафом, воплощающим в себе опасность для всего мира? Голая, бездушная мощь — это самое последовательное выражение каиновой, проклятой Богом цивилизации.

Пусть мы горсть, окруженная к тому же со всех сторон предателями, пусть нас остается хоть три человека, но мы никогда не примиримся с таким будущим России. В своем великом прошлом она дала миру иные поруки. В пору материалистического усыпления Запада, совсем недавно, она горела костром изумительной духовности. Она была «звана Христовой». Она была в числе великих наций — Греция, Франция, Германия, — которым попеременно принадлежала духовная гегемония человечества. Вознесшаяся так высоко, она так низко пала. Может быть, сейчас она утратила свои права на первородство. Ей предстоит долгий и трудный путь искупления. Но отказаться совсем от своего лица, от своего мучительного борения с Богом — ради культуры танков и двуспальных кроватей — никогда! Можно отказаться от великодержавности политической, смириться перед силой, забыть честолюбивые мечты... Но нельзя забыть о великом призвании. Ибо призвание — это не слава, а жертва, не притязание, а долг. Речь идет не о том, чтобы рождать гениев. Земля может устать родить, а мы не можем «прибавить себе росту ни на локоть». Речь идет о том, чтобы трудиться, мучиться, искать, чем утолить наш духовный, не физический только голод. В сущности, всего лишь о том, чтобы не обманывать этого голода и не заглушать его в себе анестезирующими снадобьями. Испания давно, конечно, не мечтает о мировой Империи времен Карла V. Но она никогда не забудет о легендарных днях Сервантеса, Кальдерона, Лопе де Вега. Веками будет она жить в воспоминаниях, и, если аскетический труд подготовит удобренную почву, почему не настать тому дню (Испания может надеяться), когда таинственная, непокупаемая благодать, *gratia gratis data*, не оросит дождем ее изжаждавшуюся землю?

Совет Шпенглера — решительно отказаться от непосильной больше культуры ради легкой, дающей в руки цивилизации — есть отступничество, лишь прикрытое маской стоицизма. Если современная Германия примет этот совет, отступничество сделается национальным. Германия ради владычества над миром предаст свою душу. Неужели России идти по этому малодушному пути?

Что же, не запутались ли мы в бесплодном противоречии? С одной стороны, трезвый анализ запрещает возлагать чрезмерные надежды на близкое будущее русской культуры. Мы ждем седого утра и безрадостного дня. С другой, отказываемся примириться с этой перспективой. Сердце как будто бы тут не в ладу с головой. Должны, но не можем. Идем, но не хотим идти.

Конечно, это обычное трагическое противоречие истории — между необходимостью и долженствованием. Оно мучительно-неразрешимо лишь на высотах метафизической мысли: в проблеме предопределения и свободы. В жизненной действительности оно никогда не дано нам в такой остроте. Лишь долженствование дано во всей абсолютности. Необходимость историческая всегда относительна. Это лишь поток, течение событий, нас увлекающее. Нужно плыть против течения. Вот и все.

Но нужно сказать себе со всею твердостью — сказать всем мечтающим о строительстве русской культуры, всем молодым энтузиастам, младороссам, пореволюционерам, христианским националистам: против течения! Иначе мы предадим Россию, самое святое ее души.

Оглядываясь на прошлое, мы приходим к убеждению уже более утешительному. Было ли это когда-нибудь иначе? Все поколения русской интеллигенции, как до них строители Империи — не шли ли против течения, против косности или против традиции русской жизни? И чем глубже взрывают почву, чем духовнее труд и подвиг, тем сильнее сопротивление, тем неизбежнее одиночество. Как страшно одиночество Достоевского! И все же победа приходит — быть может, поздно, посмертная победа и относительная, конечно, — в ту меру, в которой историческая материя способна вместить идею. Но победы возможны. Только пути к ним ведут не через языческое подчинение стихиям жизни, как хочет внушать нам снова и снова органический (или революционный) кон-

серватизм, а против потока, в преодолении инерции и тяжести земли. Под знаком креста.

Еще одно, последнее. Спрашивают: на что ставить? То есть, помимо нашей собственной веры и воли, на какие объективные моменты русской жизни можно опереться в работе для будущего? Без этой точки опоры наши упования рискуют оказаться скорее грезами, а строительство — только жертвой. Эти опорные точки не должны приобретать преувеличенных очертаний в наших глазах, превращаться в миражи. Но они должны быть.

Ну так вот. Все надземные, открытые сейчас течения русской жизни не за нас. Я говорю и больше: все победоносные завтра — тоже против нас. Но должны быть и те, что с нами. Не может их не быть там; если они есть, хотя и слабые, за рубежом России. Тот страшный пресс, который давит в России все живое, — он сплюсчивает в лист слабых — то есть почти всех. Но сильные, немногие, под этим давлением сохранившие дух, должны вырастать в святых и героев. И мы положительно знаем, от надежных свидетелей, что герои и святые там есть. Будем строги и произведем отбор. Герои и святые вообще не очень жалуют культуру, это правда. Хотя из их жизни и смерти вырастает впоследствии и культура, для них нечаянная. Но есть и герои культуры, есть и святые культуры. О них мы тоже знаем. Многие из героев живут отрицательными импульсами борьбы: из них выйдут большевики новой идеи, победители завтрашнего дня. Это не наши. Но, за вычетом всех чужих, видится ясно тот чудесный «остаток», в котором живет сейчас дух России и который завтра начнет актуализироваться в ее культуре. Это наше противоречие предоставляется нам сильным не количеством, а качеством. Один кристалл цветной соли может заметно окрасить стакан воды. В строении химического тела присутствие малого количества вещества имеет конструктивное значение. В материалистическую и империалистическую Россию завтрашнего дня войдет, как жало в плоть, нечто совсем иноприродное, кажущееся чужим, на самом деле самое свое, русское из русского. Его присутствие вызовет противоречие, борьбу, кристаллизацию сил. Унисона не будет, односторонней, тоталитарной, усыпляющей одногласицы. Культура России, даже и завтрашнего дня, будет контрапунктической. Слабая сегодня, даже завтра, духовная элита будет ра-

сти. У нее есть могущественный союзник: русское прошлое. К этому прошлому уже обращаются все как к источнику сил: одни к Писареву, Чернышевскому, другие к Суворову и Николаю I. Но этим сталинским отбором героев не исчерпать русского наследия. Шила в мешке не утаишь. Толстого не спрячешь. Великие усопшие, вечно живые, будут строить, вместе с нашими детьми, духовную родину, которая оказалась не по плечу нашему поколению.

А перед нами, живыми, есть скромная, но необходимая, аскетическая задача. Приготовление земли для будущих посевов. В культуре не все от гения, многое от труда, дисциплины и расчета. Есть много конкретных проблем организации культуры, национального воспитания, культурной пропаганды, которые мы можем ставить для себя уже сейчас, которые, во всяком случае, должна ставить для себя наша молодая смена. И прежде всего мы должны прояснить для себя два основных вопроса: какой мы хотим видеть русскую культуру? И какие препятствия надо преодолеть на путях к ее созиданию?

## СОЗДАНИЕ ЭЛИТЫ (Письма о русской культуре)

### 1

**В** то время как мы пишем эти строки, где-то, в темных подвалах политического мира, принимаются решения, которые надолго определяют судьбу России. Нет сомнения, что ближайший день русской культуры сложится в тесной зависимости от политического исхода русской революции. Отстоит или нет Россия свою независимость, оборонит ли свою Империю-Союз или будет отброшена к границам Великобритании; сохранится ли, в смене власти, преемство Октября и созданного им отбора, или хозяевами России, на известное время, явятся эмигранты — под защитой немецких штыков, — нам не дано знать. Но вся внутренняя жизнь России на поколения определится развязкой затянутого Сталиным узла. Россия может развиваться в новую трудовую демократию или пройти через фашизм, то есть еще через новую форму фашизма, через новую идеократию, новую чекистскую организацию культуры. Можно ли при такой неясности делать какие-либо прогнозы о ее культуре? Не крайнее ли это легкомыслие и дерзость?

Тем не менее мы смеем утверждать, что есть некоторые общие темы русского культурного развития, которые независимы, или почти независимы, от политики. К кругу таких тем принадлежит и поставленная нами в настоящем письме. Каков бы ни был политический смысл русской революции, ее культурное содержание может быть описано, с крайней схематичностью, следующим образом: русская культура, доселе творимая и хранимая интеллигенцией, спускается в самую глубину масс и вызывает полный переворот в их сознании. То обстоятельство, что в первый период революции большевики пытались организовать всю культуру вокруг марксизма, имеет случайное значение. Этот период проходит или уже прошел. Вместо марксизма

много других идей и идеологий могут быть еще брошены в котел, где плавится новое народное мирозозерцание. Существенным остается одно: всенародный, или, скромнее, демократический, характер новой русской культуры. Никто не думает, конечно, что в России высшая математика или философия стали доступны массам. Но культура перестала быть замкнутой или двухэтажной. Старое противоположение интеллигенции и народа потеряло свой смысл. От центра к периферии движение интеллектуальной крови совершается без задержек и перебоев. Россия в культурном смысле стала единым организмом. Этот факт непреложен и неотменяем. Никакие реакции и перевороты не могут изменить его: не могут отнять книгу у народа или воздвигнуть стену между массами и национальной культурой. Из этого факта мы исходим, и последствия его пытаемся оценить.

То, что произошло в России, не представляет ничего странного и небывалого. Россия просто приблизилась, по своему культурному строению, к общеевропейскому типу, где народная школа и цивилизация XIX века уже привели к широкой культурной демократизации. Однако в России, в условиях небывалой революции, этот давний и неизбежный процесс демократизации культуры был не только форсирован. Благодаря сознательному и полусознательному истреблению интеллигенции и страшному понижению уровня, демократизация культуры приобретает зловеющий характер. Широкой волной текущая в народ культура перестает быть культурой. Народ думает, что для него открылись все двери, доступны все тайны, которыми прежде владели буржуи и господа. Но он обманут и обворован. Господа унесли с собой в могилу — не все, конечно, — ключи, — но самые заветные, от потайных ящиков с семейными драгоценностями. Университеты открыты для всех, в России насчитывается до 700 высших школ, но есть ли хоть одна высшая школа, достойная этого имени, равная по качеству старому университету? В этом позволительно сомневаться. Рабочий или крестьянский парень, огромными трудами и потом стяжавший себе диплом врача или инженера, не умеет ни писать, ни даже правильно говорить по-русски. Приобретая известный запас профессиональных сведений, он совершенно лишен общей культуры и, раскрывая книгу, встречаясь с уцелевшим интеллиген-

том старой школы, на каждом шагу мучительно чувствует свое невежество. Специалистом он, может быть, и стал — очень узким, конечно, — но культурным человеком не стал и не станет. И не потому, конечно, что у него нет поколений культурных предков, что у него не голубая кровь. В старой, полудворянской России «кухаркин сын», пройдя через школу, мог овладеть той культурой, которая сейчас в рабоче-крестьянской России ему недоступна. Причина ясна и проста. Исчезла та среда, которая прежде перерабатывала, обтесывала юного варвара, в нее вступавшего, лучше всякой школы и книг. Без этой среды, без воздуха культуры школа теряет свое влияние, книга перестает быть вполне понятной. Культура как организующая форма сознания распадается на множество бессвязных элементов, из которых ни один сам по себе, ни их сумма не являются культурой.

Дело не в грамотности и не в запасе благородных и полезных сведений — по истории, литературе, мифологии. Можно легко допустить, что с годами, ценой большого напряжения школьной дисциплины, в России добьются сносной орфографии и даже заставят вы зубрить конспекты по греческой мифологии. И все это останется мертвым грузом, забивающим головы, даже отупляющим их, если не совершится чудо возрождения подлинной культуры; если, перефразируя в обратном смысле слова Базарова, мастерская не станет храмом.

Выражаясь в общепринятых ныне терминах, в России развивается и имеет обеспеченное будущее цивилизация, а не культура, и наше отношение к этому будущему — оптимистическое или пессимистическое — зависит от того, к какому стану мы примыкаем, к стану цивилизации или культуры. Водораздел проходит довольно четкий — как здесь, в эмиграции, так и в рядах старой интеллигенции там, в России. Это различие можно определять по-разному, как различие качества и количества или образования гуманистического и реалистического. Последнее определение можно формулировать точнее, культура построена на примате философски-эстетических, а цивилизация — научно-технических элементов. Но мы и без определений понимаем, в чем дело. Начиная с девяностых годов русская интеллигенция разделилась на два лагеря — не по полити-



ческим настроениям, но как раз по линии различного понимания культуры. Бои между людьми культуры и цивилизации велись жаркие, даже ожесточенные. К началу войны они заканчивались относительным торжеством культуры. Философия, эстетика овладевали твердынями «заветов», завоевали позиции в толстых журналах, в школе, в газете. Однако их торжество было недолговечным. Народные массы оставались чуждыми этому культурному ренессансу. Они едва просыпались от средневекового сна к диковинкам соблазнительной цивилизации. Чудеса науки и техники действовали неотразимо на детские умы, вчера еще жившие верой в чудотворные иконы и мощи. Обвал старого религиозного мировоззрения был резок и катастрофичен. Вместе с тем обнаружились новые ножицы между интеллигенцией и народом, совершенно обратные расхождениям шестидесятых и семидесятых годов. Народ оказался духовно в XVIII веке, когда интеллигенция вступила в XX. Большевицкая революция не создала этого конфликта — она лишь трагически углубила его.

В известном смысле можно сказать, что большевизм был возвращением к традициям шестидесятых годов. Конечно, в нравственном смысле нельзя и сравнивать Ленина с Чернышевским. Но умственный склад их был сходен, недаром Чернышевский вошел в творимую легенду революции как предтеча большевизма. Можно было бы утверждать даже, что большевики кое в чем смягчили вандализм Писаревых, никто уже не думал теперь о разрушении эстетики или о развенчании Пушкина. В этом смысле усилия последнего поколения рыцарей культуры не прошли даром. Им мы обязаны тем, что разрушительный разлив русской революции остановился перед некоторой культурной преградой. Без «Мира искусства» была бы невозможна «Охрана памятников старины». Характерно, что беспощадное разрушение церквей и старины началось уже тогда, когда ушел в могилу или в тюрьму первый интеллигентский строй сподвижников Ленина: все эти Луначарские, Камeneвы, Троцкие (или Троцкий), которые не остались чужды культуре XX века. Сталин от нее совершенно свободен, как и тот низовой, полуграмотный слой, который он вызвал с собою к власти. Культурный вандализм большевизма разгулялся тогда, когда революционный дух его уже выдохся.

Этот парадоксальный факт показывает, что самый страшный враг культуры в России — не фанатизм, а тьма, и даже не просто тьма, а тьма, мнящая себя просвещением, суеверие цивилизации, поднявшее руку на культуру.

Мы здесь, за рубежом, мучительно переживаем распродажу картин из Эрмитажа как неисцелимую рану, нанесенную русской культуре. Не думаю, чтобы широкие массы в России были хоть сколько-нибудь ею взволнованы. Продать картины, чтобы купить машины или хлеб, — должно было казаться естественным. Тем более что убыль качества покрывалась ростом количества. Эрмитаж все разрастается, захватывая чуть ли не весь Зимний дворец свезенными отовсюду музейными вещами. Бесконечные экскурсии, дефилирующие целый день по его залам, смогут ли заметить исчезновение нескольких шедевров в этом море картин, от которого голова идет кругом? Для них, для цивилизации — все на месте. И цивилизации нужен музей, но по-другому нужен, чем культуре. Одни люди влюбляются в картину и целую жизнь посвящают ее культу, другие — глазеют, спеша отбыть «культурную» повинность и сделать «социологические» выводы из запечатленной на полотне трагедии.

Но ведь такой была, в массе своей, и русская интеллигенция шестидесятых, семидесятых, восьмидесятых годов. Эти поколения еще не исчезли из жизни, а исчезая, оставили наследников. Современная молодежь и здесь, за рубежом, опять откровенно предпочитает техническую цивилизацию — эстетической и философской культуре. Для старых семидесятников и для молодых людей «тридцатых» годов драма русской культуры одинаково не существует. Просвещение в России разливается неудержимо. Тираж книг доходит до миллионов. Все шероховатости и пробелы сегодняшнего дня будут завтра исправлены, и Россия действительно догонит и обгонит Америку.

Да, Америку... Ее догнать нетрудно. Не сомневаемся, что «Новая Америка» сможет многое организовать и лучше старой. Но что же в ней будет от России? Почему этот евразийский континент стоит нашей любви более, чем все другие, превращающиеся на наших глазах в унылое единообразие планеты?

Мы, не согласные на Россию-Америку — и чающие для нее иного, высшего будущего, обязаны наметить мост от

нашей мечты к действительности. Что делать нам здесь сейчас и завтра там, чтобы, если возможно, отклонить «ход истории», согнуть «железную необходимость»? Словом, еще раз обойти Гегеля, как Ленин раз уже обошел Маркса. Против течения!

Разумеется, жизнь и смерть культуры, в отличие от цивилизации, включают в себе огромный элемент иррационального. Никто не знает, почему расцветает и почему чахнет искусство. Все наши самые героические усилия не могут создать гения, который определяет на века содержание культуры и дает ей известную форму. Но мы можем создать условия благоприятные — не для появления гениев, а для их роста и их влияния. Да разве одни гении движут культурой? Тысячи работников ведут плуг по указанной учителем борозде. Культура, как и цивилизация, нуждается в организации, в школе, в трудовой дисциплине. И Адам был призван «возделывать рай» — иными приемами, конечно, чем возделывает свое поле американский фермер. А гениев мы имели достаточно за истекший век. Вряд ли другой народ имел столько великих людей за одно столетие. Бог не обидел Россию. Только бы нам оказаться достойными этого наследства. И не только сохранить, но и творчески приумножить его — что, в сущности, одно и то же.

Проблема культуры, в отличие от цивилизации, имеет два аспекта, допускающих оба сознательное воспитательное и общественное усилие. Культура отличается от цивилизации, во-первых, иной направленностью интересов; во-вторых, приматом качества над количеством. В настоящий исторический день обе проблемы сводятся к одной: как воссоздать в России тот разрушенный революцией культурный слой, который был бы способен поднять качество культурной работы и передвинуть центр интересов с вопросов техники к вопросам духа.

## 2

Создание элиты, или духовной аристократии, есть задача, прямо противоположная той, которую ставила себе русская интеллигенция. Интеллигенция нашла готовым культурный слой, главным образом дворянский по своему

происхождению и отделенный от народа стеной полного непонимания. Она поставила своей целью разрушить эту стену любой ценой, хотя бы уничтожения самого культурного слоя, ради просвещения народа. Опуститься самим, чтобы дать подняться народу, — в этом смысл интеллигентского «кенозиса», или народничества. Русское народничество как культурное умонастроение много шире того социально-политического течения, которое называется этим именем. За немногими исключениями, почти вся интеллигенция разделяла его основные предпосылки. И это было для нее тем легче, что основной темой предшествующей, петровской, императорской эпохи было «просвещение». Просвещение предполагает истину данной, систему культурных ценностей уже установленной. Для торжества истины нужно лишь приобщить к ней темные массы. Просвещение, или цивилизация, России была, конечно, насущной необходимостью, вопросом ее существования. Но преобладание этой темы налагает на весь XVIII век, при всем его внешнем великолепии, печать элементарности. Творческая эпоха, в сущности, начинается в александровские годы, чтобы через несколько десятилетий смениться просветительным народничеством. Различие между просвещением петровским и народническим весьма существенно, хотя легко ускользает от наблюдателя. Просветитель стремится поднять до себя просвещаемую массу, народник — спуститься до нее. Конечно, и народник спускается, чтобы поднимать — по крайней мере в своем дневном сознании, — и просветитель должен популяризировать, то есть принижать свою истину. Но для последнего всего дороже истина, для первого — народ, то есть люди. Первый движется интеллектуальным и эстетическим увлечением истиной, второй нравственным стремлением к равенству. Каких только жертв не приносит народник на алтарь равенства! Н. К. Михайловский резко формулировал юношеские крайности своего поколения: «Пусть нас секут! Мужика секут же». Это жертва свободой, то есть самым дорогим для русской интеллигенции. Что же сказать о науке, искусстве, философии? Щедрин любил высмеивать благонамеренные общества, которые выпускают «101 том трудов». Какие общества имел в виду сатирик? Вероятно, те исторические, географические и филологические общества,

труды которых являются теперь для нас неисчерпаемым источником познания России и исполняют нас законной гордостью за русскую науку. Щедрин смеялся над трудами академий. Вряд ли ему приходило в голову смеяться над учебниками для народных школ. Народная школа была созданием интеллигенции, ее гордостью. Академия наук казалась роскошью, излишеством. Звание народного учителя и было самым почетным в России. Звание профессора было — и осталось — почти бранным словом. Считалось аксиомой, что культура (то есть цивилизация) растет снизу, а не сверху. Я знал одного старого чудака, который говорил: «Ведь и человек растет не с головы, а с ног». Существование образованной элиты в безграмотной стране считалось аномалией, чем-то вроде помещичьих оранжерей и крепостных балетов. Большевики, при всем своем марксизме, разделяли (и даже до крайности обострили) это народническое понимание культуры. Они сделали опыт: все для народа, ценою разрушения высших этажей культуры. Университет был полуразрушен, зато СССР гордится почти поголовной грамотностью. Но вот при первой попытке поднять эту грамотность хотя бы до уровня грамотности орфографической встретилось неожиданное (!) препятствие: то, что называется на условном милитаристическом жаргоне — проблема кадров. Нет учителей. Чтобы создать народных учителей, надо иметь приличную среднюю школу; чтобы создать среднюю школу, надо иметь университет. Так, на собственном, то есть народном, лбе большевики опытно проверили народническую философию культуры и отрицательно оправдали дело Петра. Да, в отсталой и девственно невежественной стране нужно начинать с Академии наук, а не с народной школы. Таким путем шел весь мир. Западная Европа имела «Академию» при Карле Великом, а народную школу лишь в XIX веке. Просвещение разливается, как вода, заполняя высокие водохранилища, чтобы переливаться, если не через край, то по желобам или шлюзам, все в более низкие водоемы. Народничество предпочитало более органические сравнения: с ростом дерева, например. Земля при этом представлялась источником творческих сил: все из народа. Народ, и именно низы его, творит из себя свою интеллигенцию, которая поднимается все выше и выше, не отрываясь от массы. Таков идеаль-

ный порядок культуры, нарушенный аристократическим или буржуазным грехопадением. Что можно возразить на это? Оставаясь в границах органических символов, приходится сказать, что земля сама ничего не производит. Семья падает сверху в ее лоно, которое лишь питает его. Растение столько же дитя солнца, как и земли. Безотцовская, лишь материнская, народническая или земная сила всегда остается темной и бесплодной. Порыв личности к свету, к солнцу, к свободе неизбежно создает надрыв, если не разрыв ее связей со средой, с материнским лоном народа. Неизбежна драма непонимания, отчуждения, борьбы. Народ идет за духовными вождями против воли, упираясь, — всякий народ, хотя бы и высококультурный. Масса, в которую бросали просвещение подвижники XVIII века, была еще почти исключительно дворянской, как дворянской, и даже вельможной, была та чернь, которую бичевал Пушкин. Есть, правда, расстояния, которые оказываются пропастью. Такие пропасти могут поглотить государство, это был случай России. Но для России заполнение пропасти требовало методов просвещения, а не народничества, от Академии к народной школе, а не обратно.

Но теперь вопрос ставится уже не о возврате от народничества к просвещению, а о дальнейшем шаге — от просвещения к творчеству. За просвещение мы можем быть спокойны. И государство, и народ, то есть все слои его, одинаково в нем заинтересованы. В сущности, оно нуждается лишь в материальных средствах и организации. Оно может пока еще — и долго — совершаться в России самоотеком, то есть по инерции, силой разбуженной в массах жажды знания.

Иное дело творчество, то есть культурное творчество. Работа для него потребует методов, коренным образом отличных от народнических. Методов не только непривычных для нас, но и прямо враждебных нашим «заветам».

Поставить творчество впереди просвещения — то же самое, что в хозяйственной жизни подчеркнуть производство перед распределением. Логически может ли быть иначе? Прежде чем распределять, нужно, чтобы было что распределять. Лишь XIX век с его титаническим, почти стихийным ростом производства, как и культурного накопления, приучил нас поверхностно скользить над проблемой про-

изводительных сил. Социализм сводился к проблеме распределения. Понадобилось тоталитарное осуществление социализма в СССР, чтобы вопросы производства встали в порядок дня. Производство падает. Мощный поток хозяйственной энергии, вчера, казалось, неистощимой, иссякает, как степной ручей. Нужны планомерные и сознательные усилия, чтобы оживить его. Сюда относится борьба с «уравниловкой», премиальные тарифы, стахановщина, восстановление кадров, техническое образование. Обобщая, можно было бы сказать: создание неравенства, или технической элиты. Следует признать, что основное направление технической политики выбрано правильно. Страна должна создать свою техническую элиту, если хочет выбиться из нищеты. Лишь органическое головоутиение режима (отчасти совпадающее с самым духом большевизма) губит все разумные начинания.

В сфере духовной культуры меньше места плановому вмешательству, организации, больше свободе, иррациональным силам духа. Но основная проблема воспитания и здесь та же самая: создание элиты, культурного неравенства. Потрясенные фактом общественного неравенства — действительно безнравственного и уничтожающего возможность подлинного национального общения, — мы проглядели ценность и вечность духовной иерархии. Должно быть расстояние между учителем и учеником, между писателем и читателем, между мыслителем и популяризатором. Иначе нечему будет учить. Напряженность восходящего движения к культуре пропорциональна расстоянию ее полюсов — если только связь между ними не утрачена: так сила тока пропорциональна разности потенциалов. Конечно, расстояние между полюсами должно быть заполнено посредствующими деятелями; строение культурного мира ступенчато, иерархично. Академик не должен, да и не может, не умеет преподавать в народной школе. Вот то, чего у нас не одни большевики, но почти никто не понимает. Непосредственное творчески-трудовое общение происходит между смежными звеньями иерархии. Тогда — и только тогда, — по слову Данте, *nunni tirati son e tutti tirano* — «все влекомы, и все влекут».

И, наконец, отрешаясь от всех соображений педагогической целесообразности и даже общественного блага, надо

отдать себе отчет в том, для чего, собственно, существует культура. Культура ли для народа или народ для культуры? Единственный смысл существования нации — в ее творчестве: в открытой ею истине, в созданной красоте, в осуществленной или прозреваемой ею правде. Хотя сказано, что суббота для человека, но человек — для Бога. Суббота относится к цивилизации.

Наша радость о Греции, наша благодарность ей за созданное ею вечное достояние омрачается, правда, мыслью о рабстве, об узости того социального слоя, который был носителем ее культуры. Но кому серьезно придет в голову отказаться от этого наследия (то есть в духовном смысле отвергнуть его) лишь потому, что оно пахнет рабством? Или от великой русской культуры — которая почти вся вскормлена крепостным строем? Неравенство, в самых тяжких социальных формах, до нынешнего дня было необходимым условием высшей культуры: таков закон социального грехопадения. Лишь наше время — впервые в истории мира — благодаря неслыханному накоплению материальных средств сделало возможным — покамест только теоретически — культуру, построенную если не на равенстве, то на общности, на всенародном общении, на бесклассовом, в экономическом смысле, обществе. Это наше счастье, наша привилегия. Сумеет ли мы воспользоваться ею? Лишь в том случае, если на почве экономического почти-равенства сумеем создать культурное неравенство, иерархию духовной элиты. Надо постоянно повторять это, кричать об этом — в наши дни, когда не в одной России, а в половине Европы торжествующая демагогия хочет обезглавить элиту и утопить ее в красном, черном, коричневом, но, по существу, всегда сером национальном однообразии.

### 3

Создание элиты в России дело не столь безнадежное, как может показаться с первого взгляда. Прежде всего, в какой-то мере, она существует. В России работают ученые с мировым именем. Время от времени выходят художественные издания, тонкие книги по литературе и искусству.



Доходят изредка письма, свидетельствующие о неистребимости старой интеллигенции. Старый режим оставил большевикам в наследство не только сотни ученых, но и тысячи «аспирантов». Ими и по сию пору питается русская советская наука. Большинство писателей — выходцы из иной среды, дети новой России и, в смысле культуры, вряд ли удовлетворяют строгим требованиям. Но элита или, вернее, ядро ее существует. Она рассеяна, придавлена, измучена, лишена корпоративного сознания. Но она не только существует, она способна расти. Этот прирост ее, или ее накопление, может совершаться из трех источников: из подрастающих поколений старой интеллигенции, из нового правящего слоя и из народных низов.

Мы знаем, что многие из представителей интеллигенции, стареющей, обессиленной и уходящей из жизни, сумели, ценою героических усилий, дать своим детям образование, соответствующее требованиям старой России. Молодежь духовно далеко ушла от отцов, большинство прошли через комсомол и через увлечение сталинским строительством, но культурный отпечаток сохранился. Сейчас они, конечно, пережили горькое похмелье. Иные сумели чудом сохраниться и духовно. Эта молодежь и будет носительницей культурного преемства.

Новый правящий слой, который сформировался в России и уже резко отталкивается от народной массы, связан исключительно с государством и службой. При всем старании его внешне подтянуться и лакироваться, при всех усилиях его цивилизации, внутренне он остается совершенно варварским. Сравнение с обществом директории или наполеоновской Империи окажется далеко не в его пользу. Новые люди подчас играют в меценатов, ведут дружбу с писателями, подражая Сталину, но, конечно, ни в какой элите им нет места. Однако они стараются дать своим детям лучшее образование: приглашают частных учителей, учат иностранным языкам. Золотая молодежь вступает в жизнь морально развращенной, падкой на привилегии, жадной до успеха. Но по своему уровню она может быть вторым источником для питания элиты. Влияние потомков старой интеллигенции, перелом духовной направленности может спаять их в один слой.

Наконец, выходцы из народа. Мы знаем, что пора ра-

венства в России прошла, что массы отброшены назад в своем социальном быте и самосознании. Тем не менее порыв революции для них не прошел бесследно. Тяга к знанию, к цивилизации огромна. Среди пробивающих себе дорогу посредственностей, сильных только волчьей хваткой или лисьей способностью к приспособлению, есть и настоящие таланты. Вспомним хотя бы об успехах музыки, о советских певцах и пианистах. Правда, талант одно, а культура другое. Гениальный Шалапин, как и очень талантливы Горький так и не могли до конца слиться с русским культурным слоем. Но при огромном материале и строгом отборе даже сейчас возможен приток культурных единиц из низов. Несколько сотен из миллионов. Впоследствии пригодная система образования значительно расширит этот приток.

Каким образом из этих материалов может создаваться элита? В двух словах: путем отбора и концентрации. Культурных людей в России еще немало. Но они рассеяны, рассыпаны в ее страшных пространствах. Погруженные в море варварства, они окрашиваются в его защитный цвет. Лишенные общения, они обречены на бесплодие. Соберите их, сделайте их участниками национальной беседы, и жизнь вспыхнет, как огонь из сухого дерева под фокусом оптического стекла. Этот отбор и концентрация могут, и должны, происходить двумя путями: государственным и частным. Не может не быть государственной в наше время организации науки. В России, вероятно, нет ни одной подлинной высшей школы. Но есть Академия наук. Она разбухла, наводнена полуучеными и политическими агитаторами. Нужно начать с ее чистки. Очищенная, Академия и в настоящее время будет представлять солидное ученое учреждение — какого не было у Петра, когда он задумывал создание науки в России. Академия без труда отберет из 700 высших (!) школ профессорские кадры для одного университета. Другой она может обслуживать сама. Не будем бояться, что, оттягивая все лучшие силы в центр, мы обездолим провинцию. Задача восстановления центров стоит на первом плане и должна проводиться бесстрашно. Два университета на Россию, уже сейчас, но настоящих, — это не слишком смелая мечта. Трудно найти студентов. Но здесь отбор лучших учеников производится из десятков

тысяч школ. Можно представить себе, что такой строгий отбор даст исключительно даровитый состав молодежи, с которой можно начинать дело. Ее подготовка будет все-таки недостаточной. Для будущих студентов должны быть сразу же открыты две классические школы, весьма замкнутые и привилегированные, как и первые университеты. Но привилегии обеспечиваются исключительно знаниями и способностями. Через 10 лет историко-филологические факультеты, наиболее обескровленные теперь, будут пополняться прекрасным составом слушателей, каких не имел и наш старый демократический университет. Главное дело университета будет состоять не в чтении популярных лекций, а в лабораторно-семинарских занятиях для подготовки будущих ученых. Неизбежно придется посылать молодежь за границу — на первое время в широких размерах — для научного усовершенствования. Слишком долго длилась искусственная изоляция России от Европы за десятилетия революции. И прежде всего этот путь на Запад должен быть открыт для сотен молодых ученых новой формации — даже для тех, кто занимает в России командные места. Большинство из них, конечно, претерпят *deminutio capitis*, как и вся масса высших школ превратится в технические и общеобразовательные курсы. Просветительная работа, количественная и экстенсивная, может не прерываться и не сокращаться. Она лишь потеряет свои необоснованные претензии и титулы.

Таков государственный план воссоздания научной элиты. Захочет ли государство проводить его, мы не знаем. Если пореволюционная власть останется в руках людей, созданных революцией, то мы не можем ожидать от них настоящего понимания культуры и ее задач. Культурной элите придется, может быть, выдержать нелегкий бой — за Академию, за университет, за классическую школу. Но эта борьба не безнадежна. Проблема качества и проблема кадров пробивают уже в России самые темные мозги.

Во всяком случае, перед остатками и новыми ростками интеллигенции остается другой путь: путь общественного, вольного воспитания элиты и создания в России культурного воздуха. Когда интеллигенция получит возможность дышать и думать вслух, она почувствует непреодолимую тягу к объединению — в кружки, в группы, в общества. Од-

на потребность говорить на своем языке, с людьми, понимающими собеседника с полуслова, делает свое дело. Ведь до сих пор интеллигенция в России живет как колонии европейцев среди цветных рас — с той только разницей, что здесь белые находятся в рабстве у цветных. Эта интеллигенция давно отвыкла от политики, потеряла всякий вкус к ней. Зато работа культурная приняла для нее характер почти религиозного служения. Задача воссоздания культуры в России может стать делом жизни и призванием целого поколения — я хочу сказать, чисто формальная задача культуры — безотносительно к ее ценностному содержанию. Объединения интеллигенции могут иметь различные формы: от салонов и кружков до правильно организованных культурных обществ. Их цели и работа могут быть самыми разнообразными: религиозные, философские, исторические, литературные, «общества ревнителей русского языка и грамматики», «общества любителей латинского и греческого языка» и т. п. В самых глухих местах невозможна специализация: культурные люди просто тянутся друг к другу отвести душу за чашкой чая, поговорить о новой или старой книге. Но выше уже необходимо разделение интересов и труда. Нечего бояться пуризма и педантизма. Старый опыт интеллигентской кружковщины предостерегает скорее от другой опасности: дилетантского всезнайства. Да и самая задача новой элиты иная: не решение всех вековых вопросов жизни, а культурное воспитание для работы, для восхождения по ступеням духовной иерархии. Когда приходится бороться за русский язык или за культурную грамотность, кружки или салоны должны проявлять такую же строгость, как университеты. Доступ в них должен быть труден и ограничен. Важно лишь одно: чтобы в основе этой замкнутости не лежало никаких старых сословных или политических реминисценций. Старая интеллигенция должна соединиться с новой на единственном условии равного качества. Новые люди принесут с собой новые взгляды; возникнет плодотворная борьба идей, которая помешает интеллигентским группам вырождаться в бесплодных хранителей заветов, себя переживших и никому не интересных.

Гораздо важнее всякой просветительной литературы в России завтрашнего дня создание литературы для избранных, для немногих. Книг, совершенно свободных от заботы — не о читателе, конечно, но о грамотности читателя. Вы не

понимаете? — значит, это не для вас. Ищите более подходящей литературы, только и всего. Для кого же тогда писать? Опыт эмигрантской литературы показывает, что 300 читателей уже обеспечивают сбыт книги. Триста читателей из необъятной России найдутся на всякую книгу. Печатать мы будем, но это потребует от всех нас жертв. Интеллигенции придется изменить свое отношение к книге как к почти бесплатному общественному продукту, за которым идут в библиотеку. Некоторые книги надо будет вырезать из скромного бюджета, покупать их ценою поста.

За всеми внешними формами организации элиты и ее работы стоит ее духовная организация. Говорят нередко, что старая русская интеллигенция была орденой. Она имела не внешнюю организацию ордена, но его внутреннее самосознание. Была исполнена сознанием своей миссии и своей выделенности из толпы. Выделенности не для привилегий, а для страданий и борьбы. При всех изменившихся условиях, при иной, противоположной даже направленности, новая элита не менее старой нуждается в орденом самосознании. Только ее образцом будет не столько масонство, сколько средневековый клир, организовавший свою латинскую культуру вокруг общезначимой и всенародной Церкви. Жертв и страданий новое подвижничество во имя культуры потребует немало — может быть, не менее политического подвижничества старой интеллигенции. Однако новая антикатолическая направленность требует и новой этики: этики не столько самоуничтожения, сколько достоинства. Ныне поставленная на колени перед властью и народом, новая элита во имя достоинства культуры должна потребовать и уважения к себе. Должна научиться бороться за свое собственное достоинство и право, умея отличать достоинство от интересов и право от привилегий. Она должна занять в обществе подабающее ей место: не привилегированной касты, но всеми признанной духовной аристократии. Место первого среди равных.

Достоинство интеллигенции — не в противопоставлении ее народу. Перо и кисть не должны противопоставляться

серпу и молоту. Если будущая Россия, как, впрочем, и вся пережившая социальную революцию Европа, будет организована корпоративно или профессионально, интеллигенция должна занять свое место среди трудовых корпораций или союзов. Идея труда не противна высокому строю культуры — более того, она созвучна нашему современному пониманию творчества. Мы все ставим ремесло подножием искусству. Современный университет в своей организации хранит следы своего корпоративного происхождения; это последняя из сохранившихся средневековых гильдий. Художники Ренессанса все сознавали себя людьми ремесла и цеха. Таковы и средневековые миннезингеры. Лишь романтизм противопоставил вдохновение труду, и в этом было его трагическое заблуждение. Мы все — и люди науки, и люди искусства — возвращаемся теперь к древним и вечным основам искусства-ремесла — *techné'ars* — и не гнушаемся высоким званием работника. Признаюсь, «работник науки» звучит для меня честнее, чем «ученый», в котором много самомнения. Кто, по совести, может называть себя ученым? Мы все учимся и учим, и в этом видим наше право на уважение. А творческим должен быть всякий труд, труд столяра не менее труда живописца.

Поэтому интеллигенция не должна возражать против включения ее в систему общенациональных трудовых корпораций. Но в то же время она должна бороться за первое место среди них. Ненормально, чтобы это место было занято металлистами, как в коммунистической России, или земледельцами в возможной России крестьянской. Первое место интеллигенции предполагается иерархией ценностей в системе национального производства. Мысль, слово, форма и звук важнее, выше практических материальных вещей, ибо имеют более близкое отношение к цели культуры, к самому смыслу существования наций. *Telos*, конечная цель, определяет место каждого звена в системе иерархии. Место мыслителя и художника непосредственно вслед за святым и рядом со священником в нормальной иерархии. Но святость не принадлежит к иерархии социальной.

Корпоративная организация интеллигенции, конечно, не должна означать непременно корпоративной организации ее труда и творчества. Труд ее может быть или совершенно личным (поэт), или корпоративным (академиче-

ский ученый), или лично-общественным (музыкант), но корпорация сейчас более, чем когда-либо, необходима для защиты социального достоинства интеллигенции. Мы сознательно говорим о достоинстве, а не об интересе, ибо не считаем задачей дня борьбу за материальные интересы интеллигенции. Более того, мы боимся, что борьба за материальные интересы, за более высокое вознаграждение может повредить ее достоинству. Внутри каждой профессии, как интеллигентной (!), так и механической (!), неизбежна далеко расходящаяся шкала вознаграждений — от ученика до мастера, и до мастера единственного в своем цехе. Но между цехами не должно быть принципиального неравенства. Нам не следует притязать на уровень жизни, высший уровня рабочей или крестьянской семьи — при условии, если народное хозяйство даст возможность для всех жить безбедно. Более того, нам духовно легче переносить и бедность, ибо наш труд дает высшее удовлетворение. Художник готов голодать ради своего искусства, но ни один ремесленник не будет голодать ради своего ремесла, ибо он не служит ремеслу, а живет им.

Неравенство материальное, вырастающее на почве культуры, может компрометировать ее достоинство в глазах масс, как богатство Церкви или даже слишком большая ее обеспеченность содействует росту сект и антицерковных движений. С другой стороны, соблазн комфортабельной жизни может вызвать прилив в ряды интеллигенции людей, ей чуждых по духу, карьеристов, которых и сейчас более чем достаточно в ее рядах. Ей лучше очиститься от лишних элементов, облегчиться от буржуазного наследства, чтобы с орденской суровостью отдаться своему строгому служению.

Но, отказываясь от лишних рублей, интеллигенция тем более должна настаивать на уважении к ней — в стране, где поприще интеллигенции так долго было возведено в систему.

Эта защита достоинства прежде всего требует ограждения независимости своего труда от всякого вторжения самоуверенного невежества. Мы не можем принять никаких приказов и указаний в области нашей компетенции. Ныне в России сапожники (фигуральные) учат художников, а вахмистры — писателей. Русская интеллигенция глубоко унижена или сама себя унизила. Это ее великий грех перед

культурой и Россией. Нелегко ей будет изгладить из памяти народной эти позорные страницы вольного и невольного рабства. Но она должна искупить их. Искупить самоотверженной борьбой за свободу своего святого ремесла.

В прошлом, в первые годы революции ее свобода нередко попиралась рабочим или человеком из народа, впервые ворвавшимся в храм культуры и учинившим в нем порядочный погром. В будущем опасность угрожает, кажется, не от рабочего, а от солдата. Политически Россию завтрашнего дня, в ее трудной международной и междунациональной обстановке, трудно представить себе иначе, чем в форме военной или полувойенной диктатуры. Опыт всех современных диктатур показывает, как трудно дается им самоограничение. Наш век соблазняет тоталитарностью, и генерал, привыкший решать политические и социальные вопросы своего времени, кончает декретами в области поэзии и музыки. Такая перспектива обязывает быть на страже. Интеллигенция должна оградить свою духовную свободу от всех покушений, откуда бы они ни исходили, снизу или сверху, от рабочего, крестьянина или солдата, от партийного, государственного и даже — случай, конечно, для России фантастический, — клерикального вмешательства.

Но это ограждение достоинства культуры не исчерпывается долгом политической независимости. Еще большее значение, пожалуй, имеет восстановление должных иерархических отношений между учителем, или мастером, и учеником. Эта давно уже разрушенная в России иерархия требует того, чтобы ученик относился с уважением к учителю, который посвящает его в тайны своего искусства или науки. Учитель не софист, торгующий мудростью, а служитель мудрости. Признание высшей ценности требует уважения к тем, кто стоит на высшей ступени посвящения или искусства. Не уважая себя, заискивая перед народом, интеллигенция в прошлом приучила народ относиться к ней без всякого уважения. Революция породила целые поколения самоуверенных полужнаек, которые снисходят до спецов, но мстят им презрением за прошлое неравенство. А между тем без искреннего сознания неравенства нельзя и представить себе культурного восхождения. Всякий работник культуры, занимающийся не только личным творчеством, но и учительством, должен начинать с того, чтобы



вызвать в ученике, безотносительно к его уровню, сознание своего невежества. Ученичество начинается со смирения. За смирением — трудовая аскеза. Кто не хочет идти методом Сократа — и сказать от всего сердца: «Я ничего не знаю», не может быть допущен в строящийся храм. Здесь не должно быть никакой преступной снисходительности. Никто не должен читать перед аудиторией глумящейся или даже скучающей. Никто не должен учить тех, в ком не встречает достаточного уважения. Культура не должна быть недоступной, но не должна быть и общедоступной. Она окружена кольцом если не огня, то трудового искусства, и путь к ней, особенно к ее вершинам, должен рисоваться по образу искания Грааля.

Конечно, прежде чем заставить народ так относиться к своему служению, интеллигенция должна сама поверить в него. Для этого нужен глубокий переворот в самой культуре и ее понимании. Культура должна быть понята религиозно, или она будет растоптана тяжелым сапогом демагога. На уважение не может претендовать ни легко продающаяся, скептическая буржуазная интеллигенция, ни раболепствующая интеллигенция тоталитарных народов. И здесь и там культурная элита находится в процессе своего разложения. Воскрешение ее требует прежде всего воссоздания духовной иерархии ценностей и потом уже социального воспитания и организации, ей соответствующих. «Ищите прежде всего Царствия Божия...»

## 5

Остается последнее большое сомнение. Отрекаясь от традиции народничества и призывая русскую интеллигенцию на новый, культурно-аристократический путь, не совершаем ли мы духовной измены? Измены не только нашим отцам — тем, что сами так легко отрекались, — но и чему-то высшему. За культурно-политическим кенозисом русской интеллигенции не скрывается ли более глубокий кенозис — религиозный? Да, так оно и есть, конечно. В отрицании государственно-культурного идеала ренессанса (Петра) русское народничество бессознательно выражало отношение к нему русской религиозной души. Кенотично

было русское христианство с младенческих своих лет. Первым русским народником можно признать преп. Феодосия Печерского. Народ, возлюбивший во Христе превыше всего образ убого смирения, народ, хранивший до наших дней — единственный во всем христианском мире — культ юродивых, имеет, несомненно, свое особое религиозное призвание. Посвягать на него не значит ли совершать отступничество от того, что является самым заветным в душе народа?

Борьба с народничеством очень распространена в наше время. Но часто она ведется с таким пафосом, на таком языке, что христианин не может не почувствовать себя уязвленным. В борьбе против народничества, как в борьбе против Толстого (или в современной борьбе против иудаизма) сплошь и рядом, сознательно или бессознательно, происходит восстание против Христа.

Кенозис есть одна из существеннейших идей, или, точнее, один из основных фактов христианства. Может быть, главный — но не единственный. На нем нельзя строить ни политики, ни культуры — в этом убедил нас и горький опыт истории. Но на нем можно строить духовную жизнь, и это обязывает нас в отношении к нему к крайней осторожности.

Культура, как и политика, не принадлежит к самому глубокому и высшему плану бытия. Но бытие многопланово, и христианство сложно. Его истина, объемлющая все истины, есть совпадение противоположностей, *coincidentia oppositorum*; то, что отрицается в одном из низших планов, утверждается в высшем. В вере, в личной религиозной жизни для тех, кто воспитан в русской православной традиции, нет ничего выше кенотического опустошения. Но даже и здесь, в отрыве от других данных христианского опыта, кенозис может быть соблазном.

Христианская любовь двухстороння: она нам открылась одновременно и как Эрос, любовь восходящая, творческая, радостная, и как Агапе — нисходящая, сострадательная, жертвенная любовь. Сейчас много спорят о том, какая любовь является по преимуществу христианской. Бесполезный спор: они не могут существовать одна без другой. Чистый Эрос приводит к язычеству, чистая, кенотическая Агапе — к моральному атеизму. Конечно, культура вырастает из Эроса — из творческой радости об истине, о красоте. Но в этической сфере Эрос изменяет нам и нуждается

в кенотическом восполнении. Впрочем, может быть, не только в восполнении. Эрос, сам себя опустошающий в жертвенном снисхождении — к миру и человеку, — есть все же высший образ любви. По крайней мере таков завет русского христианства.

Вот почему, восстанавливая иерархический строй культуры, не будем думать, что этот строй есть уже строй Царствия Божия. Последнее слово мудрости — о собственном невежестве. Последнее слово земной красоты — в обезображенном крестной мукой Лице.

Было бы глубоко печально — хотя исторически и диалектически естественно, — если бы будущая русская интеллигенция замкнулась в гордом самодовлении. Ее борьба за достоинство своего служения не должна закрывать от нее последней правды о своей человеческой нищете. Отстаивая себя перед господствующим уже народом и его вождями, она должна по-прежнему склоняться перед нищим и страдальцем. Нищета и страдание — метасоциальны. Это духовные категории падшего мира. Склоняясь перед ними, мы склоняемся перед Тем, Кто один может искупить все страдания мира и превратить в чудесные сокровища его нищету.

## ФЕДЕРАЦИЯ И РОССИЯ

Должна ли и может ли предполагаемая федерация народов включить Россию?

Самый вопрос этот получает разный смысл, смотря по тому, ставится ли он с точки зрения Запада или России. Для западноевропейца он означает колебание осторожности, старую привычку к постепенности, к умеренным решениям: сначала попробуем объединить Запад, народы своей культуры, прежде чем будем раздвигать границы объединения на Восток. Всемирная федерация — это в плане утопии, европейская — в плане реальности. А Россия — в Европе ли?

С точки зрения русского, этот вопрос означает последнее убежище русского национализма. Объединяйтесь сами, если хотите. Может быть, Европа в самом деле переросла век национальных государств — особенно малых государств. Но Россия сама по себе целый союз народов, по территории — одна шестая света, не Европа, не Азия, а особый, себе довлеющий мир. Недавняя историософия евразийства приходит на помощь этому националистическому рефлексу, чтобы доказать, что Россия ни хозяйственно, ни культурно в Европе не нуждается.

В противность этому, мы готовы утверждать, что, как европейская федерация немыслима без России, так и культурная жизнь России немыслима без Европы.

Для Европы что проку в том, что она, покончив со своими вековыми распрями, разоружится и наладит мирное сожительство своих народов, если на Востоке она будет постоянно видеть перед собой стену штыков (или танков)? Сможет ли она вообще разоружиться, если Россия останется вооруженной? Как будут разрешаться конфликты, возникающие из территориальных, этнографических и стратегических отношений на западной границе России? Пусть Россия не чисто европейская держава. Но она, во всяком

случае, и не чисто азиатская. На свое несчастье или счастье, она не имеет ни на Западе, ни на Востоке четких рубежей. Это предопределяет для нее необходимость политически жить в сложном мире как европейских, так и азиатских народов. Ее изоляция невозможна и нелепа. Еще в XVI веке, когда Москва культурно жила за искусственно созданной китайской стеной, политически она должна была войти в круг западных держав: искать дружбы с римским цесарем, с Данией, с Англией — хотя бы для того, чтобы обороняться от ближайших соседей-врагов. Балтийские, польские, даже балканские интересы России принадлежат не к искусственным «империалистическим» наростам на ее политике, а к органическим темам ее истории. Загнать в Азию Россию еще никому не удавалось, не удастся это и самим русским, если бы они того захотели. Оставаясь в Европе и давя на нее всей своей огромной тяжестью, Россия может быть или страшной для нее опасностью, или одним из существенных элементов ее равновесия. С Петра Великого Россия жила общей жизнью с Европой, не раз в критические часы истории — 1813, 1914 годы — помогала спастись в общей беде. Неужели Ленин мог одним разом переломить тысячелетнюю историю России? Что этого не случилось, доказывает сам его преемник своим неожиданным выходом за западные рубежи. При всей гибельности разбойных приемов Сталина, самое направление его интересов доказывает, что об изоляции России не может быть и речи. Она остается, как была, неразрывно связанной со всем комплексом восточноевропейских политических сил.

Впрочем, можно поставить и другой вопрос: о какой федерации идет речь? О европейской ли? Пока вопрос о федерации ставится чисто теоретически, ее можно ограничивать как угодно: Европой, Западной Европой — и в этом ограничении видеть признак благоразумия. В действительности, идея федерации принадлежит Англии. Но Англия, точнее Британская Империя, это не чисто европейское государство. Ее доминионы и колонии раскинуты по всем частям света. Одной шестой — СССР с его 170 миллионами — она может противопоставить одну четвертую и 450 миллионов. Если большая часть этого политического тела находится вне Европы, можно ли говорить о европейском

характере федерации? Но Англия уже сейчас надеется на участие в ней Соединенных Штатов Америки. Лорд Лотинан, британский посланник в Вашингтоне, является одним из творцов этого замысла. Наконец, эта самая Британская Империя в целом ряде точек соприкасается, географически или политически, с азиатскими владениями России: на Дальнем Востоке, в Афганистане, в Персии, на Черном море. Здесь находится источник бесконечных конфликтов — или основа для договорных отношений. Как показал опыт русско-английского сближения при императоре Николае II, интересы двух мировых Империй не могут быть признаны непримиримыми. Англия будет договариваться с Россией в Азии, как она будет договариваться с ней же (в союзе с Францией) в делах Восточной Европы. Но время простых разговоров прошло, как проходит и время вооруженных угроз. Наступает эпоха правового творчества, то есть властно обязывающих решений. Россия необходима для организации мира почти в такой же степени, как и Британская Империя.

Но нужна ли самой России организация мира, нужна ли России Европа?

Россия сейчас в ссоре с Европой. И не Сталин, конечно, первый рассорил их. В Сталине эта ненависть к Европе лишь созрела до дьявольского замысла: разжечь мировую войну, чтобы на пепелище Европы, среди пустынь бывлой христианской цивилизации, построить могущество русского красного царства. Но ссора началась задолго до Сталина и даже независимо от коммунизма. Ведь и коммунизм является, или являлся, гримасой русского европеизма, искажением русской боли за Европу. Ссора восходит к 1917 году и питается горечью русских унижений. Русское национальное чувство было уязвлено глубоко поражением, разделом, падением России и, не желая взять на себя ответственность, не имея мужества покаяния, стало искать виновника вне себя — на Западе, недавно еще связанном с Россией круговой порукой войны. Это извращение русской боли за Россию одним из первых выразил Блок в своих «Скифах», чудесные стихи которых должны были подслать измену — не Западу, а самой русской идее: славянской, христианской, культурной традиции России. С тех пор русское скифство гуляет по ту и другую сторону рубе-

жа. Оно совершенно подобно тому отречению от Европы, которое, на почве того же унижения и бессильной злобы, совершили две дочери уже западной (римской) Европы: Италия и Германия. В свете этих скифских настроений многим казалось, что Россия может жить как Россия и пережив Европу и что ей вообще незачем связывать свое будущее с обреченным миром.

Безумное ослепление, самоубийственная мысль!

Автаркия России может быть оправдываема, на худой конец, лишь экономически. Подобно Соединенным Штатам, российский материк представляет условия, почти удовлетворяющие требованиям хозяйственного самодовления. Но разве об этом сейчас речь?

Разве от экономической только неурядицы погибает мир? Но уже политическая автаркия России, как мы видели выше, является вредной утопией. И на Западе, и на Востоке Россия выросла всеми своими членами глубоко в другие политические миры. Ее нельзя оторвать от мировых силовых систем, как нельзя разрубить сиамских близнецов.

Что же сказать об автаркии культурной? О перспективах русского будущего в случае гибели Европы? Тяжело говорить об этом сложнейшем вопросе в нескольких строках. Но надо выразить свое убеждение, основанное на опыте тысячелетней истории: Вот оно. Россия и Запад имеют не совсем тождественные истоки; это определяет, вероятно навсегда, особенность двух христианских миров. Но и Византия, и Рим восходят к той же Греции. Это объясняет сравнительно легкую возможность общения и взаимного оплодотворения. Петровская Россия была не изменой — или не только изменой, — но и обретением собственной сущности в заимствованных формах культуры. Лишь благодаря Западу Россия могла выговорить свое слово. В своей московской традиции она не могла найти тех элементов духа (Логоса), без которых все творческие богатства останутся заколдованной грезой. С Европой она проснулась и, мужая, работая, борясь, до конца опиралась на опыт и разум западной сестры, которой уже начала щедро платить за науку. Ныне эта связь жестоко порвана вместе с истреблением целого культурного слоя, бывшего хранителя этой связи. Результатом было общее оскудение и опошление. Первым роковым признаком недуга было падение ли-

тературы — последний демонстрируется в лесах Финляндии, в разгроме русских дивизий.

С этой интерпретацией можно спорить, можно искать других причин русских поражений и русского упадка под коммунистической властью. Эти другие причины существуют, смешно было бы отрицать их. Думается только, что и после освобождения России от сталинизма ей не жить цветущей культурной жизнью, если она сохранит китайскую стену, отделяющую ее от Запада, или если этот Запад погибнет как культурный мир.

Есть один элемент христианской культуры, нам всем дорогой, любовно выращенный в петербургский период нашей истории и теперь выкорчеванный без остатка. Это свобода, которая с таким трудом пробивалась в крепостнически-самодержавном царстве, но наконец сделалась неотъемлемой частью русской жизни. Эта свобода целиком выросла на почве западной культуры как результат сложного воздействия духовных сил. В византийско-московской традиции у нее не было никаких корней. В этом и состояла трагедия русского славянофильства и вообще русского национального свободолюбия. Вот почему с такой невероятной легкостью свобода могла быть выкорчевана из сознания русских масс, лишенных общения с внешним миром, принесших в марксистскую школу лишь древние инстинкты Московии. Коммунизм сгинет вместе со своими идеологическими катехизисами. Но Московия останется. Останется тоталитарное государство, крепкое не только полицейской силой, но и тысячелетними инстинктами рабства. Разбить его может лишь новый — столь же тоталитарный, то есть религиозный — идеал свободы, который некогда разложил и старую Московию. Но сейчас свобода жива лишь на христианском Западе и ведет отчаянную борьбу с обступившими ее силами тьмы. Война ведется не только на полях сражений, но и на всех участках культурного фронта: в искусстве, в философии, в теологии. От исхода этой борьбы зависит участь мира на много веков. От нее зависит и участь России. Судьбы России решаются на линии Мажино, в Атлантическом океане, в снегах Финляндии. Странно, дико сложилась история. Русские войска умирают за свое собственное рабство. Финны сражаются не только за свою свободу, но и за свободу России.



## НОВОЕ ОТЕЧЕСТВО

Dulce et decorum est pro patria mori.

*Гораций*

Патриотизм есть последнее убежище негодяя.

*Д-р Джонсон и Лев Толстой*

Современная война в своем пафосе, в своих осознанных и полусознанных целях таит одно противоречие. Вскрыть его нужно не для того, чтобы беречь раны, по старой русской привычке, но чтобы помочь его преодолению. По отношению к военной политике люди разделяются на два лагеря. Одни считают, что говорить сейчас, до победы, о мире преждевременно. Другие думают, что важно выиграть не только войну, но и мир. Страшнее всего проиграть мир после всех нечеловеческих усилий и жертв. Проиграть мир после победы значит очутиться опять лицом к лицу с хаосом, как после 1918 года, не справиться с демонами, разбуженными войной, и беспомощно — и уже безнадежно — поплыть по течению к конечной гибели. О защите будущего мира нужно думать уже сейчас со всем напряжением умственных и духовных сил. Признаемся, что мы разделяем мнение людей этого лагеря и потому не считаем преждевременным говорить о противоречиях войны.

Основное противоречие ее — между интернационализмом ее целей и национализмом сражающихся народов.

Еще осенью 1939 года, в первые дни войны, интернациональная нота ясно прозвучала в устах английских и французских ответственных вождей. Эта война не только ради самозащиты. Она должна привести к установлению нового международного порядка. Мир должен быть гарантирован прочно, общей властной организацией, отличной от безвластной Лиги Наций. С тех пор эта нота не переставала звучать, в последнее время всего громче в устах американских государственных деятелей (Кордель Холл). К сожалению, Атлантическая хартия, единственный обязывающий

документ со стороны «союзных наций», очень скупо говорит о новом порядке, стоя скорее на старой позиции самоопределения народов. Эта скупость, конечно, не случайна: она говорит о больших трудностях, стоящих на пути к новому строю.

Трудности множатся по мере развития войны. Если, с одной стороны, медленно — слишком медленно — растет и укрепляется экономическая, военная и политическая связь между союзными державами, то, с другой, растет и обостряется национализм поработанных Германией народов. Неслыханные насилия и унижения национального чувства вызывают естественную человеческую реакцию. Даже люди, вчера равнодушные к судьбам отечества, потеряв его, переживают по отношению к нему вспышку страстной любви. Хорошо говорить о будущем порядке тем, кто живет в уютном прадедовском доме и думает застраховать его от пожара и войны. Но о чем могут думать миллионы беженцев, выгнанных с родины, или люди, превратившиеся во «внутренних эмигрантов», как не о возвращении родины? Возвращение, «старый порядок» — становится сладостной мечтой. Активные, горячие, живущие борьбой мечтают о мести. По человечеству нельзя осудить их. Миллионы истребляемых евреев, сербов, как и униженных и оскорбленных французов, голландцев и норвежцев, горят сейчас одной мыслью: уничтожения Германии. Легко себе представить, что ни о чем другом не думают и в Советской России. По крайней мере ни один звук не донесся оттуда, который мог бы быть истолкован в смысле универсальных целей войны. Там война переживается как национальная, отечественная, освободительная. О том же и только о том говорит и генерал де Голль в своей программе: восстановление Франции и ее Империи — вот идеал свободной или «воюющей» Франции. Без сомнения, этот взрыв патриотических чувств в поработанной Европе является одним из мощных факторов победы. Люди, потерявшие национальное сознание, легко примиряются с немецким завоевателем. Нельзя не предпочесть, политически и морально, национализм де Голля пацифизму Де-Мана. Но ясно, каким огромным препятствием для организации мира является весь этот котел кипящих, взаимно непримиримых национальных страстей.

Нет, не «свободные» (то есть поработанные) народы и не СССР пронесут сквозь ад войны образ нового мира. Если кто может думать о нем, если у кого не захлестнуло разума волной «праведной» злобы, то это две великих англосаксонских демократии. Здесь еще есть люди, которые помнят не только о победе, но и о мире. Но и здесь нет единства. Мы видим две Америки: Америку Рузвельта, великодушную и дальновидную, сознающую ответственность за оба полушария, — и другую Америку, вчера еще изоляционистскую, которая теперь согласна лишь на войну во имя национальных целей. Вероятно, та же борьба происходит и в старой Англии, но до нас доходят сюда лишь слабые ее отголоски.

Невозможно видеть в этом споре о целях войны какую-либо тжбу реалистов и идеалистов. Слишком ясно, что в данном случае реалисты просто слепцы, которые идут к своей и всеобщей гибели. Их реализм — паралич ума и воображения, а не рассудительность опыта, законно ищущего в прошлом опоры для жизни. Даже тогда, когда «идеалисты» и «реалисты» говорят как будто об одном и том же: о гарантиях будущего мира, о международном правопорядке, — они говорят о разных вещах. Для одних речь идет о поддержке старого национального отечества средствами международной полиции, для других — о создании нового сверхнационального единства. Последний вопрос, разделяющий их, есть вопрос о суверенитете. Кому принадлежит верховный суверенитет: сегодняшнему национальному государству или сверхнациональному государству завтрашнего дня?

Безумна и революционна наша жизнь с ее неслыханными темпами. Она ставит проблемы, которые далеко опережают сознание большинства. Многие, бывшее вчера утопией, сегодня становится неотложной необходимостью. Есть объективные требования жизни, которые вытекают не из нравственных идеалов передового меньшинства, а из собственной логики. Было время, когда социализм или проблема вечного мира были идеалом, постулатом нравственного сознания. Теперь как социализм в новом аспекте организованного мирового хозяйства, так и пацифизм в форме принудительного международного порядка диктуется самосохранением нашей культуры. Нам уже не дано решать, что лучше, что хуже: организованное или свободное государство, национальный или

международный суверенитет. Здесь выбор не между двумя формами жизни, а между жизнью и смертью.

Проблема, поставленная сейчас жизнью, есть обуздание национального государства, а не одной Германии, как склонны часто упрощать дело. Германия действительно воплощает сейчас дух агрессии. Но одна ли она им одержима? Уберите Германию с карты Европы — даже без всякой возможности ее возвращения, — можете быть уверены, что преемник ей скоро найдется, если оставить неприкосновенной систему сосуществования суверенных государств.

## 1

Есть доля правды в утверждении, что национализм становится мировой опасностью лишь в фашистском, тоталитарном государстве. Уничтожение фашизма есть, таким образом, лучший путь к обеспеченному миру. Действительно, в настоящую эпоху мы не видим воинственных демократий. Но сам фашизм является скорее порождением национальной горячки, чем ее отцом. Это верно по крайней мере для Германии и Италии. А Япония сумела воплотить тоталитарно-национальный идеал и вне своеобразных форм фашизма. Искоренение политического фашизма еще не спасает от острого националистического заболевания. И этот национализм всегда найдет для себя тоталитарные формы. Демократия не пригодна для народа, который делает войну идеалом своей жизни. Для тоталитарного, военного воспитания деспотизм в том или ином виде единственно возможная государственная система.

Не следует придавать поэтому решающего значения тому факту, что за двадцать лет от Версальского мира до новой войны агрессорами являются фашистские державы (да и здесь сомнительно понимание Японии как фашистской страны). Опыт этого двадцатилетия учит другому: опасности суверенного национального государства и в то же время его беззащитности. Оно опасно в своей силе, беззащитно в своей слабости. Никто не спас Манчжурии, Абиссинии, Албании, Австрии, Чехии, несмотря на существование мирового арбитра — в Женеве. Лига Наций не имела суверенитета, а суверенитет народов (кроме агрессоров)

оказался для них роковым преимуществом: это он был источником их незащитности.

Люди, ориентированные на прошлое, и притом не очень давнее, мнимые реалисты, живущие в XIX столетии, отвечают: когда же это было иначе? Безопасность — вредная утопия. Жизнь опасна, свобода опасна. Война стара, как человечество. Войны задерживали прогресс, но не могли остановить его. Мир — не вечный, но длительный — покоится не на сверхнациональной организации, а на временном равновесии сил.

Говорящие так не отдают себе отчета в том, что чудовищная техника наших дней в корне изменила все условия жизни. Теперь количественные различия, обусловленные техникой, переходят в качество. Невозможна свободная езда по дорогам, пересекаемым тысячами автомобилей. Невозможно сохранение личных патриархальных отношений хозяина и рабочего в современной фабрике. Невозможна свобода войны и мира для государств, вооружения которых способны взорвать на воздух всю нашу цивилизацию. Война перестала быть бурей, грозой, подчас живой. Она стала чем-то вроде болезни, все разлагающей и неизлечимой. За двадцать лет еще не были залечены раны первой войны. Экономическое расстройство, порожденное ею, превратилось в общий кризис. Вызванный ею же подрыв демократического сознания привел к фашистскому обвалу в половине Европы. Ослабление великих европейских наций поставило на очередь восстание цветных материков против гегемонии белой расы. И через двадцать лет новая война начинается с того места, на котором остановилась первая. Реванш побежденной Германии, в союзе с ненасытившимися партнерами старой антигерманской коалиции, делает новую войну продолжением первой. Это значит: война не кончается, не может кончиться, пока не останется камня на камне от нашей цивилизации или пока эта цивилизация не найдет своего политического единства.

Изолированное государство более не может существовать. Оно не способно организовать ни своего хозяйства в слишком узких границах, ни своей безопасности слишком слабыми силами своих армий. Оно должно найти в себе силы для более широкой интеграции или погибнуть.

Как ни нова и ни беспримерна мощь современной тех-

ники, сама проблема интеграции политических организмов, принадлежащих к культурному единству, стара как мир. Время от времени человечество или, вернее, отдельные его цивилизации чувствуют себя стесненными в старых политических рамках. Под влиянием новых культурных потребностей, но почти всегда путем войны старые общества-государства вступают в новые высшие соединения. Греко-римские городские общины сливаются в Империи, феодальные княжества — в национальные государства. Процесс тяжелый и мучительный. Нелегко иберу или галлу подчиниться римскому игу или Великому Новгороду смириться перед Москвой. Но история неумолима. Ценой отказа от узкой независимости-суверенитета культура покупает себе возможность жизни, роста, процветания уже не в Нормандии, не в Новгороде, не в Афинах — а во Франции, в России, в космополитической «Римской Империи».

Опыт Рима особенно поучителен для нашего времени. Рим интегрировал не одну национальную культуру, а все многообразное единство средиземноморских культур, уже давно тяготевших к единству, несмотря на пестроту национальных и местных антагонизмов. И культура, которую он защищал своим мечом, была не его национальной, римской или греко-восточной — по своему сознанию, уже все-ленской. И все же то был очень болезненный процесс. На пути к единству пролились реки крови. Старые отечества не хотели умирать. Рим и Карфаген, Рим и Босфор, Рим и Галлия — сколько жестоких вековых поединков! Несмотря на далеко зашедшее культурное единство средиземноморского мира, национальные или локальные чувства были сильны. Замечательно, что они были сильнее у варваров, чем у культурных греков или сирийцев. Не одно гражданское вырождение Востока было тому причиной, но и космополитическое сознание, прокладывающее дорогу римской государственности.

Сейчас мы живем в таком же противоречивом мире, объединенном хозяйством, наукой, техникой, укладом жизни, в значительной мере даже искусством. Действительно, искусство наших дней, в его высших и низших проявлениях, одинаково удалилось от романтического идеала национального искусства, которым жил XIX век. По существу, культурные различия между народами Европы

не более значительны, чем между княжествами средневековой Франции, и совсем уже несравнимы с пестротой древних культур Средиземноморья. Но политика и здесь, как и везде, отстает от жизни. Государственное сознание остается прикованным к старым суверенитетам, зажатым в узкие национальные границы. Отсюда кровавые муки родов нового великого отечества.

Что это будет за отечество? Костная мысль пугается огромностью встающего мира и хочет облегчить себе переход к нему. Завещанные XIX веком привычки эволюционной мысли соблазняют ложным реализмом постепенности. Не все сразу. Мы не созрели до мирового отечества. Ближайший этап перед нами — это система федераций: Центральноевропейская, Восточноевропейская, Дунайская, или Балканская, плюс уже существующие: Британская, Российская и т. д. Для многих сейчас это единственно мыслимое завершение войны. Но что же это за решение? Что оно решает? Какая из этих федераций обладает действительной автаркией? Какая может обеспечить свою безопасность своим собственным мечом? Ведь это чистый предрассудок — хотя и лестный для представителей великих наций, — что только малые государства нежизнеспособны, беззащитны и опасны для общего мира. Как ни бессмысленны мелкие конфликты юго-востока Европы, не они взорвали мир. Конфликты между великими державами куда опаснее: франко-германский, германо-русский, германо-славянский. Европа, разделенная на четыре-пять федераций, представляет такой же пороховой погреб, как и Европа тридцати национальных государств. Да и легче разрешаются конфликты в великом целом, чем в малом. Не Балканской федерации замирить вековую ненависть ее народов; это по силам какой-нибудь пан-Европе. Совершенно так же, как распри народов Кавказа разрешатся не Кавказской федерацией, а по крайней мере Всероссийской. Следовательно, и осуществление великой Федерации не труднее, а легче осуществления малых, вопреки близорукому реализму постепеновцев.

Отказавшись от идеи областных федераций, не возвращаемся ли мы к знаменитому проекту пан-Европы? Но война произнесла над ним свой окончательный суд. Европа без Англии, центрированная вокруг Германии, — теперь

это чисто немецкий идеал. Но если Англия или даже Англо-Америка становятся средоточием и даже организующей силой, то это уже не Европа — по крайней мере в географическом смысле. Англосаксонский мир, расселившийся по всем частям света, плюс истощенная войной Европа, которая может быть теперь только придатком к нему, — вот первые очертания будущего отечества. Культурно и духовно это все та же Европа, то есть предел распространения былой греко-римской и христианской культуры, еще поныне живых и живительных в своем наследии. Кто присоединится к этой духовной Европе из вне лежащего мира, сейчас невозможно предвидеть. Это будет делом текущего политического дня, тогда как создание «европейского отечества» — дело, подготовленное тысячелетней историей. Европа уже существует как нация в культурном смысле, хотя и разделенная междоусобицами, — она должна лишь создать для себя политическую форму.

Дальнейший рост этой океанической Европы зависит от напряжения культурных сил — по крайней мере социальных и политических. Здесь могут быть всякие неожиданности. Так, Китай или Индия, при всей глубокой несродности нам 'их древних цивилизаций, в настоящее время разделяют наши нравственно-политические предпосылки, выросшие на христианской основе. Быть может, они даже являются лучшими защитниками этих начал, чем сама духовно надорванная Европа. С другой стороны, всем прошлым своим связанные с Европой Германия и Россия, по крайней мере сейчас, остаются вне Европы как духовно-политического единства. Фашизм несовместим с традициями старой Европы — более того, он для нее смертелен. Лишь внутренне и свободно преодолев фашизм, страны диктатуры могут искренне согласиться на вступление в новое великое отечество. Преодоление фашизма здесь не единственное условие. И простой национализм, до известной степени законный, но реакционный и несовместимый с завтрашним днем истории, будет противиться отказу от государственного суверенитета. Для патриота это будет казаться непосильной жертвой. Отчаяние и безнадежность иного существования облегчают объединение порабощенных народов. Но сильные, победоносные или хотя бы и побежденные, но стойкие до конца не пойдут — долго не пойдут — на акт,



который будет им представляться национальным самоубийством.

Но, может быть, здесь и лежит подводный камень, обрекающий на крушение все планы нового политического мира? Вне Европы останутся огромные массивы, ранее входившие в ее состав. Не расшатает ли это с самого начала задуманное построение? Думается, что трудности, вытекающие из ограниченности будущего отечества, не являются непреодолимыми. Существенно лишь то, чтобы оно сосредоточило в своих руках подавляющий экономический и военный потенциал, который бы делал борьбу против него невозможной. Тогда разоружение мира перестанет быть утопией. Государства и народы, цепляющиеся за свою суверенность, могут быть связаны с мировой державой договорными отношениями, делающими и для них возможным участие в экономической и культурной организации мира. Конечно, главная опасность именно здесь: опасность будущих конфликтов и войн, связанных с независимостью национальных государств. Возможно, что недоделанное в этой войне будет dokonчено в будущей, как ни страшно об этом думать. Во всяком случае, выбора нет: единство или гибель.

Утопизм, которым отличаются почти всегда разговоры о едином отечестве, характеризует не самую цель, а предполагающиеся средства к ней. Утопична, в самом деле, мысль, что пятьдесят независимых государств могут в один прекрасный день на общей конференции — в Женеве или Вашингтоне, — никем не принуждаемые, совершенно свободно отказаться от своего суверенитета. Но совершенно не утопична, например, мысль о возможном завоевании мира — в одном или двух поколениях — сильнейшей мировой державой. Завоевание Европы Гитлером уже почти совершившийся факт. Если мы верим, что это завоевание не окончательное и что Германии не удастся удержать за собой завоеванный материк, то наша уверенность вытекает прежде всего из характера завоевателя. Германии не дано *racis imponere potest*. «Новый порядок», который несет Гитлер, есть порядок господства, а не сотрудничества. В жертву одной расе, то есть народу, обрекаются на гибель и рабство десятки миллионов. Народы Европы не могут примириться с такой участью. Но с потерей суверенитета они теперь уже примирились бы, если бы Гитлер или другой

властелин действительно нес им блага прочного мира, экономического процветания и известной культурной свободы. Недаром столько социалистов Франции и Бельгии на первых порах поторопились признать немецкое завоевание. Мир и единство — слишком соблазнительные вещи для современного человека. Не одна трусость и низкий расчет загнали Деа, Бержери и Де-Мана в гитлеровский стан. Но великая задача, которая решалась некогда с успехом Цезарем, и с меньшим успехом Наполеоном, не по плечу Гитлеру. Его государственные идеалы слишком низменны. Бисмарк на его месте, может быть, сумел бы действительно покорить и замирить Европу.

Счастье наше — если не слишком возмутительно говорить о счастье среди бойни и кладбища, — что мы имеем альтернативу Германской Империи в федерациях англосаксонского мира. За последние полвека Англия сумела, хотя и не до конца, перестроиться из насильственно сколоченной Империи в свободный союз народов. Отдельные части этого союза, как и само целое, как и ранее оторвавшаяся от него великая Северо-Американская республика, связаны федеративными узами большей или меньшей прочности. Это первый в истории удачный опыт федеративной государственности в великодержавном масштабе. Его удача дает возможность иначе оценивать пресловутую утопичность федерации как основы мирового государства.

Империя или федерация? Эта альтернатива не точна, если дело идет о форме будущего мира. Британия есть Империя в форме федерации, где средневековые титулы монарха являются символами единства свободных народов. Реально возможна лишь антитеза между свободой и принуждением. Но и она в чистом виде беспочвенна. Не может быть государства, построенного лишь на одной свободе, как и на одном принуждении. Сила и принуждение всегда были и будут фактором государственно-образующим. Но прочность государства зависит от добровольного признания. Свобода и сила, добровольность и принуждение должны быть положены в основу создания и новой государственности. Война облегчает, а не затрудняет это создание. Она приучает людей к необходимости принуждения, к добровольной или недобровольной жертве своей свободой. Чего не могла добиться старая Лига Наций от своих суве-

ренных членов, того может легко потребовать коалиция победителей, опирающаяся на силу победоносных армий. Новое федеративное отечество имеет своей политической предпосылкой гегемонию победителей.

«Гегемония — значит господство? Господство — значит угнетение? — скажут многие, учившиеся думать по плакатам, а таких теперь большинство. — Вы предлагаете нам вместо немецкой или русской Империи Англосаксонскую федерацию? В чем преимущества?» Ответить легко ссылкой на конкретный опыт. Тому, кто мог спастись из лагерь любого тоталитарного государства, сохранив свою голову от фашистских идеологий, жизнь не только «угнетенного» индуса, но и негра в африканских колониях представляется раем. Да и сама структура Британской Империи, как и Соединенных Штатов Америки, исключает политическую тиранию, оставляя, самое большее, возможность экономических и социальных преимуществ правящего слоя. Вместе с социальной демократизацией, идущей гигантскими шагами, сами эти преимущества капиталистического класса сойдут на нет. Останутся, вероятно, неравенства в уровне жизни, в оплате труда между разными расами и народами; такое ли это непереносимое зло?

Федеративность нового общества, исключая «сплошной» централизм, сохраняет старое отечество с ограниченными функциями. Международная политика и хозяйство выходят из его компетенции, но за ним остается значительная доля культурной политики, полиции и правосудия. Превращаясь из суверенного государства в штат, оно сохраняет свою символику, пышность исторических костюмов и традиций. Это облегчает переход для гражданского сознания. Старое отечество существует, хотя и не посылает своих сынов на смерть для защиты своих интересов и престижа. Лояльность и подданство разделяются между великими и малыми отечествами, возвращая Европу в мир оклеветанного феодализма. Феодализм, то есть разделение суверенности между рядом политических сфер, раскрепощает личность от всепоглощающего этатизма, который встал угрозой для свободы. Недаром наша свобода родилась с Великой хартией в недрах феодализма.

Опасность грозит совсем с другого конца: не от насилия, а от безвластия или от бездействия власти. Лига На-

ций погибла от нежелания гегемонов 1919 года обнажить меч на защиту ее законов. Новая власть победоносных демократий стоит с самого начала перед необходимостью военного и политического принуждения для умиротворения и организации мира. Разоружить народы, пресечь немедленно национальные вендетты, избитие меньшинств, политический террор, бесконечные и бесплодные пограничные тяжбы... Сколько труда, сколько пота и крови предстоит отдать, прежде чем наша старая планета будет вновь пригодна для жизни разумных существ. И если кто-нибудь примет на себя ответственность за общее дело, возьмет почин и водительство, народы благословят его, какие бы ошибки и даже злоупотребления он себе не позволил. Власть не всегда средство эксплуатации. Бывает — и не так редко, — что она является орудием для осуществления высокой миссии. И нет миссии выше и благороднее, чем осуществление нового не средиземноморского, не римского, а европейского в культурном смысле или, чтобы не обижать Америки и не забегать вперед истории, скажем — «Атлантического» мира: *Pax Atlantica*.

## 2

Для нас, русских, как для большинства людей нашего времени, отечество слишком слилось с нацией; нам трудно — для многих невозможно — и помыслить разрыв между ними. Во всяком случае, он не кажется заманчивым — скорее всего он пугает. Мы привыкли думать, что национальная культура нуждается в государственной охране, как черепаха в скорлупе, и что без брони государства она рискует погибнуть в борьбе за жизнь. Формулируя так наше традиционное отношение к нации, мы обнажаем его слабость. Оно действительно вытекает из малодушия или из неверия в силу духа. Его можно было бы признать за выражение национального атеизма. Конечно, у русского общества никогда не было того особенного вкуса к государственности, которым отличаются, например, современные немцы. В нас говорит не столько любовь к принуждению, сколько привычка к нему. Несмотря на весь наш вековой протест против давления государства на культуру, мы сжились с этим

бытом и, когда наши духовные силы были надорваны революцией, оказались беззащитными перед соблазнами старого, уже разрушенного мира.

А между тем история совсем не подтверждает предполагаемого совпадения государства и национальной культуры. Это совпадение бывает скорее исключением, чем правилом. Нам заслоняет перспективу XIX век со своей мечтой — построить государство на чисто национальной основе. Мы принимаем за действительность мечту романтиков и патриотов прошлого столетия.

Но прежде, чем говорить о фактах, надо условиться о понятиях. Что мы понимаем под нацией? Конечно, здесь мы не имеем возможности обосновывать наше определение; важно хотя бы установить его.

Нация, разумеется, не расовая и даже не этнографическая категория. Это категория прежде всего культурная, а во вторую очередь политическая. Мы можем определить ее как совпадение государства и культуры. Там, где весь или почти весь круг данной культуры охвачен одной политической организацией и где, внутри ее, есть место для одной господствующей культуры, там образуется то, что мы называем нацией. Не народ (нация) создает историю, а история создает народ. Английская нация создавалась лишь в XIV веке, французская — в XI веке, после многих веков государственной жизни. Культурное единство, достаточное для образования нации, довольно трудно определимо по своему содержанию. В него входит религия, язык, система нравственных понятий, общность быта, искусство, литература. Язык является лишь одним из главных, но не единственным признаком культурного единства. Швейцария — нация без языкового единства, может быть и Россия — СССР — так же.

Это культурное богатство не дается сразу ни одной этнографической народности, но постепенно наживается ею в ее исторической жизни. Но очень часто культурное единство вовсе не вмещается в рамки общей государственности. Простое обозрение великих исторических культур показывает, что национальные, то есть охваченные государством, культуры встречаются реже, чем культуры сверхнациональные.

Древность дала нам два великих национальных государства — результат географической изоляции, — где границы культуры и государства почти совпадают: это Египет и Ки-

тай. Но вавилонская культура не смогла создать для себя политического единства: в одной Палестине, культурной провинции Вавилона, было место для десятка малых государств. Никогда не знала политического единства и великая культура Индии. Вот почему Индия никогда не была нацией и если станет ею, то этим она обязана только английскому воспитанию. Культура Греции развивалась в сотнях маленьких отечеств. С нашей точки зрения, нельзя говорить о греческой нации, но лишь о греческой культуре. Объединительные тенденции эллинистического мира завершились в Империях, где греческая культура была брошена в плавильный тигель с иными культурами Востока и Запада. В христианском средневековье народы жили в тесном духовном и культурном единстве, которое никогда не получало другого единства в государственной сфере, кроме символического: «Священной Римской Империи». Столь же универсальна и многогосударственна была и культура ислама. Лишь на наших глазах Кемаль-Паша, выученик либеральной Европы, создает чисто национальное турецкое государство. Для старого государства Османов не «турок», а «православный» было символом отечества, как «христианин», «католик» для средневековой Европы и даже Руси («крещеный», «православный»).

В новую эпоху из распада католического мира создаются действительно национальные государства: Англия, Франция, Испания... Но наряду с ними существуют вплоть до XIX века исторически создавшиеся, не национальные, а чисто территориальные политические единства. Австрия погибла лишь в 1918 году — и сейчас многие ее оплакивают. Все мы знаем, что Германия и Италия лишь в прошлом веке осуществили свое единство, то есть создали государственную броню для своих уже древних и великих культур. Опоздавшие на пир, они набросились с жадностью на сомнительные яства и теперь морально расплачиваются за невоздержание. Конечно, не случайно, что фашизм, то есть острое национальное заболевание, поразил прежде всего эти страны — новорожденного и потому особенно острого национального сознания. Замечательно, что величайшие свои культурные достижения Италия дала в век Возрождения (или еще в средневековье), а Германия в век Канта и Гете (или еще в Реформации), когда обе эти страны

не имели политического национального существования. Италия его вообще не знала с римских времен до Виктора-Эммануила II. И вот этот давно лелеемый романтический национальный идеал, едва осуществившись, на наших глазах стал отравлять источники той самой культуры, которая его создала, глубоко исказил ее некогда прекрасные черты и привел эти народы на край духовной гибели.

Ну а Россия? На первый взгляд, она кажется примером национально-государственного образования. Мы все были воспитаны в этом карамзинском убеждении. Но карамзинская схема, коренящаяся в московских официальных традициях XVI—XVII веков («Степенная книга»), есть насилие над историческими фактами. Киевская Русь — эпоха высшего культурного расцвета Древней Руси — не была государством, а лишь системой связанных культурно, религиозно и династически, но независимых государств. Потом на столетия Русь вступает в систему мировой монголо-татарской Империи. Освобожденная, она создает национальное государство под властью Москвы, но Западная Русь остается за его рубежом. Задолго до воссоединения с зарубежной Русью, Москва разливается широко на туранский Восток и Юг, приобретая характер Евразийской Империи. Узкая провинциальная культура Москвы оказывается непригодной для организации и одушевления этой колоссальной Империи. С Петра Россия считает своей миссией насыщение своих безбрежных пространств и просвещение своих многочисленных народов не старой, московской, а западноевропейской цивилизацией, универсальной по своим тенденциям. Как считать национальным государство Екатерины? В глазах самой интеллигенции и власти, Россия является сонмом народов, скрепленных династией, которая несет им свет с Запада. Фелица, киргиз-кайсацкая царевна, друг Вольтера и Дидро. Национализация русской культуры и государственности есть медленный процесс, развивающийся в XIX веке. Еще при Николае I слово «национальный» было символом революционного. Но именно к этому царствованию относится не очень удачное начало национализации русской культуры. Однако этот процесс идет параллельно с возрастающей слабостью Империи. Два последних царя, воспитанные славянофилами, пытались обрушить Империю и вооружили против нее целый ряд ее

народов. Национализм сказался одним из ядов, разложивших императорскую Россию.

Так за все тысячелетие своей истории Россия искала национального равновесия между государством и культурой и не нашла его. На этом пути вообще исторические удачи были только исключениями. Да, Франция и Англия — исторические счастливицы. Но обобщение их опыта в XIX веке завело в тупики. Для многих малых народов, для череполосных насельников, то есть для большинства, осуществление национального государства оказалось невозможным. Версаль окончательно доказал это. Для иных «великих» вставала другая опасность. Государства, заполнившие границы национальной культуры, не желали останавливаться на них и переливались через край, стремясь превратиться в Империи. Но Империя несовместима с принципом национального государства: она или несет сверхнациональную культуру, или, обезличивая малые народы, превращает их в чернозем для возвращения одной нации. *Lebensraum* выдуман не Гитлером. XIX век, начавшийся эрой освободительного национализма, заканчивается борьбой империализмов. Дети и внуки гарибальдийцев завоевывают Ливию и Абиссинию, тщатся поработить славян. Едва объединившаяся Германия возобновляет свой забытый с XV столетия *Drang nach Osten*. Франция и Англия уже успели создать себе колониальные Империи. Но все Империи лишь этапы на пути к единой Империи, которая должна поглотить их всех. Вопрос лишь в том, кто будет ее строить и на каких основах.

Историческая неудача национального государства способна вызвать у многих горькие чувства. Что и говорить, национальное отечество имеет свои преимущества. Оно теплее, милее сердцу; оно согревает строгий закон гражданства любовью к той живительной духовной родине, которую защищает закон. Татарин мог любить Россию, а хорват Австрию. Но их любви не хватало той глубины и полноты оттенков, которые возможны для русского или немца. С другой стороны, насыщенность национальными эмоциями сообщала чрезвычайную силу веления отечества. Национальное государство внутренне гораздо крепче, спаяннее, чем Империя или федерация.

Однако это его преимущество немедленно жеворачи-



вается его пороком. Эгоизм национального государства особенно страшен потому, что питается не только низменными, но и очень высокими чувствами. Убаюканные немецкой музыкой и стихами Гете, немцы легче идут на истребление славян. Так и для нас образ «Святой Руси» облегчал всяческие насилия над инородцами. Парадоксальным образом Гете и Толстой в наши дни делаются воспитателями национальной ненависти. Но это есть уже предательство, измена самой национальной культуре. Связь ее с государственностью, которая берет ее под свою высокую руку, оказывается губительной для культуры.

В завершение всего, представление о том, что за борьбой великих держав стоят еще защищаемые ими великие национальные культуры, оказывается анахронизмом. Европейские культуры уже перестали быть национальными в смысле романтиков. Научно-технический и социальный рационализм XIX века убил остатки выращенных средневековьем и связанных с почвой национальных культур. Умолкла народная песня, вымирает народное искусство. Нигде, кроме маскарадов, не носят национальных костюмов. А народная душа? Школа, газета и фабрика еще до радио и синема нивелировали ее. Что всего важнее, самое значительное в мире духа, в религии, в искусстве, в философии сейчас не носит национального отпечатка. Передовая литература, живопись, музыка сейчас космополитичны. И никакая фашистская акция ничего не в силах изменить в этом факте. Фашисты всех стран говорят о национальной культуре, но, кроме исторических символов и имен, они вкладывают в нее одно и то же содержание. Если бы мы могли мысленно разрезать черепа десятка молодых людей, принадлежащих к Hitler-Jugend, к Балилле, Фаланге и т. д., то увидели бы, что эти черепа набиты одним и тем же: спорт, техника, авиация, военное дело и военные забавы, культ мужества и насилия, товарищества и жестокости, религия государственности, и притом в одних и тех же формах — везде до утомительности одно и то же. Различна лишь направленность ненависти. И эта ненависть к чужому — не любовь к своему — составляет главный пафос современного национализма не в одних фашистских странах. Национальный фашизм оказался товаром для экспорта. Претенциозный борец против рационализма буржуазного общества, он пред-

ставляет типический продукт современной механизации жизни. Но это лишает смысла всю его борьбу — титаническую и безумную. Немцы могут разрушить весь мир во имя великой Германии — которая не будет отличаться от фашизированной Франции, Америки или России.

Нет, современное государство — плохая защита для национальной культуры. Оно оказывается для нее скорее губительным. Вот почему отмирание национального государства не несет с собой никакой катастрофы для культуры нации. Более того, оно ее освобождает. Но здесь необходимо внести одно существенное различие в понятие национальной культуры.

В состав всякой культуры входят элементы более или менее национальные и универсальные. К универсальным в наше время принадлежат наука, техника, спорт и т. д. Но и среди национальных элементов более общи и абстрактны хозяйство и политика, чем, например, искусство, язык и быт. Грядущая универсализация государства может угрожать только политике и хозяйству, которые по необходимости если не целиком, то в значительной степени становятся планетарными. Но хозяйство и политика представляют, вместе с наукой и техникой, наиболее рационализированные пласты культуры. Другими словами, универсализируется рациональная культура — та, которая всеобща по своему строению. Национальное, коренящееся в иррациональных слоях духа может уцелеть и жить, если только найдет в себе жизненные силы. Не от Атлантической Империи грозит ему гибель, а от истощения и скудости собственных сил.

Проблема сохранения национальной культуры совпадает с гораздо более важной — единственной важной — спасения культуры вообще. Стало ясно, как день, что на обездушенном, техническом разуме-рассудке она существовать не может. Человек, утративший связь с миром духовным и с миром органическим, делается жертвой своей собственной техники. Машина и оружие истребляют своих создателей. Все наши планы, мечты и молитвы о спасении покоятся на одной предпосылке: на великой духовной революции, способной возродить и переродить человечество, дав ему новые силы для жизни и творчества. Чтобы жить, человек должен найти утраченные связи с Богом, с душевным ми-

ром других людей и с землей. Это значит в то же время, что он должен найти себя самого, свою глубину и свою укорененность в обоих мирах: верхнем и нижнем. Оба эти мира говорят с ним на языке иррациональных символов. Общение с ними способно возродить, в новом смысле, и национальную культуру, освобожденную от своих рациональных элементов.

Есть одно чрезвычайно привлекательное, хотя и ограниченное явление в культуре нашей эпохи, которое дает ключ к возрождению творческого национализма. Это областническая, или так называемая региональная, литература. Среди зрелища демонических кошмаров, которое являет большое искусство наших дней, областничество остается базисом, где течет, хотя бы и скудный, источник живой воды.

Жионо и Рамюз, может быть, самые значительные писатели Франции — во всяком случае, самые глубокие и чистые. Чем отличается областническая литература от национального эпоса, о котором мечтали романтики? Главным образом отсутствием государства. Здесь человек-крестьянин живет лицом к лицу с Богом и землей. Власть как будто ушла, оставив один вечный символ жандарма, который «не без ума носит меч». Государству-жандарму платят деньгами и кровью, но уже не несут ему своей любви. Нация перестала питать духовно. Франция, Германия, Россия превращаются в идолы прошлого, условная краса которых способна соблазнять риториков, не поэтов. Но Жионо, Рамюз и Пришвин спасают бесценное и вечное, что еще живет во Франции и в России.

Но государство ведь тоже не целиком от дьявола. Оно имеет свое призвание. Его идеальное имя — справедливость. Его закон есть несовершенное выражение нравственного императива. Разум человека и творимая им социальная культура имеют тоже свои права. Восстание против разума — иррационализм современного искусства и политики — есть безумие и грех. Не к уничтожению рационального мы призываем, а к известному размежеванию сфер. Рациональное перерастает нацию. Иррациональное остается уделом нации и ее органических подразделений: племенной, областной, родовой жизни.

Есть символ, который мог бы уяснить и закрепить нашу мысль. В былое время, еще совсем недавно, отец и мать

вводили ребенка и юношу в сферу национальной культуры. Их роль в этом посвящении была не одинакова. От матери ребенок слышал первые слова на родном «материнском» языке, народные песни и сказки, первые уроки религии и жизненного поведения. Отец вводил отрока в хозяйственный и политический мир: делал его работником, гражданином и воином. Разделение между рациональным и иррациональным содержанием культуры до известной степени совпадает с различием материнского и отцовского в родовой и национальной жизни. Этому различию соответствует, или должно соответствовать, двойное именование того национального целого, в которое посвящается ребенок-юноша. На английском языке оно звучало бы как *fatherland* и *motherland*. Наш язык знает не совпадающие по значению, но всегда волнующие слова: отечество и родина. Не совершая насилия над русским языком, легко убедиться, что отечество (страна отцов) связывает нас с миром политическим, а родина-мать с матерью-землей.

То, что совершается в нашу эпоху, не есть разрушение отечества или родины. Но это их необходимое и, конечно, болезненное разобщение. Древний галл не потерял отечества, став гражданином Римской Империи. Если же он потерял родину, которую обрел вновь в глубине средневековья, то это было следствием рационализма греко-римской культуры. Наше отечество не гибнет, но расширяется до океанских масштабов. Моя родина остается конкретной и многоликой: Россия, Великороссия, Поволжье, Саратовский край. Родине своей я отдаю полноту эмоциональной любви, освобожденной от политических страстей (злой эротики). Отечеству отдаю свой разум и волю, направленную на постоянную реализацию справедливости в несовершенных исторических ее проекциях.

Нужно только помнить, что ни отцовское, ни материнское не исчерпывают мир личности. Последнее оправдание личной жизни — в духе, а дух по ту сторону (выше) рационального и иррационального. И материнская, и отцовская культура могут питаться, «одухотворяться» им и в этой мере выражать движение человечества к его высокой цели. Но никогда им не вместить полноты духа, не заменить личной, сверхорганической и сверхрациональной жизни и ее условия — свободы.

## РОЖДЕНИЕ СВОБОДЫ

Полнеба охватила тень.

Лишь там, на западе, брезжит сияние...

«Человек рождается свободным, а умирает в оковах». Нет ничего более ложного, чем это знаменитое утверждение.

Руссо хотел сказать, что свобода есть природное, естественное состояние человека, которое он теряет с цивилизацией. В действительности, условия природной, органической жизни вовсе не дают оснований для свободы.

В биологическом мире господствуют железные законы: инстинктов, борьбы видов и рас, круговой повторяемости жизненных процессов. Там, где все до конца обусловлено необходимостью, нельзя найти ни бреши, ни щели, в которую могла бы прорваться свобода. Где органическая жизнь приобретает социальный характер, она насквозь тоталитарна. У пчел есть коммунизм, у муравьев есть рабство, в звериной стае — абсолютная власть вожака («вождя»).

В XVIII веке на природу смотрели романтически — или, вернее, теологически. На нее переносили учение Церкви о первозданной природе человека и помещали библейский потерянный рай в Полинезии. Но в наше время биология недаром ложится в основу всех новейших идеологий рабства. Расизм корнями своими уходит в биологический мир и, будучи никуда не годной философией культуры, ближе к природной или животной действительности, чем Руссо.

Руссо, в сущности, хотел сказать: человек должен быть свободным, или: человек создан, чтобы быть свободным, — и в этом вечная правда Руссо. Но это совсем не то, что сказать: человек рождается свободным.

Свобода есть поздний и тонкий цветок культуры. Это нисколько не уменьшает ее ценности. Не только потому, что самое драгоценное — редко и хрупко. Человек становится вполне человеком только в процессе культуры, и лишь в ней, на ее вершинах, находят свое выражение его самые высокие стремления и возможности. Только по

этим достижениям можно судить о природе или назначении человека.

Впрочем, даже в мире культуры свобода является редким и поздним гостем. Обозревая тот десяток или дюжину высших цивилизаций, нам известных, из которых складывается для современного историка (Тойнби) некогда казавшийся единым исторический процесс, мы лишь в одной из них находим свободу, в нашем смысле слова, — и то лишь в последнем фазисе ее существования. Я, конечно, имею в виду нашу цивилизацию и наше время, оставляя пока неопределенными границы нашего в пространстве и времени.

Все остальные культуры могут поражать нас своей грандиозностью, пленять утонченностью, изумлять сложностью и разумностью социальных учреждений, даже глубиной религии и мысли, но нигде мы не найдем свободы как основы общественной жизни.

Личность везде подчинена коллективу, который сам определяет формы и границы своей власти. Эта власть может быть очень жестокой, как в Мексике или Ассирии, гуманной, как в Египте или в Китае, но нигде она не признает за личностью автономного существования. Нигде нет особой, священной сферы интересов, запретных для государства. Государство само священо, и самые высшие абсолютные требования религии совпадают с притязаниями государственного суверенитета.

Греция не исключение. Ни наша благодарная к ней любовь, ни признание единственности ее высшей культуры, ни даже поколения наших предков, боровшихся за свободу с Плутархом, вместо Евангелия, в руках, не могут заслонить основного факта: наша свобода не была обеспечена в Греции.

Греки сражались и умирали за свободу; но под свободой они понимали или независимость своего города-отчества, или его демократическое самоуправление. Это была свобода для государства, на которую не могла притязать ни личность, ни меньшинственная группа. Нас обманывает часто вольность и легкость жизни в классическую пору афинской демократии — в те короткие полтора столетия, которые отделяют греко-персидские войны от македонского завоевания. Но эта вольность — результат разложения, скорее распу-

ценность, чем закон жизни. Новые торгово-промышленные классы подорвали крепость патриархальных деревенских нравов, наука софистов разлагала древнюю веру; в образовавшейся пустоте легче стало жить, то есть наслаждаться жизнью без помехи устарелых норм. «Буржуазная» свобода Афин напоминает судьбу свободы в пореволюционной Франции. За полтора века оказались подорваны все нравственные устои демократии, и Афины, как и вся Греция, сделались легкой добычей Филиппа.

Но даже на время наибольшей свободы Афин падает процесс и казнь Сократа, изгнание Анаксагора и Протагора и — что гораздо страшнее — социальная утопия Платона. Величайший из философов Греции был теоретиком абсолютного, тоталитарного государства. Быть может, только в Софокловой «Антигоне» брезжит заря нашей свободы: пророчество, предвосхищение совершенно иной духовной эры.

Исключительность, единственность свободы не должна нас смущать. Только грубое биологическое или социологическое мышление, оперирующее с количествами, с повторяемостями, со средними величинами, может видеть в единственности порок. Да, свобода — исключение в цепи великих культур. Но сама культура — исключение на фоне природной жизни. Сам человек, его духовная жизнь — странное исключение среди живых существ. Но ведь и жизнь, как органическое явление, — тоже исключение в материальном мире. Конечно, здесь мы вступаем в область неведомого, но много оснований на стороне тех теорий, которые считают, что только на планете Земля могли создаться благоприятные условия для возникновения органической жизни. Но что значит Земля в Солнечной системе, что значит Солнце в нашем Млечном Пути, что значит наша «галактика» во Вселенной?

Одно из двух: или мы остаемся на внешне убедительной, «естественно-научной», точке зрения и тогда приходим к пессимистическому выводу. Земля — жизнь — человек — культура — свобода — такие ничтожные вещи, о которых и говорить не стоит. Возникшие из случайной игры стихий на одной из пылинок мироздания, они обречены исчезнуть без следа в космической ночи.

Или мы должны перевернуть все масштабы оценок и исходить не из количеств, а из качеств. Тогда человек, его

дух и его культура становятся венцом и целью мироздания. Все бесчисленные галаксии существуют для того, чтобы произвести это чудо — свободное и разумное телесное существо, предназначенное к царственному господству над Вселенной.

Остается не разрешенной — практически уже не важная — загадка значения малых величин: отчего почти все ценностно-великое совершается в материально-малом? Интереснейшая проблема для философа, но мы ее можем оставить в стороне.

Свобода разделяет судьбу всего высокого и ценного в мире. Маленькая, политически раздробленная Греция дала миру науку, дала те формы мысли и художественного восприятия, которые, даже при сознании их ограниченности, до сих пор определяют мирозерцание сотен миллионов людей. Совсем уже крохотная Иудея дала миру величайшую или единственно истинную религию — не две, а одну, — которую исповедуют люди на всех континентах. Маленький остров за Ла-Маншем выработал систему политических учреждений, которая — будучи менее универсальной, чем христианство или наука — тем не менее господствует в трех частях света, а ныне победоносно борется со своими смертельными врагами.

Ограниченность происхождения еще не означает ограниченности действия или значения. Рожденное в одной точке земного шара может быть призвано к господству над миром; как всякое творческое изобретение или открытие, оно стремится стать общим достоянием человечества. Не все ценности допускают такое обобщение; многие остаются навсегда связанными с одним определенным культурным кругом. Но другие — и самые высшие — существуют для всех. Это о них сказано: «ничто человеческое мне не чуждо». Все народы призваны к христианству. Всякий человек, в большей или меньшей степени, способен к научному мышлению. Но не все признают — и обязаны признавать — каноны греческой красоты. Все ли народы способны признать ценность свободы и осуществить ее? Этот вопрос сейчас решается в мире. Не теоретическими соображениями, а только опытом возможно решить его.



\* \* \*

О чем идет речь? О какой свободе? Пора наконец определить нашу тему. Но сделать это надо покороче, без лишних сложностей. В наше время определения свободы требуют прежде всего ее враги. Они утратили способность понимать ее; самые простые вещи начинают представляться для них чудовищно трудными. Раздувая эти трудности до абсурдов, они делают из свободы философскую бессмыслицу. Однако и они, и всякий читатель имеют право на ясный и точный ответ: что здесь, на этих страницах, понимается под свободой?

Итак, мы говорим о свободе не в философском или религиозном смысле. Наша свобода не свобода воли, то есть выбора, которую ничто, никакое ослепление греха или предрассудков не способно до конца отнять у человека; такой свободой обладает и комсомолец, и член Hitler-Jugend.

Это и не свобода от страстей и потребностей низшей природы, к которой стремятся стоический философ и аскет; Эпиктет осуществлял ее в рабстве, святые находили ее в добровольной темнице кельи.

Но это и не динамическая свобода социального строительства и разрушения, которой охвачена фашистская молодежь, отдающая свою личную волю в полное подчинение вождям ради этого чувства коллективной мощи и власти.

Наша свобода — социальная и личная одновременно. Это свобода личности от общества — точнее, от государства и подобных ему принудительных общественных союзов. Наша свобода отрицательная — свобода от чего-то, и вместе с тем относительная; ибо абсолютная свобода от государства есть бессмыслица.

Свобода в этом понимании есть лишь утверждение границ для власти государства, которые определяются неотъемлемыми правами личности. Будучи относительной в своей мере и в формах, по-разному определяясь в разных странах современной демократии, она, однако, зиждется на некоторых абсолютных предпосылках, которые мы должны установить. Утрата их, полная релятивизация свободы для нее смертельна: по нашему убеждению, это и является главной причиной современного помрачения свободы.

Рассматривая длинный список свобод, которыми живет современная демократия: свобода совести, мысли, слова, собраний и т. д., мы видим, что все они могут быть сведены к двум основным началам; именно к двум, а не к одному, к прискорбию для логической эстетики. Этот дуализм свидетельствует о различии исторических корней нашей свободы.

Главное и самое ценное ее содержание составляет свобода убеждения — религиозного, морального, научного, политического, и его публичного выражения: в слове, в печати, в организованной общественной деятельности. Исторически вся эта группа свобод развивается из свободы веры.

С другой стороны, целая группа свобод защищает личность от произвола государства независимо от вопросов совести и мысли: свобода от произвольного ареста и наказания, от оскорбления, грабежа и насилия со стороны органов власти определяет содержание конституционных гарантий, за которые велась вековая борьба с монархией. Они нашли себе выражение в характерном английском акте-символе, известном под именем *Habeas Corpus*. Пользуясь этим символом, мы могли бы назвать эту группу свобод свободой тела в отличие от другой группы — свободы духа.

Разнородность их природы уясняется из одного простого рассуждения. Идеальный христианин, святой, может без ропота отдать свое тело, имущество и жизнь тирану; даже видеть в этом непротивлении свой долг — подражания Христу. Но он не поклонится идолам, не отречется от Христа по требованию императора. Величайшие конфликты государства с церковью происходили по преимуществу из-за этой свободы — духа; конфликты государства со светским обществом — преимущественно по вопросам свободы тела.

Разумеется, слово «тело» мы употребляем в очень широком смысле; оно включает как собственность лица, так и его честь — то есть не только физическую, но и социальную его индивидуальность, за исключением духовной; или, выражаясь иначе, все, что принадлежит личности, но не является ею самой. Вера и убеждение не принадлежат ей, но она сама скорее принадлежит им; в некотором смысле, ее подлинное бытие с ними совпадает.

Быть может, большинство демократов в наши дни убеждены, что эти свободы — завоевание нового времени: англий-

ской революции XVII века или даже французской XVIII-го. Пуритане и якобинцы кажутся для многих отцами нашей свободы, а революция вообще местом ее рождения. Отсюда оптимистический взгляд на исход новейших революций. Они представляются неизбежно тяготеющими к свободе и осуществляющими ее после тяжелых испытаний.

Какую роль в развитии нашей свободы играли великие исторические революции, мы увидим дальше. Но прежде всего необходимо подчеркнуть и не уставая повторять, что свобода зарождается в средневековье, хотя своего полного развития достигает в XIX веке. То христианское средневековье, которое было родиной всей нашей культуры, как отличной от культуры классического мира, было и родиной свободы. Magna Charta датируется 1214 годом.

Но задолго до английского восстания баронов против Иоанна Безземельного Европа видела войны и революции, которые велись за свободу. Конец XI века был полон громом потрясений, народных движений и международных войн. Самым боевым лозунгом тех лет была свобода — только свобода в особом смысле: *libertas Ecclesiae*. И это возвращает нас к истокам первичной свободы — свободы веры.

Западная церковь пережила кризис Римской Империи и хранимой ею эллинистической культуры. Она победоносно встретила волны варварских вторжений и покорила их кресту и Риму. Она не растворилась в германских королевствах и не слилась с ними в «симфонию», подобной византийской, но сохранила свою независимость от государства, и даже более — свою учительную и дисциплинарную власть над ним. Однако до теократии дело не дошло. Варварская стихия восставала против римской опеки. Установилось двоевластие, двойное подданство. Внешним выражением его было двойное право — каноническое и национальное, двойная юрисдикция — духовная и светская. Но еще важнее, что каждый человек был подданным двух царств: града Божия и града земного. В его сердце сходились и часто сталкивались оба суверенитета, из которых один — и только один — притязал на абсолютное значение. Церковь брала себе душу, король — тело. Размежеваться было трудно, ибо жизнь сложнее этого дуализма. Сложность вызывала постоянный конфликт, по существу

неразрешимый. И в этом конфликте создалось и окрепло первое, хотя и смутное, сознание свободы.

Человек должен был выбирать; волей судеб каждый христианин становился судьей в споре двух высочайших авторитетов: папы и императора. В грандиозных конфликтах XI—XIII веков все общество раскалывалось надвое в этом споре. При этих условиях, каковы бы ни были социальные основы общества, не могло быть и речи об абсолютности светской власти. Даже отвлекаясь от самого содержания духовного суверенитета, даже в нелепом предположении, что им могла бы быть любая нехристианская религия, самый факт церковно-государственного дуализма ограничивал власть государства, создавал сферу личной свободы. Но, конечно, вдумавшись, мы понимаем, что никакая иная из известных нам религий не могла бы выполнить этой роли: для этого она должна быть одновременно религией абсолютного вечного и в то же время связанного, соотносительного с телесным и земным. Ни посюстороннее язычество, ни потусторонний спиритуализм (буддизм, платонизм) не могли бы создать религиозной сферы, высшей, чем государство, но чересполосной с ним. Ислам не в счет, ибо там, как и в Византии, высшая духовная власть совпадает с государственной.

В католической Европе у Церкви был один важный шанс в борьбе за ее свободу: феодальный характер государства. Конечно, буйное и воинственное рыцарство причиняло Церкви много зла и хлопот. Церковь встречала больше послушания среди городских коммун, среди рабочих первых индустриальных городов Италии и Нидерландов. Но бароны, хотя бы и гибеллины, ослабляли королевскую власть, раздробляли светский суверенитет. Перед Церковью не возникало угрозы Левиафана.

Обращаясь к самому феодальному миру, мы наблюдаем в нем зарождение иной свободы, менее высокой, но, может быть, более ценимой современной демократией — той, которую мы условились называть свободой тела. В феодальном государстве бароны — не подданные, или не только подданные, но и вассалы. Их отношения к сюзерену определяются договором и обычаем, а не волей монарха. На территории если не всякой, то более крупной сеньории ее

глава осуществляет сам права государя над своим крепостным или даже свободным населением.

Формула «помещик-государь», хотя и не свободная от преувеличения, схватывает основную черту этого общества. В нем не один, а тысячи государей, и личность каждого из них — его «тело» — защищена от произвола. Его нельзя оскорблять. За обиду он платит кровью, он имеет право войны против короля. Восстание баронов в Англии 1214 года и Magna Charta были не революционным взрывом, началом новой эры, а одним из нормальных эпизодов политической борьбы.

Во время коронации английских королей, в самый торжественный момент, когда монарх возлагает на свою голову корону, все пэры и пэрессы, присутствующие в Вестминстерском аббатстве, тоже надевают свои короны. Они тоже государи, наследственные князья Англии. Сейчас это символ уже почти не существующих сословных привилегий. Но я хотел бы видеть в нем символ современной демократической свободы. То, что было раньше привилегией сотен семейств, в течение столетий распространилось на тысячи и миллионы, пока не стало неотъемлемым правом каждого гражданина.

В западной демократии не столько уничтожено дворянство, сколько весь народ унаследовал его привилегии. Это равенство в благородстве, а не в бесправии, как на Востоке. «Мужик» стал называть своего соседа Sir и Monsieur, то есть «мой государь», и уж во всяком случае в обращении требует формы величества: Вы (или Они).

Мы говорим не о пустяках, не об этикете, но о том, что стоит за ним. А за ним Habeas Corpus, распространенный постепенно с баронов-государей на буржуазию городских общин и на весь народ. В Magna Charta граждане Лондона разделяют некоторые привилегии баронов. В XI—XIII веках повсюду в Европе существовали свободные городские общины, коллективные сеньории, наделенные привилегиями общей и личной свободы. Освобожденные города тянули за собой деревни. Крепостное право смягчалось и отмирало под влиянием свободного воздуха городов.

Таков схематический рост свободы. Действительность была много сложнее. Важно отметить, что в своем зарождении правовая свобода (свобода тела) была свободой для не-

многих. И она не могла быть иной. Эта свобода рождается как привилегия, подобно многим плодам высшей культуры. Массы долго не понимают ее и не нуждаются в ней, как не нуждаются и в высоких формах культуры. Все завоевания деспотизма в новой истории (Валуа, Тюдоры, Романовы, Бонапарты) происходили при сочувствии масс. Массы нуждаются в многовековом воспитании к свободе, которое нам на рубеже XIX—XX веков уже казалось, может быть ошибочно, законченным.

Люди, воспитанные в восточной традиции, дышавшие вековым воздухом рабства, ни за что не соглашались с такой свободой — для немногих, — хотя бы на время. Они желают ее для всех или ни для кого. И потому получают «ни для кого». Им больше нравится царская Москва, чем шляхетская Польша. Они негодуют на замысел верховников, на классовый эгоизм либералов. В результате на месте дворянской России — Империя Сталина.

Мы нисколько не хотим идеализировать средневековье. Свободолюбивые бароны были, большей частью, жестокими господами для своих подданных. В хищнике, разбойнике, тиране нам трудно узнать отца нашей свободы. Как трудно поверить, что за духовную свободу боролась католическая Церковь, сжигавшая еретиков на кострах. Свобода совести, конечно, и не снилась князьям средневековой Церкви. Свобода была им нужна не для верующей личности, а для «Церкви», то есть для ее иерархии. Впрочем, и папы должны были делиться ею с университетами, как бароны с купцами. Важно было то, что в результате их борьбы за свободу призрак тоталитарного государства на Западе рассеялся на много веков. Несмотря на все реакции времен Ренессанса и абсолютной монархии, всевластие государства был положен предел. И этот предел был указан двумя началами, по-видимому всегда необходимыми для осуществления свободы: плюрализмом власти и абсолютным характером духовных (религиозных) норм.

Переход от средних веков к новому времени принес не расширение, а умаление свободы. Блестящий культурный Ренессанс в политической сфере означал появление тирании в Италии и королевского абсолютизма в заальпийской Европе. Создается централизованное национальное или территориальное государство на развалинах средневековых

сословных вольностей. Парламенты теряют свой авторитет, Etats Généraux перестают собираться, постоянные армии и зародышевая бюрократия вытесняют феодальный *aide et conseil*. Ограничивается, если не исчезает совсем, плюрализм власти — одно из условий свободы. Другое, духовное условие поколеблено также, вместе с упадком или затмением религиозности.

Церковь отступает от своих универсальных позиций, замыкается в стенах храма. Кесарь начинает владеть не только телом, но отчасти и душой подданных. Сопротивление его посягательствам на духовную сферу жизни становится редким и слабым. Томас Мор, гуманист и мученик за свободу Церкви, составляет редкое исключение.

Может быть, напоминание об этом потускнении свободы на заре великолепного дня нашей культуры способно принести некоторое утешение в наши дни ее вторичного затмения. Рано еще хоронить свободу. Социалистическая революция теперь, как некогда национальное государство, питается кровью свободы. И теперь, как во время Ренессанса, существует угроза окончательной смерти свободы, то есть завершения нашей культуры в тоталитарном государстве. Но если эта опасность была предотвращена однажды, ее можно победить и теперь. Важно лишь помнить, каковы были условия, сделавшие возможным ее преодоление.

\* \* \*

Культура Ренессанса с ее победным ростом деспотизма нашла свой предел в Реформации. Всякая попытка построить генеалогию современной свободы, минуя Реформацию, обречена на неудачу. Линия, связывающая непосредственно Ренессанс с Просвещением, Леонардо да Винчи с Ньютоном, пригодна для истории науки, но не для истории свободы. Конечно, утверждение реакционеров-католиков, что вся современная «индивидуалистическая» свобода порождена грехопадением Лютера, есть огромное преувеличение. Но оно содержит в себе зерно истины. После католической борьбы за свободу Церкви (XI—XII вв.) религиозные войны эпохи Реформации (XVI—XVII вв.) знаменуют второй этап в развитии свободы.

Не следует только представлять дело таким образом, что

провозглашенный Лютером принцип свободного толкования Библии сыграл эту революционную роль. На самом деле авторитет католической Церкви был сейчас же заменен авторитетом новых пророков; за пророками следовали схоластики, создавшие протестантские катехизисы. Аугсбургское или вестминстерское исповедание сами по себе ничуть не свободнее Тридентского катехизиса. Фанатизм новых сект нисколько не уступал нетерпимости старой Церкви. Протестанты жгли или вешали еретиков с не меньшим усердием, чем католики. Более того, там, где Реформация передала власть над Церковью князьям — в Англии, в Германии, в скандинавских странах, — государственный абсолютизм получил новое подкрепление за счет католической Церкви. Тюдоры становятся «правителями Церкви» и в силу этого владыками совести. Но для судеб свободы имел огромное значение тот факт, что в Англии — именно в Англии — господствующее «англиканское» исповедание не смогло стать религией всего народа. Религиозная буря, поднявшаяся с начала XVII столетия, привела не к единству новой реформированной Церкви, а к образованию множества сект, боровшихся страстно, но безуспешно за господство. Менее всего можно было ждать признания свободы со стороны религиозных радикалов; в XVII веке скорее можно было встретить сторонников терпимости — как тогда говорили, «латитудинаристов» — в государственной Церкви, среди сторонников Стюартов. Английская революция, или, правильнее, гражданская война, не принесла ничего для свободы — ни религиозной, ни политической. После тирании Кромвеля Англия вернулась к исходной точке, к реставрации Стюартов с прежними темами борьбы: Церковь и секты, король и парламент. Свобода пришла вместе с терпимостью — конечно, ограниченной — лишь к концу века, когда выяснилась невозможность религиозного объединения Англии. Вторая, «Славная», революция принесла с собой действительный Habeas Corpus и свободу главным сектам протестантизма; католикам и евреям пришлось ждать ее до XIX столетия.

Почти то же мы видим и в Америке. Здесь не англиканская Церковь, а конгрегационалисты или пресвитериане пытались установить режим вероисповедного единства в отдельных колониях. Удушливая атмосфера нетерпимости



Новой Англии была не лучше старой: в Коннектикуте вешали квакеров. Однако дробность сект и их чересполосица заставляли создавать островки свободы для совместной жизни иноверцев: таков Род-Айленд.

Так постепенно создавалась свобода, или ее оазисы, в мире нетерпимости, принималась не принципиально и не радостно, а по необходимости — как неизбежное зло. Но уже «из необходимости создавалась добродетель». На перекрестках духовных дорог встречаются люди — и число их растет, — которые утверждают свободу как принцип, которые исповедуют религию свободы. Для этих избранных умов, для Мильтона, Джорджа Фокса, для Роджера Вильямса свобода неотъемлема от христианства. И тезис этих утопистов, заблудившихся в жестокий век религиозных войн, восторжествовал. Свобода оказалась практичнее насилия. Принудительное единство грозило бесконечной войной и гибелью культуры; свобода ее спасала.

\* \* \*

Терпимость поневоле мало радует. Если бы будущее свободы зависело от утраты духовного единства, от наличия расколов и ересей, это не сулило бы ничего хорошего для более счастливых времен — для Европы, вновь обретшей цельность своей культурной жизни. По счастью, христианская свобода имеет более глубокие корни, чем практическую безвыходность. Прошли века, и убеждение немногих утопистов времен Реформации вошло в плоть и кровь большинства христиан. Мало кто посмеет защищать в наши дни идею насильственного спасения. Самые аторитарные Церкви ныне стоят на почве свободы — быть может, не до конца, не с полной искренностью, но это другой вопрос. Важно хотя бы то, что они не смеют утверждать насилия ради спасения, ради любви, как утверждали наши предки в течение веков или даже тысячелетий. Христианство во многом созрело, стало мудрее, совестливее за последние века. Среди тяжелых неудач и поражений, даже гонений, которые ему случается переживать, оно могло углубиться в свои истоки, лучше осознать, «какого оно духа». Вне всякого сомнения, христианство сейчас ближе к

опыту ранней Церкви, ближе к Христу, чем во времена его призрачного господства над миром.

Быть может, никто с такой силой не утверждал смысла свободы для христианской Церкви, как это сделал Достоевский в своей знаменитой «Легенде». Достоевский, конечно, не иерарх и даже не богослов. Но поразительно, что никто из реакционеров победоносцевской России не посмел прямо восстать против самозванного пророка. Никто не сказал: это ересь. Делали только вид, что «это нас не касается»: речь идет о папизме.

В Евангелии от Иоанна и в Павловых посланиях есть много вдохновенных слов о свободе. Но они говорят о той глубокой, последней свободе, путь к которой ведь может вести и через отрицание свободы. По крайней мере, такова была тысячелетняя диалектика богословия. Свобода, о которой мы говорим здесь, свобода социальная, утверждается на двух истинах христианства. Первая — абсолютная ценность личности («души»), которой нельзя пожертвовать ни для какого коллектива — народа, государства или даже Церкви («девятью девять праведников»). Вторая — свобода выбора пути — между истиной и ложью, добром и злом. Вот именно эта вторая страшная свобода была так трудна для древнего христианского сознания, как ныне она трудна для сознания безбожного. Признать ее — значит поставить свободу выше любви, значит признать трагический смысл истории, возможность ада. Все социальные инстинкты человека протестуют против такой «жестокости». Если можно вытащить за волосы утопающего человека, почему же нельзя его вытащить «за волосы» из ада? Но в притче о плевелах и пшенице сказано: «оставьте их вместе расти до жатвы». И в древнем мифе о грехопадении, который лежит в основе христианской теодицеи, Бог создает человека свободным, зная, что этой своей страшной свободой человек погубит прекрасный Божий мир. И Бог желает спасти падший мир не властным словом («да будет»), а жертвой собственного Сына. Как же может эта жертва отменить свободу, ради которой она и была принесена? В свете этого откровения мы скорее признаем, что ошибалось и грешило полтора тысячелетия христианское человечество, чем что ошибся Бог, создав свободным человека, или ошибся Христос, взойшедший на крест, чтобы спасти человека в свободе.

\* \* \*

Но времена изменились. Новый этап борьбы за свободу начинается в XVIII веке. Люди, не помнящие истории, склонны вообще начинать историю свободы с этого века или даже с французской революции. На самом деле в век Просвещения произошла лишь — и то неполная — секуляризация свободы. Изменились ее идеалы, ее обоснование, — как говорили недавно в России, ее «во имя». Если отвлечься от особенностей идеологии французского просвещения и взять в целом два последних века Европы с их борьбой за свободу, торжеством свободы и ее упадком, — то мы увидим две могущественные силы, которые вынесли свободу и ныне предадут ее: науку и капитализм.

На рубеже XVII—XVIII веков, после бесплодного надрыва религиозных войн, надолго скомпрометировавших религию, лучшие умы ищут спасения в науке. От фанатических страстей уходят в мир чистых истин математики и механической физики. Здесь нет обмана, нет произвола; здесь истина одна для всех. И разум, открывший новые миры умопостигаемых и все же реальных объектов, не только находит в их прохладном воздухе временное успокоение своей тоски по абсолютному, он приходит к убеждению, что уже обладает этим абсолютным ключом к тайнам бытия. Весь мир и жизнь начинают мыслиться по образу математических величин и их материальных субстратов. Ньютоновская физика и все производное от нее естествознание — даже социология — до наших дней владела умами и пытались утвердить себя в качестве религии разума, на место обанкротившегося христианства.

Новая наука, как всякая наука, нуждается в свободе. Эта свобода есть «свобода исследования», свобода от догматических предпосылок, свобода выбора между возможными заключениями. Такая свобода необходима для ограниченного числа ученых. По существу, она не нужна даже для популяризаторов и педагогов, не говоря о массах. Но, благодаря огромному, почти религиозному значению науки в новое время, идеалы ученых стали идеалами всего общества, то есть всех образованных или полуобразованных слоев его. Школа на всех ступенях стремилась к развитию критиче-

ской мысли и к усвоению элементов научного метода. Каждый юноша, хоть бы на самое короткое время своей жизни, приобщался к армии работников науки и заражался ее патриотизмом, тем более что образование XIX века было почти исключительно интеллектуальным.

Свобода научного исследования находила себе мощную поддержку в свободе хозяйственной предприимчивости, которую несла с собой молодая буржуазия. Она не нуждалась более в опеке государства. Прежде ценимое покровительство его становилось, или ощущалось, путами. Ученики Адама Смита приветствовали неограниченную свободу торговли, конкуренции, экономического эгоизма. Всеобщее счастье должно было родиться из борьбы всех против всех.

Но, утвердившись в хозяйстве, в этом центре социальной жизни, свобода распространяется быстро на все сферы: политику, быт, семью, воспитание, гигиену, общественную мораль. Всюду ограничивается, минимализируется значение норм, авторитетов, принуждения, порядка. Общей предпосылкой становится оптимистический взгляд: свободная борьба стихий в личности и обществе сама по себе приводит к гармонии или к повышению творческих энергий. И в течение двух или трех поколений жизнь оправдывала эти надежды. XIX век был одним из величайших веков в истории человечества: одним из самых творческих и, уж конечно, самым гуманным и самым свободным.

Свобода мысли на высотах культуры, свобода хозяйства в ее центре взаимно поддерживали друг друга. Они покоились на одном принципе — рационализме. Зомбарт верно уловил сродство между пробуждением экономического рационализма в итальянском Возрождении и первыми шагами научной мысли. В середине XIX века положение не изменилось. Банкир или фабрикант не только ради интереса, но и бескорыстно сочувствует успехам науки, ее борьбе против всех суеверий и торжеству народных революций, свергающих или ограничивающих власть королей.

Свобода мысли в истории новых веков сменила свободу веры, как либеральная — то есть минималистическая — концепция государства — заняла место феодального плюрализма власти. Вернее, произошла перестановка ударений. Как будто бы новая чета свобод преемственно связана со старой. Свобода веры предполагает свободу неверия. Но,

когда свобода неверия (сомнения, исследования) становится центральной, меняется все человеческое содержание ее: из целостной, объемлющей все ценности и все стремления человека, она становится чисто интеллектуальной. Подобно этому, плюрализм власти, защищая личность, не подрывал государства, ни его нравственного достоинства. Новый либерализм, не отменяя, конечно, государства, его дискредитирует и обезоруживает. Впрочем, не одно государство...

Здесь необходимо сделать существенную оговорку. Наблюдая народные политические движения XIX века — борьбу за свободу и равенство, — мы видим, что под поверхностью рационалистических идей в них живет совсем иное содержание. Не за свободу исследования и не за свободу хозяйства французские студенты и рабочие умирали на баррикадах. Они умирали за свободу вообще, то есть за целостный идеал преображения жизни, за новую землю и новое человечество, за эсхатологическую утопию. Даже самая организация политических партий, столь существенная для современных демократий, менее всего напоминает научную ассоциацию или хозяйственный трест. В Англии, родине всех партий, они преемственно связаны с сектами XVII века, или, точнее, с теми мирянскими союзами, «ковенантами» для защиты веры, которыми так богата история английской Реформации. Партии XIX и XX веков, превратившиеся (и то не до конца) в органы защиты групповых интересов, все еще покоятся на идеологической основе, на признании (а не исследовании) некоторых истин, или теоретических положений, и на общности нравственных оценок. Консерватизм, либерализм, социализм — не научные системы, хотя они и стремятся к научному обоснованию. Это определенные мировоззрения, то есть системы общественно-моральных оценок, за которыми стоят философские начала, принимаемые на веру как основа жизни. Для XIX века это были еще крипто-религиозные силы.

Силы открыто религиозные, великие исторические Церкви в новое время редко принимают участие в борьбе за свободу. Чаще всего они оказываются в лагере врагов свободы. Со времени Ренессанса Церковь выпустила из своих рук водительство культурным движением человечества. Это движение пошло по таким путям, которые вызывали ее

вполне справедливое недоверие и осуждение. Не изменяя своим вечным началам, она не могла, конечно, принять механической системы мира, ни оптимизма Руссо, ни утилитаризма либералов, ни детерминизма марксистов... Но все эти ереси ложились в основание новых освободительных движений. Впрочем, еретическое обоснование свободы никак не может оправдать союза с обветшавшими формами социального строя. Проклиная незаконную свободу, цеплялись за все остатки рабства или угнетения. Каждый шаг свободы, каждое новое раскрепощение личности, класса или народа встречало наиболее сильное или принципиальное сопротивление со стороны Церкви. Отсюда прочно сложившееся убеждение нового либерализма, что для торжества свободы нужно «раздавить гадину». В опыте новых веков освободительное движение забывало о христианском своем происхождении. Оно ищет мнимой генеалогии в языке Древней Греции или в неопаганизме Ренессанса.

Впрочем, этот разрыв между религией и свободой не типичен для англосаксонского мира, то есть для родины свободы. Трагический разрыв остается господствующим фактом для европейского континента, и особенно для стран, связавших свою свободу с легендой французской революции: для Франции, Италии, Испании, России.

\* \* \*

Трудно понять, каким образом Великая французская революция могла считаться колыбелью свободы. Так думают люди, для которых ярлыки и лозунги важнее подлинных исторических явлений. Верно то, что революция шла под великим лозунгом свободы, равенства и братства, но верно и то, что в истории Франции не было эпохи, когда эти начала предавались бы так жестоко, как за четверть века революционной эпохи. Эти лозунги, или воплощенные в них идеи, были, конечно, созданием не революции, а XVIII века. Созданием революции была централизованная Империя. Революция нашла в старом режиме, вместе с устаревшими привилегиями и неоправдываемым уже гражданским неравенством, многочисленные островки свободы: самоуправление провинций, независимость суда (парламентов), профессиональные корпорации, университет. Она

уничтожила все это, решившись на то, на что не посмели Бурбоны в своей двухвековой работе по разрушению средневековых свобод. Она осуществила равенство без свободы — в противоположность тому, что повторяется обычно, — конечно, равенство лишь гражданское. Грандиозное, административно-совершенное здание Империи закрепило все положительные «завоевания» революции, раздавив всю ее идеологию. Империя Наполеона не есть ни реакция против революции, ни ее несчастное извращение, но логически необходимое завершение. Революция так радикально выполола мечту о свободе и даже потребность в ней, что никакая серьезная оппозиция не угрожала Империи. Она могла бы существовать хотя бы целое столетие, если бы ее не свергла иноземная интервенция. О прочности, об органичности Империи на почве, жирно политой кровью революции, свидетельствует уже тот факт, что Франция еще раз вернулась к этой форме деспотизма и жила в ней два десятилетия; Вторая Империя точно так же была свергнута лишь внешним врагом. Но еще долго спустя бонапартизм, в том или ином виде, угрожал III республике, которая унаследовала сама почти всю свою административную организацию от той же Империи.

Свободу Франции и Европы спасла Англия, и спасла дважды: отстояв свой остров от Наполеона — единственный оазис свободы в Европе 1812, как и 1940 года, — и подарив — вместе с императором Александром — конституционную партию Франции 1814 года. Только с Реставрацией начинают всходить слабые ростки французской свободы: представительные учреждения, либеральная пресса, свободное слово парламентской оппозиции. В то время политическая мысль французского либерализма искала опоры в английских учреждениях. Революция была предметом ужаса для поколений, еще хранивших живые воспоминания о ней. Лишь тогда, когда сошли в могилу последние свидетели, в 1830-х годах начинает твориться, в книгах Мишле и Луи Блана, легенда Революции, которой живет сейчас республиканская Франция. Эта легенда сама по себе может иметь освобождающую силу, подобно легенде Вильгельма Телля, не имеющей, как известно, никакого исторического оправдания. В ней британская свобода прикрыта фригийской шапкой. Но двусмысленность, создав-

шаяся из этого переодевания, не всегда безвредна. Рецидивы якобинства угрожают и современной Франции: Россия заплатила за увлечение Мишле (через немца Блосса!) миллионами лишних жертв Чека.

Не одна Франция получила свою конституцию из-за Ла-Манша. Все европейские конституции XIX века восходят к тому же британскому источнику. Если рецепция британских учреждений оказалась возможной и плодотворной, то это прежде всего потому, что вся Западная Европа была одной семьей народов. Они все прошли ту же историческую школу, имели не только в памяти, но и в крови рыцарство, католицизм, Реформацию. Ростки свободы жили повсюду, хоть и приглушенные веками абсолютизма. Лишь с точки зрения конституционных учреждений переход от абсолютизма к представительному строю был или казался революционным. Для «личных субъективных» прав не было революции; было лишь расширение и развитие их содержания. Если взять самые реакционные из монархических режимов старой Европы — например, Австрию Меттерниха, — ее культурная жизнь покажется необычайно свободной по сравнению с культурами Азии, не знавшей феодально-христианского опыта, со старой Москвой или даже с современной ей николаевской Россией. Свобода для Европы не есть новейшее завоевание, но лишь пышное прорастание от древних корней.

Обращаясь к той стране, которая в эту эпоху была «детоводительницей к свободе», мы видим, что в ней более, чем где бы то ни было в Европе, свобода утверждается не только на новых, но и на древних основаниях. Конечно, и в Англии либерализм питался и экономическими мотивами капитализма, и научным мировоззрением нового времени. Это столь хорошо знакомая — и единственно знакомая — нам, русским, линия Локка, Бентама, Милля, Спенсера. Но рядом с ней живет другая, христианская традиция свободы, сильная особенно в «свободных Церквах». Гладстон сделал для свободы мира больше, чем какой-либо другой политический деятель Англии. Но Гладстон был и теологом; притом теологом не одной из многочисленных сект, но государственной Церкви Англии. До последнего времени лидеры рабочего движения Англии выходили из сектантских проповедников.



Антихристианский радикализм начала XIX века был скорее временным увлечением. И если положительная религия в Англии, как и повсюду, переживала в XIX веке процесс медленного выветривания, ее нравственные приложения живы и поныне; да и чисто религиозные силы в достаточной мере еще питают политическую жизнь. Что касается феодальной свободы, то она переживает себя и в широком самоуправлении, в развитии всех форм «социального» (внегосударственного) права и даже в общественном значении аристократии; аристократия эта активна и часто прогрессивна, участвует во всех сферах жизни; хранимое ею феодальное начало личной чести передается всей нации. Идеал джентльмена, еще чисто сословный лет сто тому назад, теперь становится общенациональным. Мы не знаем, конечно, правда ли, что «британцы никогда не будут рабами». Но безусловная правда, что тот тиран, вождь или «спаситель», который попытается поработить Англию во имя равенства или во имя славы, должен будет раскусить весьма крепкий орех.

\* \* \*

Кризис свободы за последние полвека связан с упадком тех двух основ, на которых она пыталась утвердиться в новое время: капиталистической экономики и научного позитивизма. Свободная игра гигантски выросших производительных сил привела не к гармонии, а к разрушению. Вот почему задача освобождения сменилась задачей организации. Началась с возрождения покровительственных тарифов, окончилось попытками построения социалистического хозяйства. В эпоху, когда экономические проблемы занимают центральное место, потребность экономической организации распространяется на все сферы жизни. Она поддерживается небывалым ростом техники, которая сама по себе требует принудительной организации: автомобильного движения, радио, надземных и воздушных путей. Неорганизованная техника означает столкновение, взрыв, разрушение, смерть. Но пробудившееся, и праведное, стремление к разумному устройению жизни выражается и в растущей системе социального обеспечения и социальной гигиены, всюду ограничивающей старую свободу, понимаемую в смысле невмешательства.

Кстати, кризис парламентаризма отчасти объясняется этой же новой потребностью в рациональном и сложном законодательстве. Старая парламентарная машина создавалась не столько для управления, сколько для обуздания правителей; не для отбора компетентных законодателей, а для отражения общественных настроений. Времена изменились, и конституционная машина отказывается выполнять работу, для которой она не создана.

Кризис мирозерцания открылся в конце прошлого века, когда во Франции Брюнетьер провозгласил «банкротство науки». Наука, конечно, не обанкротилась, а делает ежедневно поразительные открытия и изобретения. Но обанкротилась научная вера или суеверие, которое ждало от науки ответа на все проклятые вопросы жизни. Оказалось, что чем дальше развивается наука, тем более она удаляется от чаемого единства. В решении пограничных, метафизических вопросов ученые безнадежно расходятся друг с другом. И уж во всяком случае, из системы точных наблюдений над фактами никак не удавалось вывести систему норм. Ученый, как и последний невежда, стоит так же беспомощно перед проклятыми вопросами: в чем смысл жизни? как жить? что добро и что зло?

Когда это стало ясно для широких кругов, ученый потерял то религиозное обаяние жреца истины и пророка лучшего будущего, которым он был недавно окружен. Исследование истины перестало быть делом каждого. Техника вообще заслонила чистое знание. Интеллектуализм во всех его проявлениях оказался не ко двору. Новая ересь — иррационализм торжествует повсюду: в новейшей психологии, в искусстве, в философии.

При таких условиях «свобода исследования» стала узкопрофессиональным интересом ограниченного круга ученых. Политики, ведущие за собой массы, перестали с ней считаться. Ученому просто задают задачи для обслуживания национальных или политических интересов, не считаясь с его взглядами или убеждениями. Нет такой грязной работы, которая не возлагалась бы на современного ученого в «передовых» коммуно-фашистских странах. Самое поразительное — та легкость, с которой огромное большинство ученых принимает «социальный заказ». Это показывает, что ученый сам перестал уважать науку, что его отношение

к ней стало «формалистическим». Его интересует работа, техника ее, а не содержание открываемой или приоткрываемой им истины. Современный ученый не собирается умирать за науку, как умирал пуританин, гугенот или католик за свою веру.

Впрочем, это все общеизвестно. И наша тема была — рождение свободы, а не ее упадок. Но некоторые выводы из этого анализа все же можно сделать.

Известное ограничение или затмение свободы неизбежно в переживаемую нами эпоху социальной революции. До тех пор, пока задача организации нового общества, хотя бы в грубых чертах, не будет осуществлена, свободе придется приносить жертвы.

Если единственное основание нашей свободы — буржуазная свобода хозяйства и научная свобода исследования, то они, вместе с политическими свободами, из них вытекающими, вряд ли способны пережить этот кризис. Тогда это не помрачение свободы, а ее смерть.

К счастью, корни нашей свободы гораздо глубже. Рожденная в христианском средневековье, она пережила свое затмение в абсолютизме меркантилистического государства; она имеет шансы пережить и социалистическую революцию.

В тех странах, которые сейчас являются ведущими в борьбе за демократию, христианские корни свободы еще живы; есть еще люди, способные умирать не только за родину, но и за равенство, но и за свободу. Для ее новой победы и для дальнейшего роста и укрепления ее в мире, необходим ряд условий. Вот важнейшие из них:

1. Возрождение в мире абсолютного, то есть религиозного, начала, которое могло бы ограничить, обуздать и исправить все относительные — праведные и неправедные — притязания государства.

2. Раскрытие этого абсолютного начала как религии личности и свободы.

3. Ограничение суверенитета национально-социалистического государства: сверху — международным принудительным союзом, снизу — федеративными и автономно-групповыми образованиями, возвращающими общество, в более совершенных правовых, демократических формах, к феодальным началам его юности.

## РОССИЯ И СВОБОДА

### 1

Сейчас нет мучительнее вопроса, чем вопрос о свободе в России. Не в том, конечно, смысле, существует ли она в СССР, — об этом могут задумываться только иностранцы, и то слишком невежественные. Но в том, возможно ли ее возрождение там после победоносной войны, мы думаем все сейчас — и искренние демократы, и полуфашистские попутчики. Только прямые черносотенцы, воспитанные в разных «Союзах русского народа», чувствуют себя счастливыми в Москве Ивана Грозного. Большинство среди апологетов московской диктатуры — вчерашние социалисты и либералы — убаюкивают свою совесть уверенностью в неизбежном и скором освобождении России. Чаемая эволюция советской власти позволяет им принимать с легким сердцем, а то и с ликованием, порабощение все новых народов Европы. Можно потерпеть несколько лет угнетения, чтобы впоследствии жить полноправными участниками самого свободного и счастливого общества в мире.

С другой стороны, прошлое России как будто не дает оснований для оптимизма. В течение многих веков Россия была самой деспотической монархией в Европе. Ее конституционный — и какой хилый! — режим длился всего одиннадцать лет; ее демократия — и то скорее в смысле провозглашения принципов, чем их осуществления — каких-нибудь восемь месяцев. Едва освободившись от царя, народ, пусть недобровольно и не без борьбы, подчинился новой тирании, по сравнению с которой царская Россия кажется раем свободы. При таких условиях можно понять иностранцев или русских евразийцев, которые приходят к выводу, что Россия органически порождает деспотизм — или фашистскую «демоцию» — из своего национального духа или своей геополитической судьбы; более того, в деспотизме всего легче осуществлять свое историческое призвание.

Обязаны ли мы выбирать между этими крайними утверждениями: твердой верой или твердым неверием в русскую свободу? Мы принадлежим к тем людям, которые страстно жаждут свободного и мирного завершения русской революции. Но уже давно горький опыт жизни приучил нас не смешивать своих желаний с действительностью. Не разделяя доктрины исторического детерминизма, мы допускаем возможность выбора между разными вариантами исторического пути народов. Но с другой стороны, власть прошлого, тяжелый или благотельный груз традиций, эту свободу выбора чрезвычайно ограничивает. Ныне, когда после революционного полета в неизвестность Россия возвращается на свои исторические колеи, ее прошлое, более, чем это казалось вчера, чревато будущим. Не мечтая пророчествовать, можно пытаться разбирать неясные черты грядущего в тусклом зеркале истории.

## 2

В настоящее время не много найдется историков, которые верили бы во всеобщие законы развития народов. С расширением нашего культурного горизонта возобладало представление о многообразии культурных типов. В своей статье в № 8 «Нового журнала» я старался показать, что лишь один из них — христианский, западноевропейский — породил в своих недрах свободу в современном смысле слова — в том смысле, в котором она сейчас угрожает исчезнуть из мира. Не буду возвращаться к этой теме. Сегодня нас интересует Россия. Ответить на вопрос о судьбе свободы в России почти то же, что решить, принадлежит ли Россия к кругу народов западной культуры; до такой степени понятие этой культуры и свободы совпадают в своем объеме. Если не Запад — то, значит, Восток? Или нечто совсем особое, отличное от Запада и Востока? Если же Восток, то в каком смысле Восток?

Восток, о котором идет речь всегда, когда его противопоставляют Западу, есть преемство переднеазиатских культур, идущих непрерывно от сумеро-аккадской древности до современного ислама. Древние греки боролись с ним, как с Персией, побеждали его, но и отступали перед ним духов-

но, пока, в эпоху Византии, не подчинились ему. Западное средневековье сражалось с ним и училось у него в лице арабов. Русь имела дело сперва с иранскими, потом с татарскими (тюркскими) окраинами того же Востока, который в то же самое время не только влиял, но и прямо воспитывал ее в лице Византии. Русь знала Восток в двух обликах: «поганом» (языческом) и православном. Но Русь создавалась на периферии двух культурных миров: Востока и Запада. Ее отношения с ними складывались весьма сложно: в борьбе на оба фронта, против «латинства» и против «поганства», она искала союзников то в том, то в другом. Если она утверждала свое своеобразие, то чаще подразумевая под ним свое православно-византийское наследие; но последнее тоже было сложным. Византийское православие было, конечно, ориентализированным христианством, но прежде всего оно было христианством; кроме того, с этим христианством связана изрядная доля греко-римской традиции. И религия, и эта традиция роднили Русь с христианским Западом даже тогда, когда она не хотела и слышать об этом родстве.

В тысячелетней истории России явственно различаются четыре формы развития основной русской темы: Запад — Восток. Сперва в Киеве мы видим Русь свободно воспринимающей культурные воздействия Византии, Запада и Востока. Время монгольского ига есть время искусственной изоляции и мучительного выбора между Западом и Востоком. (Литва и Орда). Москва представляется государством и обществом существенно восточного типа, который, однако же, скоро (в XVII веке) начинает искать сближения с Западом. Новая эпоха — от Петра до Ленина — представляет, разумеется, торжество западной цивилизации на территории Российской Империи.

В настоящей статье мы рассматриваем лишь один аспект этой западно-восточной темы: судьбу свободы в Древней Руси, в России и в СССР.

### 3

В Киевскую эпоху Русь имела все предпосылки, из которых на Западе в те времена всходили первые побег свободы.

Ее Церковь была независима от государства, и государство, полуфеодального типа — иного, чем на Западе, — было так же децентрализовано, так же лишено суверенитета.

Христианство пришло к нам из Византии и, казалось бы, византинизм во всех смыслах, в том числе и политическом, был уготован как естественная форма молодого русской нации. Но византинизм есть тоталитарная культура, с сакральным характером государственной власти, крепко держащей Церковь в своей не слишком мягкой опеке. Византинизм исключает всякую возможность зарождения свободы в своих недрах.

К счастью, византизм не мог воплотиться в киевском обществе, где для него отсутствовали все социальные предпосылки. Здесь не было не только императора (царя), но и короля (или даже великого князя), который мог бы притязать на власть над Церковью. Церковь и на Руси имела своего царя, своего помазанника, но этот царь жил в Константинополе. Его имя было для восточных славян идеальным символом единства православного мира — не больше. Сами греки-митрополиты, подданные Византии, менее всего думали о перенесении на князей варварских народов высокого царского достоинства. Царь — император — один во всей вселенной. Вот почему церковная проповедь богоустановленности власти еще не сообщила ей ни сакрального, ни абсолютного характера. Церковь не смешивалась с государством и стояла высоко над ним. Поэтому она могла требовать у носителей княжеской власти подчинения некоторым идеальным началам не только в личной, но и в политической жизни: верности договорам, миролюбия, справедливости. Преп. Феодосий бесстрашно обличал князя узурпатора, а митрополит Никифор мог заявлять князьям: «Мы поставлены от Бога унимать вас от кровопролития».

Эта свобода Церкви была возможна прежде всего потому, что русская Церковь не была еще национальной, «автокефальной», но сознавала себя частью греческой Церкви. Ее верховный иерарх жил в Константинополе, не доступный для покушений местных князей. Перед вселенским патриархом смирялся и Андрей Боголюбский.

Важно, конечно, и другое. Древнерусский князь не воплощал полноты власти. Он должен был делить ее и с боярством, и с дружиной, и с вечем. Менее всего он мог считать

себя хозяином своей земли. К тому же он и менял ее слишком часто. При таких условиях оказалось возможным даже создание в Новгороде единственной в своем роде Православной демократии. С точки зрения свободы, существенно не верховенство народного собрания. Само по себе вече ничуть не более князя обеспечивало свободу личности. На своих мятежных сходках оно подчас своевольно и капризно расправлялось и с жизнью, и с собственностью сограждан. Но само разделение властей, идущее в Новгороде далее, чем где-либо, между князем, «господой», вечем и «владыкой» давало здесь больше возможностей личной свободы. Оттого такой вольной рисуется нам, сквозь дымку столетий, жизнь в древнем русском народоправстве.

В течение всех этих веков Русь жила общей жизнью, хотя скоро и разделенная религиозно, с восточной окраиной «латинского» мира: Польша, Венгрия, Чехия и Германия, скандинавские страны далеко не всегда враги, но часто союзники, родичи русских князей — особенно в Галиче и Новгороде. Основное христианское и культурное единство их с восточным славянством не забыто. Восток же обернулся своим хищным лицом: кочевники-тюрки, не культурные иранцы соседят с Русью, опустошают ее пределы, вызывают напряжение всех политических сил для обороны. Восток не соблазняет ни культурой, ни государственной организацией. Церковь не устает проповедовать необходимость общей борьбы против «поганных», и здесь ее голоса слушались охотнее, нежели предупреждений против латинян, исходящих от греческой иерархии.

Словом, в Киевской Руси, по сравнению с Западом, мы видим не менее благоприятные условия для развития личной и политической свободы. Ее побеги не получили юридического закрепления, подобного западным привилегиям. Слабость юридического развития Руси — факт несомненный. Но в Новгороде имело место и формальное ограничение княжеской власти в форме присяги. Традиция под именем «отчины» и «пошлины» в средние века была лучшей охраной личных прав. Несчастье Руси было в другом, прямо обратном: в недостаточном развитии государственных начал, в отсутствии единства. Едва ли можно говорить об удельной Руси как о едином государстве. Это было династическое и церковное объединение — политически столь



слабое, что оно не выдержало исторического испытания. Свободная Русь стала на века рабой и данницей монголов.

Двухвековое татарское иго еще не было концом русской свободы. Свобода погибла лишь после освобождения от татар. Лишь московский царь, как преемник ханов, мог покончить со всеми общественными силами, ограничивающими самовластие. В течение двух и более столетий Северная Русь, разоряемая и унижаемая татарами, продолжала жить своим древним бытом, сохраняя свободу в местном масштабе и, во всяком случае, свободу в своем политическом самосознании. Новгородская демократия занимала территорию большей половины Восточной Руси. В удельных княжествах Церковь и боярство, если не вече, уже замолкшее, разделяли с князем ответственность за судьбу земли. Князь по-прежнему должен был слушать уроки политической морали от епископов и старцев и прислушиваться к голосу старшего боярства. Политический имморализм, результат чужеземного корыстного владычества, не успел развратить всего общества, которое в своей культуре приобретает даже особую духовную окрыленность. Пятнадцатый век — золотой век русского искусства и русской святости. Даже «Измарагды» и другие сборники этого времени отличаются своей религиозной и нравственной свободой от московских и византийских Домостроев.

Есть одна область средневековой Руси, где влияние татарства ощущается сильнее, — сперва почти точка на карте, потом все расплывающееся пятно, которое за два столетия покрывает всю Восточную Русь. Это Москва, «собирательница» земли русской. Обязанная своим возвышением прежде всего татарофильской и предательской политике своих первых князей, Москва, благодаря ей, обеспечивает мир и безопасность своей территории, привлекает этим рабочее население и переманивает к себе митрополитов. Благословление Церкви, теперь национализирующей, освящает успехи сомнительной дипломатии. Митрополиты, из русских людей и подданных московского князя, начинают отождествлять свое служение с интересами московской политики. Церковь еще стоит над государством, она ведет государство в лице митрополита Алексия (наш Ришелье), управляя им. Национальное освобождение уже не за горами. Чтобы ускорить его, готовы с легким сердцем жертвовать элементарной справедливостью

и завещанными из древности основами христианского общежития. Захваты территорий, вероломные аресты князей-соперников совершаются при поддержке церковных угроз и интердиктов. В самой московской земле вводятся татарские порядки в управлении, суде, сборе дани. Не извне, а изнутри татарская стихия овладевала душой Руси, проникала в плоть и кровь. Это духовное монгольское завоевание шло параллельно с политическим падением Орды. В XV веке тысячи крещеных и некрещеных татар шли на службу к московскому князю, вливаясь в ряды служилых людей, будущего дворянства, заражая его восточными понятиями и степным бытом.

Само собирание уделов совершалось восточными методами, не похожими на одновременный процесс ликвидации западного феодализма. Снимался весь верхний слой населения и уводился в Москву, все местные особенности и традиции — с таким успехом, что в памяти народной уже не сохранилось героических легенд прошлого. Кто из тверичей, рязанцев, нижегородцев в XIX веке помнил имена древних князей, погребенных в местных соборах, слышал об их подвигах, о которых мог бы прочитать на страницах Карамзина? Древние княжества русской земли жили разве в насмешливых и унижительных прозвищах, даваемых друг другу. Малые родины потеряли всякий исторический колорит, который так красит их везде во Франции, Германии и Англии. Русь становится сплошной Москвой, однообразной территорией централизованной власти: естественная предпосылка для деспотизма.

Но старая Русь не сдалась Московии без борьбы. Большая часть XVI столетия заполнена шумными спорами и залита кровью побежденных. «Заволжские старцы» и княжеское боярство пытались защищать духовную и аристократическую свободу против православного ханства. Русская Церковь раскололась между служителями Царства Божия и строителями Московского царства. Победили осифляне и опричники. Торжество партии Иосифа Волоцкого над учениками Нила Сорского привело к окостенению духовной жизни. Победа опричнины, нового «демократического» служилого класса над родовой знатью означало варваризацию правящего слоя, рост холопского самосознания в его среде и даже усиление эксплуатации трудового населения. Побежденные принадлежали, не-

сомненно, к уходящим, к отвергнутым жизнью слоям. Это была реакция — совести и свободы. В данную эпоху «прогресс» был на стороне рабства. Этого достаточно, чтобы прельстить гегельянцев — Соловьевых и прочих попутчиков истории. Но разве не позволительно остановиться на одном из поворотных моментов русской жизни и спросить себя: что было бы, если бы «ближней раде» Адашевых, Сильвестров и Курбских, опираясь на земский собор, удалось — начать эру русского представительного строя? Этого не случилось. Князь Курбский, этот Герцен XVI столетия, с горстью русских людей, бежавших из московской тюрьмы, спасали в Литве своим пером, своей культурной работой честь русского имени. Народ был не с ними. Народ не поддержал боярства и возлюбил Грозного. Причины ясны. Они всегда одни и те же, когда народ поддерживает деспотизм против свободы — при Августе и в наши дни: социальная рознь и национальная гордость. Народ имел, конечно, основания тяготиться зависимостью от старых господ — и не думал, что власть новых опричных дворян несет ему крепостное право. И, уж наверное, он был заморожен зрелищем татарских царств, падающих одно за другим перед царем московским. Русь, вчерашняя данница татар, перерождалась в великую восточную державу:

А наш белый царь над царями царь,  
Ему орды все поклонилися.

#### 4

Московское самодержавие, при всей своей видимой цельности, было явлением очень сложного происхождения. Московский государь, как князь Московский, был вотчинником, «хозяином земли русской» (так называли еще Николая II). Но он же был преемником и ханов-завоевателей и императоров византийских. Царями называли на Руси и тех, и других. Это слияние разнородных идей и средств власти создавало деспотизм если не единственный, то редкий в истории. Византийский император в принципе магистрат, добровольно подчиняющийся своим собственным законам. Он, хотя и без всяких оснований, гордился тем, что царствует над свободными, и любил противопоставлять

себя тиранам. Московский царь хотел царствовать над рабами и не чувствовал себя связанным законом. Как говорил Грозный, «жаловать есмя своих холопов вольны, а и казнить вольны же». С другой стороны, восточный деспот, не связанный законом, связан традицией, особенно религиозной. В Москве Иван IV и впоследствии Петр показали, как мало традиция ограничивает самовластие московского царя. Церковь, которая больше всего содействовала росту и успехам царской власти, первая за это поплатилась. Митрополиты, назначаемые фактически царем, им же и свергались с величайшей легкостью. Один из них, если не два, были убиты по приказу Грозного. И в чисто церковных делах, как показала Никоновская реформа, воля царя была решающей. Когда он пожелал уничтожить патриаршество и ввести в русской Церкви протестантский синод, и это сошло для него безнаказанно.

Все сословия были прикреплены к государству службой или тяглом. Человек свободной профессии был явлением немислимым в Москве — если не считать разбойников. Древняя Русь знала свободных купцов и ремесленников. Теперь все посадские люди были обязаны государству натуральными повинностями, жили в принудительной организации, перебрасываемые с места на место в зависимости от государственных нужд. Крепостная неволя крестьянства на Руси сделалась повсеместной в то самое время, когда она отмирала на Западе, и не переставала отягощаться до конца XVIII столетия, превратившись в чистое рабство. Весь процесс исторического развития на Руси стал обратным западноевропейскому: это было развитие от свободы к рабству. Рабство диктовалось не капризом властителей, а новым национальным заданием: создания Империи на скудном экономическом базисе. Только крайним и всеобщим напряжением, железной дисциплиной, страшными жертвами могло существовать это нищее, варварское, бесконечно разрастающееся государство. Есть основания думать, что народ в XVI—XVII веках лучше понимал нужды и общее положение государства, чем в XVIII—XIX. Сознательно или бессознательно, он сделал свой выбор между национальным могуществом и свободой. Поэтому он несет ответственность за свою судьбу.

В татарской школе, на московской службе выковался

особый тип русского человека — московский тип, исторически самый крепкий и устойчивый из всех сменяющихся образов русского национального лица. Этот тип психологически представляет сплав северного великоросса с кочевым степняком, отлитый в формы осифлянского православия. Что поражает в нем прежде всего, особенно по сравнению с русскими людьми XIX века, это его крепость, выносливость, необычайная сила сопротивления. Без громких военных подвигов, даже без всякого воинского духа — в Москве угасла киевская поэзия военной доблести, — одним нечеловеческим трудом, выдержкой, более потом, чем кровью, создал москвитянин свою чудовищную Империю. В этом пассивном героизме, неисчерпаемой способности к жертвам была всегда главная сила русского солдата — до последних дней Империи. Мировоззрение русского человека упростилось до крайности; даже по сравнению со средневековьем — москвич примитивен. Он не рассуждает, он принимает на веру несколько догматов, на которых держится его нравственная и общественная жизнь. Но даже в религии есть нечто для него более важное, чем догмат. Обряд, периодическая повторяемость узаконенных жестов, поклонов, словесных формул связывают живую жизнь, не дают ей распознаться в хаос, сообщают ей даже красоту оформленного быта. Ибо московский человек, как русский человек во всех своих перевоплощениях, не лишен эстетики. Только теперь его эстетика тяжелеет. Красота становится благолепием, дебелость — идеалом женской прелести. Христианство с искоренением мистических течений Заволжья превращается все более в религию священной материи: икон, мощей, святой воды, ладана, просвир и куличей. Диететика питания становится в центре религиозной жизни. Это ритуализм, но ритуализм страшно требовательный и морально эффективный. В своем обряде, как еврей в законе, москвич находит опору для жертвенного подвига. Обряд служит для конденсации моральных и социальных энергий.

В Московии моральная сила, как и эстетика, является в аспекте тяжести. Тяжесть сама по себе нейтральна — и эстетически, и этически. Тяжел Толстой, легок Пушкин. Киев был легок, тяжела Москва. Но в ней моральная тяжесть принимает черты антихристианские: беспощадности к пад-

шим и раздавленным, жестокости к ослабевшим и провинившимся. «Москва слезам не верит». В XVII веке неверных жен зарывают в землю, фальшивомонетчикам заливают горло свинцом. В ту пору и на Западе уголовное право достигло пределов бесчеловечности. Но там это было обусловлено антихристианским духом Возрождения; на Руси — бесчеловечием византийско-осифлянского идеала.

Ясно, что в этом мире не могло быть места свободе. Послушание в школе Иосифа было высшей монашеской добродетелью. Отсюда его распространение через Домострой в жизнь мирянского общества. Свобода для москвича — понятие отрицательное: синоним распушенности, «наказанности», безобразия.

Ну а как же «воля», о которой мечтает и поет народ, на которую откликается каждое русское сердце? Слово «свобода» до сих пор кажется переводом французского *liberte*. Но никто не может оспаривать русскости «воли». Тем необходимо отдать себе отчет в различии воли и свободы для русского слуха.

Воля есть прежде всего возможность жить, или пожить, по своей воле, не стесняясь никакими социальными узами, не только цепями. Волю стесняют и равные, стесняет и мир. Воля торжествует или в уходе из общества, на степном просторе, или во власти над обществом, в насилии над людьми. Свобода личная немыслима без уважения к чужой свободе; воля — всегда для себя. Она не противоположна тирании, ибо тиран есть тоже вольное существо. Разбойник — это идеал московской воли, как Грозный — идеал царя. Так как воля, подобно анархии, невозможна в культурном общежитии, то русский идеал воли находит себе выражение в культуре пустыни, дикой природы, кочевого быта, цыганщины, вина, разгула, самозабвенной страсти, — разбойничества, бунта и тирании.

Есть одно поразительное явление в Москве XVII века. Народ обожает царя. Нет и намек на политическую оппозицию ему, на стремление участвовать во власти или избавиться от власти царя. И в то же время, начиная от Смуты и кончая царствованием Петра, все столетие живет под шум народных — казацких — стрелецких — бунтов. Восстание Разина потрясло до основания все царство. Эти бунты показывают, что тягота государственного бремени была

непосильна: в частности, что крестьянство не примирилось — и никогда не примирялось — с крепостной неволей. Когда становится невмочь, когда «чаша народного горя с краями полна», тогда народ разгибает спину: бьет, грабит, мстит своим притеснителям — пока сердце не отойдет; злоба утихнет, и вчерашний «вор» сам протягивает руки царским приставам: вяжите меня. Бунт есть необходимый политический катарсис для московского самодержавия, источник застоявшихся, не поддающихся дисциплинированию сил и страстей. Как в лесковском рассказе «Чертогон» суровый патриархальный купец должен раз в году перебеситься, «выгнать черта» в диком разгуле, так московский народ раз в столетие справляет свой праздник «дикой воли», после которой возвращается, покорный, в свою тюрьму. Так было после Болотникова, Разина, Пугачева, Ленина.

Нетрудно видеть, что произошло бы в случае победы Разина или Пугачева. Старое боярство или дворянство было бы истреблено; новая казачья опричнина заняла бы его место; С. М. Соловьев и С. Ф. Платонов назвали бы это вторичной демократизацией правящего класса. Положение крепостного народа ничуть не изменилось бы, как не изменилось бы и положение царя, с переменой династии. Ведь и Романовы вступили на престол при поддержке казаков и тушинцев. Крепостничество вызывалось государственными нуждами, а государственные инстинкты смутно жили в казачестве. Народ мог только переменить царя, но не ограничить его. Больше того, он не пожелал воспользоваться самоуправлением, которое предлагал ему царь, и испытывал как лишнее бремя участие в земских сборах, которые могли бы, при ином отношении народа к государственному делу, сделаться зерном русских представительных учреждений. Нет, государство — дело царское, а не народное. Царю вся полнота власти, а боярам, придет пора, отольются народные слезы.

Если где и теплилась в Москве потребность в свободе, то уж, конечно, в этом самом ненавистном боярстве. Невзирая на погром времен Грозного, эти вольнолюбивые настроения нашли свой выход в попытках конституционных ограничений власти царя Василия, Владислава, Михаила. Боярство стремилось обеспечить себя от царской опалы и казни без вины — *habeas corpus*. И цари присягали,

целовали крест. Не поддержал народ, видевший в царских опалах свою единственную защиту — или месть, — и первая русская конституция оказалась подлинной пропавшей грамотой.

Москва не просто двухвековой эпизод русской истории — окончившейся с Петром. Для народных масс, оставшихся чуждыми европейской культуре, московский быт затянулся до самого освобождения (1861 г.). Не нужно забывать, что купечество и духовенство жили и в XIX веке этим московским бытом. С другой стороны, в эпоху своего весьма бурного существования Московское царство вырабатало необычайное единство культуры, отсутствовавшее и в Киеве, и в Петербурге. От царского дворца до последней курной избы Московская Русь жила одним и тем же культурным содержанием, одними идеалами. Различия были только качественными. Та же вера и те же предрассудки, тот же Домострой, те же апокрифы, те же нравы, обычаи, речь и жесты. Нет не только грани между христианством и язычеством (Киев) или между западной и византийской традицией (Петербург), но даже между просвещенной и грубой верой. Вот это единство культуры и сообщает московскому типу его необычайную устойчивость. Для многих он кажется даже символом русскости. Во всяком случае, он пережил не только Петра, но и расцвет русского европеизма; в глубине народных масс он сохранился до самой революции.

## 5

Стало давно трюизмом, что со времени Петра Россия жила в двух культурных этажах. Резкая грань отделяла тонкий верхний слой, живущий западной культурой, от народных масс, оставшихся духовно и социально в Московии. К народу принадлежало не только крепостное крестьянство, но все торгово-промышленное население России, мещане, купцы, и, с известными оговорками, духовенство. В отличие от неизбежных культурных градаций между классами на Западе, как и во всяком дифференцированном обществе, в России различия были качественные, а не количественные. Две разные культуры сожительства в России XVIII века. Одна представляла варваризированный пережи-



ток Византии, другая — ученическое усвоение европеизма. Выше классовой розни между дворянством и крестьянством была стена непонимания между интеллигенцией и народом, не скрытая до самого конца. Некогда могло показаться, что этот дуализм, или даже самое ощущение интеллигенции как особой культурной категории есть неповторимое, чисто русское явление. Теперь, на наших глазах, с европеизацией Индии, Китая, мы видим, что то же явление происходит повсюду на стыке двух древних и мощных культур. Взгляд на Россию с Востока или, что то же самое, глазами западного человека, который видит в ней «Скифию», необходимая предпосылка для понимания Империи. Но, признав это, сейчас же следует сказать: поразительна та легкость, с которой русские скифы усваивали чуждое им просвещение. Усваивали не только пассивно, но и активно-творчески. На Петра немедленно ответили Ломоносовым, на Растрелли — Захаровым, Воронихиным; через полтора столетия после петровского переворота — срок небольшой — блестящим развитием русской науки. Поразительно то, что в искусстве слова, в самом глубоком и интимном из созданий национального гения (впрочем, то же и в музыке), Россия дала всю свою меру лишь в XIX веке. Погибни она как нация еще в эпоху наполеоновских войн, и мир никогда бы не узнал, что он потерял с Россией.

Этот необычайный расцвет русской культуры в новое время оказался возможным лишь благодаря прививке к русскому дичку западной культуры. Но это само по себе показывает, что между Россией и Западом было известное сходство: иначе чуждая стихия искалечила бы и погубила национальную жизнь. Уродств и деформаций было немало. Но из галлицизмов XVIII века вырос Пушкин; из варварства 60-х годов — Толстой, Мусоргский и Ключевский. Значит, за ориентализмом московского типа лежали нетронутыми древние пласты Киево-Новгородской Руси, и в них легко и свободно совершался обмен духовных веществ с христианским Западом. Могло ли быть иначе? Кто из нас, даже сейчас, может равнодушно перелистывать страницы киевской летописи, у кого не проходит холодок по спине от иных строк вечного «Слова о полку Игореве»?

Вместе с культурой, с наукой, с новым бытом Запада приходит и свобода. И при этом в двух формах: в виде

фактического раскрепощения быта и в виде политического освободительного движения.

Мы обычно недостаточно ценим ту бытовую свободу, которой русское общество пользовалось уже с Петра и которая позволяла ему долгое время не замечать отсутствия свободы политической. Еще царь Петр сажал своих врагов на кол, еще бироновские палачи вздергивали на дыбу всех заподозренных в антинемецких чувствах, а во дворце, на царских пирах и ассамблеях, устанавливался новый светский тип обхождения, почти уравнивающий вчерашнего холопа с его повелителем. Петербургский двор хотел равняться на Потсдам и Версаль, и вчерашний царь московский, наследник ханов и василевсов, чувствовал себя европейским государем — абсолютным, как большинство государей Запада, но связанным новым кодексом морали и приличий. Мы как-то не отдавали себе отчета в том, почему русский император, который имел полное «божественное» право казнить без суда и вины, жечь или сечь любого из своих подданных, отнять его состояние, его жену, не пользовался этим правом. Да и невозможно себе представить, чтобы он им воспользовался — даже самый деспотичный из Романовых, как Павел или Николай I. Русский народ, вероятно, стерпел бы, как терпел при Иване IV и Петре I, — может быть, по-прежнему находил бы удовольствие в казнях ненавистных господ; были же попытки народной канонизации Павла. Но петербургский император постоянно оглядывался на своих немецких кузенов; он был воспитан в их идеях и традициях. Если народ кланялся ему в ноги или лез целовать его самого, это ему, вероятно, не доставляло никакого удовольствия. Если же он забывался, увлекаясь соблазном самовластия, дворянство напоминало ему о необходимости приличного обращения. Дворянство, возводя на трон одних государей или убивая других, добилося того, что император стал называть себя первым дворянином.

Агенты власти, сами принадлежали к тому же кругу, следовали примеру выше. Дворянин был свободен по закону от телесных наказаний; по жизненному, неписаному уставу он был свободен и от личных оскорблений. Его могли сослать в Сибирь, но не могли ударить или обругать. Дворянин развивает в себе чувство личной чести, совер-

шенно отличное от московского понятия родовой чести и восходящее к средневековому рыцарству.

Указ о «вольности дворянства» освободил его от обязательной службы государству. Отныне он может посвящать свои досуги литературе, искусству, науке. Его участие в этих профессиях освобождает и их; они действительно становятся свободными профессиями — и тогда, когда пополняются плебейми, разночинцами, преимущественно из духовного сословия. Из дворянского ядра вырастает русская интеллигенция — до конца связанная с этим сословием своими добродетелями и пороками. Россия (кроме Китая) была единственной страной, в которой дворянство давалось образованием. Окончание средней и даже полусредней школы превращало человека из мужика в барина — то есть в свободного, защищало до известной степени его личность от произвола властей, гарантировало ему вежливое обращение и в участке, и в тюрьме. Городовой отдавал честь студенту, которого мог избивать лишь в особо редкие дни — бунтов. Эта бытовая свобода в России была, конечно, привилегией, как везде в начальную пору свободы. То был остров петербургской России среди московского моря. Но этот остров беспрерывно расширялся, особенно после освобождения крестьян. Его населяли тысячи в XVIII веке, миллионы — в начале XX-го. В сущности, это бытовая свобода была самым реальным и значительным культурным завоеванием Империи, и это завоевание было явным плодом европеизации. Оно совершалось при постоянном и упорном противодействии «темного царства», то есть старой Московской Руси.

Гораздо печальнее была судьба политической свободы. Она виделась столь близкой и осуществимой в XVIII, особенно в начале XIX века. Потом она стала отдаляться и казалась уже химерой, «бессмысленными мечтаниями» при Александре III и даже Николае II. Она пришла слишком поздно, когда авторитет монархии был подорван во всех классах нации, а еще углубившаяся классовая рознь делала необычайно трудной перестройку государства на демократических началах.

Носителем политического либерализма у нас долго, едва ли не до самого 1905 года, было дворянство. Вопреки марксистской схеме, не буржуазия была застрельщицей ос-

вобождения: оставшись культурно в донетровской Руси, она была главной опорой реакции; вплоть до появления, в конце XIX века, нового типа европейски образованного фабриканта и банковского деятеля. Но дворянство если не в массе своей, костной и малокультурной, то в европейски образованных верхушках долгое время одно представляло в России свободолюбие. Более того, в течение всего XVIII века и в начале XIX русские конституционалисты почти исключительно вельможи: члены Верховного тайного совета при Анне, граф Панин при Екатерине, при Александре — Мордвинов, Сперанский, кружок интимных друзей императора. Долгое время Швеция со своей аристократической конституцией вдохновляла русскую знать; потом пришла пора французских и английских политических идей. Если бы вся Европа в XVIII веке жила в форме конституционной монархии, то весьма вероятно, что и Россия заимствовала бы ее вместе с остальными реквизитами культуры. После французской революции это стало затруднительным. Европейский политический ветер подул реакцией, да и русские императоры не имели охоты восходить на эшафот, повторяя европейские жесты.

Но пересадка политических убеждений — конечно, возможная (ср. Турцию и Японию) — гораздо труднее и опаснее, чем заимствование наук и искусств. Это показал неудачный «замысел верховников». Анализ событий 1730 года показывает, во-первых, что большинство столичного дворянства желало ограничения самодержавия; во-вторых, что оно недостаточно этого желало, чтобы преодолеть свою собственную неорганизованность и рознь. В итоге предпочли привилегиям верховников общее равенство бесправия. Таков смысл событий 1730 года, и он весьма пахнет Москвией. Шляхетство того времени, в сущности, разделяет крестьянскую подозрительность к свободе господ. Вместо того чтобы утвердить ее для немногих (для вельмож) и потом бороться за ее расширение на все сословия, в пределе — на всю нацию, — единственно возможный исторический путь, — предпочитают рабство для всех. Так велика власть Москвы в сознании культурных или полукультурных потомков опричного дворянства.

Весь драматизм российской политической ситуации выражается в следующей формуле: политическая свобода в

России может быть только привилегией дворянства и европеизированных слоев (интеллигенции). Народ в ней не нуждается, более того, ее боится, ибо видит в самодержавии лучшую защиту от притеснений господ. Освобождение крестьян само по себе не решало вопроса, ибо миллионы безграмотных, живущих в средневековом быте и сознании граждан не могли строить новую европеизированную Россию. Их политическая воля, будь она только выражена, привела бы к ликвидации Петербурга (школ, больниц, агрономии, фабрик и т. п.) и к возвращению в Москву: то есть теперь уже к превращению России в колонию иностранцев. Сговор монархии с дворянством представлял единственную возможность ограниченной политической свободы. Французская революция с ее политическим отражением 14 декабря 1825 года делала этот сговор невозможным. Оставалось управлять Россией с помощью бюрократии, которая и становится новой силой, по идеям Сперанского, при Николае I.

Со времени декабристов, отчасти еще в их поколении, освободительные идеи усваиваются и развиваются людьми, оттиснутыми или добровольно отошедшими от государственной деятельности. Это совершенно меняет их характер: из практических программ они становятся идеологиями. С 30-х годов они выращиваются в теплицах немецкой философии, потом — естественных и экономических наук. Но источник их неизменно западный; русский либерализм, как и социализм, имеет свои духовные корни в Европе: или в английской политической традиции, или во французской идеологии — теперь уже Франции 40-х годов, — или в марксизме. Русский социализм уже с Герцена может окрашиваться в цвета русской общины или артели, он остается европейским по основам своего мирозерцания. Либерализму эта национальная мимикрия совсем не удалась.

Есть два кажущихся исключения. Славянофильство 40-х годов было, несомненно, движением либеральным и претендовало быть национально-почвенным. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что источник его свободолюбия все в той же Германии, а русское прошлое ему плохо известно; русские учреждения (земский собор, община) идеализированы и имеют мало общего с действи-

тельностью. Неудивительно, что, пустив корни в России, славянофильство скоро утратило либеральное содержание. Когда же оно победило и взошло на трон в лице Александра III (с Победоносцевым), оно оказалось реакционным тупиком в явно московском направлении.

В 60-х годах оно, довольно широкое, но политически не оформленное течение (не-нигилисты), носит определенную национальную окраску. Я имею в виду молодую русскую этнографию, сливающуюся с народничеством, историков типа Костомарова, Пыпина, Шапова, Аристов; к ним примыкает кружок национальных композиторов — прежде всего, конечно, Мусоргский — и передвижники в живописи: Репин и Суриков. Одни из них, как Костомаров, правильно ищут русских корней в далеком, замосковском прошлом. К сожалению, они не приобрели большого влияния в русском обществе. Костомаров защищал побежденных (Новгород, феодальную Русь). Русская интеллигенция предпочла усвоить московскую историческую традицию митрополита Макария и Степенной Книги, пропущенную сквозь Гегеля. С необычайной легкостью, без ощущения всего трагизма русской истории она — вслед за Соловьевым и Ключевским — приняла как нечто нормальное (вроде европейского абсолютизма) московско-татарское поглощение Руси, с непонятным оптимизмом ожидая входов западной свободы на этой почве. Другие из радикалов увлеклись стихией бунта, открывая ее в костной тяжести Москвы. С тех пор студенчество не перестает петь разбойничьи песни, и «Дубинушка» делается чуть ли не русским национальным гимном. Но мы видели, как мало общего разбойная воля имеет со свободой. Мусоргский, Суриков, идеализация казачества, раскола и разинщины несомненно воодушевляли революционную армию. Однако если бы эта идеология направила революцию, она сообщила бы ей национально-черносотенный характер.

60-е годы, сделавшие так много для раскрепощения России, нанесли политическому освободительному движению тяжелый удар. Они направили значительную, и самую энергичную часть его — все революционное движение, — по антилиберальному руслу. Разночинцы, которые начинают вливаться широкой волной в дворянскую интеллигенцию, не находят политическую свободу достаточно привле-

кательным идеалом. Они желают революции, которая немедленно осуществила бы в России всеобщее равенство — хотя бы ценой уничтожения привилегированных классов (знаменитые 3 миллиона голов). Против дворянского либерализма — даже либерального социализма Герцена — они начинают ожесточенную борьбу. Раннее народничество 60—70-х годов считает даже вредной конституцию в России как укрепляющую позиции буржуазных классов. Многие можно было привести в объяснение этой поразительной абберации: погоню за последним криком западной политической моды, чрезвычайный примитивизм мысли, оторванной от действительности, максимализм, свойственный русской мечтательности. Но есть один, более серьезный и роковой, мотив, уже знакомый нам. Разночинцы стояли ближе к народу, чем либералы. Они знали, что народу свобода не говорит ничего; что его легче поднять против бар, чем против царя. Впрочем, их собственное сердце билось в такт с народом; равенство говорило им больше свободы. Конечно, и здесь сказалось все то же московское наследие.

Потом они поумнели. Уже народовольцы признали борьбу за политическое освобождение. В конце века обе господствующие социалистические партии недвусмысленно ведут борьбу за демократию. Правда, марксизм понимал свою свободу инструментально, как средство в борьбе за диктатуру пролетариата: вскрывая «буржуазную подоплеку» освободительного движения, он унижал и обесмысливал свободу в глазах неискушенных в тактических тонкостях масс. Но здесь уже веял не старый «русский дух», а новый западный душок, или сквозняк, который дул от утопического коммунизма 40-х годов в еще неведомое и негданное царство фашизма.

И все же пятидесятилетие, протекшее со времени Освобождения, изменило весь облик России. Интеллигенция выросла в десятки, сотни раз. Уж ей навстречу поднималась новая рабоче-крестьянская интеллигенция, которая, случалось, выносила на гребне волны такие яркие имена русской культуры, как Максим Горький и Шаляпин. В 1905 году, казалось, исчезла вековая грань между народом и интеллигенцией: народ, утратив веру в царя, доверил интеллигенции водительство в борьбе за свободу. Переход дворянства в ла-

герь реакции искупался развитием новой либеральной буржуазии. Старое земство, великолепная школа свободной общественности, работало превосходно в ожидании своей демократизации. Профессиональное и кооперативное движение воспитывало общественно-трудовую демократию. Народная школа, уже выработавшая план всеобщего обучения, быстро разлагала московскую формацию поверхностным просвещением. Уже любителям русского фольклора приходилось ездить за остатками его на Печору. Еще пятьдесят лет, и окончательная европеизация России — вплоть до самых глубоких слоев ее — стала бы фактом. Могло ли быть иначе? Ведь «народ» ее был из того же самого этнографического и культурного теста, что и дворянство, с успехом проходившее ту же школу в XVIII веке. Только этих пятидесяти лет России не было дано.

Первое прикосновение московской души к западной культуре почти всегда скидывается нигилизмом; разрушение старых устоев опережает положительные плоды воспитания. Человек, потерявший веру в Бога и царя, утрачивает и все основы личной и социальной этики. О хулиганстве в деревне заговорили с началом столетия. Учитель делается первым объектом дерзких шуток, интеллигенция как класс — объектом ненависти. После крушения революции 1905 года — и слишком поспешного отхода от народа ведущих слоев русской культуры — намечается новая рознь. В своих, почти пророческих, статьях Блок слушал нарастающий гул народной ненависти, грозившей поглотить блестящую, но хрупкую нашу культуру. Порою тот или иной выходец из новой народной интеллигенции (Карпов в своей книге «Пламя») бросал страстный вызов старой «буржуазной» интеллигенции, с которой он не успел еще слиться, как слились (или почти слились) Горький или Шаляпин. В этой перспективе все новейшее развитие России представляется опасным бегом на скорость: что упредит — освободительная европеизация или московский бунт, который затопит и смоем молодую свободу волной народного гнева?

Читая Блока, мы чувствуем, что России грозит не революция просто, а революция черносотенная. Здесь, на пороге катастрофы, стоит взглянуть в эту последнюю, антилиберальную реакцию Москвы, которая сама себя назвала по-московски Черной Сотней. В свое время недооценили



это политическое образование из-за варварства и дикости ее идеологии и политических средств. В нем собрано было самое дикое и некультурное в старой России, но ведь с ним связано большинство епископата. Его благословлял Иоанн Кронштадтский, и царь Николай II доверял ему больше, чем своим министрам. Наконец, есть основание полагать, что его идеи победили в ходе русской революции и что, пожалуй, оно переживет нас всех.

За православием и самодержавием, то есть за московским символом веры, легко различаются две основные традиции: острый национализм, оборачивающийся ненавистью ко всем инородцам — евреям, полякам, немцам и т. д., и столь же острая ненависть к интеллигентам, в самом широком смысле слова, объединяющем все высшие классы России. Ненависть к западному просвещению сливалась с классовой ненавистью к барину, дворянину, капиталисту, к чиновнику — ко всему средостению между царем и народом. Самый термин «черная сотня» взят из московского словаря, где он означает организацию (гильдию) низового беднейшего торгового класса; для московского уха он должен был звучать как для Токвиля «демократия». Словом, Черная Сотня есть русское издание или первый вариант национал-социализма. При фанатической ненависти, при насильственности действий, принимавших легко характер погрома и бунта, движение таило в себе потенции разинщины. Власть, дворянство вскармливало его — но на свою голову. Губернатор не всегда мог справиться с ним, и пример Илиодора в Царицыне показывает, как легко черносотенный демагог становится демагогом революционным. Не мешает остановиться на этой неприглядной реакции побежденной Москвы в те роковые годы, когда недаром вспомнили старое пророчество: Петербургу быть пусту.

## 6

Русская революция за 28 лет ее победоносного, хоть и тяжкого бытия пережила огромную эволюцию, проделала немало зигзагов, сменила немало вождей. Но одно в ней осталось неизменным: постоянное, из года в год, умаление и удушение свободы. Казалось, что дальше ленинской тоталитар-

ной диктатуры идти некуда. Но при Ленине меньшевики вели легальную борьбу в Советах существовала свобода политической дискуссии в партии, литература, искусство мало страдали. Об этом так странно вспоминать теперь. Дело не в том, конечно, что Ленин, в отличие от Сталина, был другом свободы. Но для человека, дышавшего воздухом XIX века, хотя и в меньшей степени, чем для русского самодержца, существовали какие-то неписанные границы деспотизма, хотя бы в виде привычек, стеснений, ингибиций. Их приходилось преодолевать шаг за шагом. Так и до сих пор в тоталитарных режимах, введя пытку, еще не дошли — до квалифицированных публичных казней. Иностранцы, посещающие Россию через промежуток нескольких лет, отмечают сгущение неволи в последних убежищах вольного творчества — в театре, в музыке, в кинематографе. В то время как русская эмиграция ликовала по поводу национального перерождения большевиков, Россия переживала один из самых страшных этапов своей Голгофы. Миллионы замученных жертв отмечают новый поворот диктаторского руля. На последнем «национальном» этапе — а, казалось бы, он должен был вдохновлять художника — русская литература дошла до пределов наивной беспомощности и дидактизма; следствие утраты последних остатков свободы.

Второе, и еще более грозное явление. По мере убыли свободы прекращается и борьба за нее. С тех пор как замерли отголоски гражданской войны, свобода исчезла из программы оппозиционных движений — пока эти движения еще существовали. Немало советских людей повидали мы за границей — студентов, военных, эмигрантов новой формации. Почти ни у кого мы не замечаем тоски по свободе, радости дышать ею. Большинство даже болезненно ощущает свободу западного мира как беспорядок, хаос, анархию. Их неприятно удивляет хаос мнений на столбцах прессы: разве истина не одна? Их шокирует свобода рабочих, стачки, легкий темп труда. «У нас мы прогнали миллионы через концлагеря, чтобы научить их работать» — такова реакция советского инженера при знакомстве с беспорядками на американских заводах; а ведь он сам от станка — сын рабочего или крестьянина. В России ценят дисциплину и принуждение и не верят в значение личного

почина — не только партия не верит, но и вся огромная ею созданная новая интеллигенция.

Не одна система тоталитарного воспитания ответственна за создание этого антилиберального человека, хотя мы и знаем страшную мощь современного технического аппарата социальной перековки. Тут действовал и другой социально-демографический фактор. Русская революция была еще невиданной в истории мясорубкой, сквозь которую были пропущены десятки миллионов людей. Громадное большинство жертв, как и во французской революции, пало на долю народа. Далеко не вся интеллигенция была истреблена; технически необходимые кадры были отчасти сохранены. Но как ни слепо подчас действовала машина террора, она поражала, бесспорно, прежде всего элементы, представлявшие, хотя бы только морально, сопротивление тоталитарному режиму: либералов, социалистов, людей твердых убеждений или критической мысли, просто независимых людей. Погибла не только старая интеллигенция, в смысле ордена свободолюбия и народолюбия, но и широкая народная интеллигенция, ею порожденная. Говоря точнее, произошел отбор. Народная интеллигенция раскололась — одна влилась в ряды коммунистической партии, другая (эсеро-меньшевистская) истреблена. Интеллигенция просто — большевизмом не соблазнилась. Но те в ее рядах, кто не пожелал погибнуть или покинуть родину, должны были за годы неслыханных унижений убить в себе самое чувство свободы, самую потребность в ней: иначе жизнь была бы просто невыносимой. Они превратились в техников, живущих своим любимым делом, но уже вполне обездушенным. Писателю все равно, о чем писать: его интересует художественное «как», поэтому он может принять любой социальный заказ. Историк получает свои схемы готовыми из каких-то комитетов: ему остается трудолюбиво и компетентно вышивать узоры...

В итоге не будет преувеличением сказать, что вся созданная за двести лет Империи свободолюбивая формация русской интеллигенции исчезла без остатка. И вот тогда-то под нею проступила московская тоталитарная целина. Новый советский человек не столько вылеплен в марксистской школе, сколько вылез на свет Божий из Московского царства, слегка приобретя марксистский лоск. Посмотрите на

поколение Октября. Их деды жили в крепостном праве, их отцы пороли самих себя в волостных судах. Сами они ходили 9 января к Зимнему дворцу и перенесли весь комплекс врожденных монархических чувств на новых красных вождей.

Вглядимся в черты советского человека — конечно, того, который строит жизнь, а не смят под ногами, на дне колхозов и фабрик, в черте концлагерей. Он очень крепок, физически и душевно, очень целен и прост, ценит практический опыт и знания. Он предан власти, которая подняла его из грязи и сделала ответственным хозяином над жизнью сограждан. Он очень честолюбив и довольно черств к страданиям ближнего — необходимое условие советской карьеры. Но он готов заморить себя за работой, и его высшее честолюбие — отдать свою жизнь за коллектив: партию или родину, смотря по временам. Не узнаем ли мы во всем этом служилого человека XVI века? (не XVII, когда уже начинается декаданс). Напрашиваются и другие исторические аналогии: служака времен Николая I, но без гуманности христианского и европейского воспитания; сподвижник Петра, но без фанатического западничества, без национального самоотречения. Он ближе к москвичу своим гордым национальным сознанием, его страна единственно православная, единственно социалистическая — первая в мире: третий Рим. Он с презрением смотрит на остальной, то есть западный мир; не знает его, не любит и боится его. И, как встарь, душа его открыта Востоку. Многочисленные «орды», впервые приобщающиеся к цивилизации, вливаются в ряды русского культурного слоя, вторично ориентализируя его.

Может показаться странным говорить о московском типе в применении к динамизму современной России. Да, это Москва, пришедшая в движение, с ее тяжестью, но без ее косности. Однако это движение идет по линии внешнего строительства, преимущественно технического. Ни сердце, ни мысль не взволнованы глубоко; нет и в помине того, что мы, русские, называем странничеством, а французы — *inquiétude*. За внешним бурным (почти всегда как бы военным) движением — внутренний невозмутимый покой.

Мы здесь со страстным любопытством следим за эволюцией советского человека сквозь его условную, заказную

литературу. Мы с радостью, граничащей с умилением, наблюдали, как на маске железного большевистского робота 20-х годов постепенно проступают черты человеческого лица. Может быть — и это даже вероятнее, — что то была скорее эволюция цензуры или литературной политики партии, чем живой жизни. Все-таки советский человек, хотя бы с наганом в руках, был человек. И ему свойственны были, вероятно и тогда, когда они считались запретными, и дружба, и любовь к женщине, и даже любовь к родине. Но в тоталитарном строе государство воспитывает людей, их чувства, их мысли, самые интимные. И мы приветствуем официальное воскрешение человечности, мы радуемся, узнавая в советском герое черты любимого русского лица.

Эта эволюция далеко не закончена и происходит с частыми и болезненными перебоями. Еще слово «злой», как в первые годы Чека, употребляется в положительном смысле; иной раз злою называется даже русская земля. Война принесла с собой, естественно, аналогию мести и жестокости. Но та же война рабудила ключи дремавшей нежности — к поруганной родине, к женщине, жене и матери солдата. Нет пока никаких признаков пробуждения религиозного чувства. Новая религиозная политика (НРП) остается в пределах чистой политики. Но и это со временем придет, если религия действительно составляет неотъемлемый атрибут человека; когда-нибудь метафизический голод проснется и в этом примитивном существе, живущем пока культом машины и маленького личного счастья.

Завершится ли эта внутренняя эволюция возрождением свободы, это другой вопрос, на который опыт истории, думается, не принадлежит к инстинктивным или всеобщим элементам человеческого общежития. Лишь христианский Запад выработал в своем трагическом средневековье этот идеал и осуществил его в последние столетия. Только в общении с Западом Россия времен Империи заразилась этим идеалом и стала перестраивать свою жизнь в согласии с ним. Отсюда как будто следует, что если тоталитарный труп может быть воскрешен к свободе, то живой воды придется опять искать на Западе.

Многие думают, что на этот раз России незачем идти так далеко: она уже накопила в своей литературе такие ценности свободолюбия, которые могут зажечь священный

огонь в новых поколениях. Думать так — значит страшно переоценивать значение книги в развитии души. Мы почерпаем в книгах лишь то, чего ищет наше сознательное или бессознательное «я». Вспомним, что Шиллер остается классиком в школах Германии, что Евангелие читалось в самые мрачные и жестокие века христианской истории. Комментаторы или дух времени всегда приходят на помощь, чтобы обезвредить духовные яды. В России давно уже читают с увлечением классиков, но там, по-видимому, не приходит в голову перенести в современность сатиру Гоголя или Щедрина. Да и только ли свободолюбие учат русские классики? Гоголь и Достоевский были апологетами самодержавия, Толстой — анархии, Пушкин примирился с монархией Николая. Как читают классиков в Советской России? В дни лермонтовского юбилея все писали о поэте «Валерика» и «Родины» как о русском патриоте, дравшемся на Кавказе за российское великодержавие. В сущности, только Герцен из всей плеяды XIX века может учить свободе. Но Герцен, кажется, не в особом почете у советского читателя.

Если же солнце свободы, в противоположность астрономическому светилу, восходит с Запада, то все мы должны серьезно задуматься о путях и возможностях его проникновения в Россию. Одно из необходимых условий — личное общение, — сейчас чрезвычайно облегчено войной. Война в освобождении России — факт двусторонний. Ее победоносный конец, бесспорно, укрепляет режим, доказывая, путем проверки на полях битв, его военное превосходство перед слабостью демократий. Этот аргумент действует даже на иных либералов из русской эмиграции. Но, с другой стороны, война открывает для миллионов русских воинов возможности личного общения с Западом. Для того, чтобы демократические идеи Запада могли импонировать москвичам, необходимы два условия — в сущности, сводящиеся к одному. Запад должен найти в своих идеалах опору для более удачного, более человеческого решения социального вопроса, который до сих пор, худо ли, хорошо ли, решала лишь диктатура. Во-вторых, московский человек должен встретить в своем товарище, воине-демократе, такую же силу и веру в идеал свободы, какую он сам переживает, или переживал, в идеал коммунизма. Но это означает для демократа, отрицательно, нетерпимость ко всякой ти-

рании, каким бы флагом она ни прикрывалась. Наши предки, общаясь с иностранцами, должны были краснеть за свое самодержавие и свое крепостное право. Если бы они встретили повсеместно такое же раболопное отношение к русскому царю, какое проявляет к Сталину Европа и Америка, им не пришлось бы в голову задуматься над недостатками в своем доме. Лъстецы Сталина и Советской России сейчас враги русской свободы. Или иначе: лишь борясь за свободу на всех мировых фронтах, внешних и внутренних, без всяких «дискриминаций» и предательства, можно способствовать возможному, но сколь еще далекому освобождению России.

## СУДЬБА ИМПЕРИЙ

Империй призрачных орлы...

**В** марксистской литературе принято считать империализм политическим продуктом зрелого капитализма, в который Европа вступила приблизительно с 80-х годов прошлого столетия. Экономические мотивы (борьба за рынки, сырье и помещение капиталов) действительно отмечают новейшую колониальную политику европейских Империй. Но экономика — лишь одна из многих сторон политической экспансии, которая стара, как мир. Здесь социология непосредственно продолжает биологию. Борьба за власть есть лишь политическое выражение всеобщей борьбы за существование. Можно было бы утверждать, как историко-социологический постулат, что каждое государство или даже каждое политическое образование (род, племя, орда) непрерывно раздвигает границы своей территории за счет соседей до тех пор, пока не встретит достаточно сильного сопротивления. В результате устанавливаются более или менее твердые границы, но всегда оспариваемые, всегда подвижные. Война в истории более постоянное явление, чем мир. Даже в периоды длительного мира нельзя забывать, что он лишь результат равновесия враждебных сил. Границы государства не статические формы, а силовые линии, где скрещиваются и уравниваются внутреннее и внешнее давления. Равновесие постоянно нарушается, и тогда происходит расширение, сжатие или гибель государства.

Вся история может быть рассматриваема (и даже преимущественно рассматривалась в узкополитической историографии) как смена процессов интеграции и дезинтеграции. Можно называть первый процесс ростом, развитием, объединением или же завоеванием, порабощением, ассимиляцией; второй — упадком, разложением или освобождением, рождением новых наций, в зависимости от того, какая государственность или народность стоит в центре наших интересов. Галльские войны Цезаря принесли с собой



смерть кельтской Галлии и рождение Галлии римской. Разложение Австро-Венгрии есть освобождение — Чехии, Польши и Югославии. Объективная же или сверхнациональная оценка историка колеблется. Рост государства означает расширение зоны мира, концентрацию сил и, следовательно, успехи материальной культуры. Но гибель малых или слабых народов, ими поглощенных, убивает, часто навеки, возможность расцвета иных культур, иногда многообещающих, быть может, качественно высших по сравнению с победоносным соперником. Эти гибнущие возможности скрыты от глаз историка, и потому наши оценки великих Империй или, точнее, факта их образования и гибели содержат так много личного или условного. В отличие от евразийцев мы признаем безусловным бедствием создание монгольской Империи Чингисхана и относительным бедствием торжество персидской монархии над эллинизмом. С нашей точки зрения, Империя Александра Великого и его наследница — Римская — создали огромные культурные ценности, хотя в случае Рима нельзя не сожалеть о многих нераспустившихся ростках малых латинизированных культур. Враги греческого гуманизма, которых так много в наше время, конечно, другого мнения. Борьба эллинизма и Востока еще продолжается в нашей современной культуре.

Когда экспансия государства переходит в ту стадию, которая позволяет говорить об Империи? На этот вопрос не так легко ответить. Во всяком случае, нельзя сказать, что Империя есть государство, вышедшее за национальные границы, потому что национальное государство (если связать национальность с языком) явление довольно редкое в истории. Может быть, правильное определение было бы: Империя — это экспансия за пределы длительно устойчивых границ, перерастание сложившегося, исторически оформленного организма.

Историки давно говорят о Египетской Империи для эпохи азиатских завоеваний Рамесидов, о Вавилонско-Ассирийской и Персидской Империях — в их расширении за пределы Междуречья и Ирана до берегов Средиземного моря. Рим превращается в Империю, когда выходит из границ Италии; европейские державы — когда приобретают обширные колониальные владения за океаном. Но завоевание или ассими-

ляция немцами западных славян или русскими славянами финнов не создавали Империи. Выход государства, даже непрерывно растущего, из его привычной геополитической сферы есть тот момент, когда количество переходит в качество: рождается не новая провинция, но Империя, с ее особым универсальным политическим самосознанием.

\* \* \*

Наши привычные понятия о государстве сложились в опыте XIX века, когда национальное государство из исключения превратилось в норму, в тип государства вообще. Современное государство-нация есть продукт скрещения двух первоначально враждебных сил: романтизма и французской революции. Романтизм, с его переоценкой всего иррационального в человеке и культуре, строил идею народа на подсознательных или полусознательных элементах его жизни, каковы язык, фольклор, языческая религия природы. Народ романтиков совпадал с языковой общиной. Французская революция сделала народ (конечно, другой, насквозь рассудочный народ) сувереном, единственным носителем государственной власти. Народы Европы, поработанные революционной Францией, в борьбе против нее прошли через ее школу. Их культурный, бытовой, религиозный национализм превратился в политический. Каждый народ (нация) имеет право на свою государственность, и только национальные государства оправданы. Такова была вера XIX века. И его внешнеполитическая история сводилась главным образом к революционно-военной перекройке европейской карты по национальным границам. Для одних (немцев, итальянцев) это было движение к единству, для других — к отделению, освобождению от наций-завоевательниц. Некоторые страницы этой истории достойны Плутарха. Нельзя без волнения читать о героях и мучениках освободительных движений в Италии, Польше, Ирландии. Счастливые, немцы и итальянцы, создали свои крепкие национальные государства уже в XIX веке. Даже более слабые, балканские народы, добились своей независимости, пользуясь слабостью Турции и поддержкой мощной России. Несчастливым пришлось ждать до первой мировой войны, которая принесла долго чаемое освобождение полякам, ирландцам, чехам и другим австрийским славянам.

Но задолго до того, как процесс национализации Европы завершился или, вернее, достиг своего возможного апогея, началась эра нового империализма. Конечно, и он не сводился к голой экономике. И в нем говорила воля к власти, пафос славы (Киплинг) или голос тщеславия. Но для великих европейских держав конца XIX века колониальная экспансия была хозяйственной необходимостью. Все растущая индустрия требовала заокеанского сырья (хлопок, каучук), изобретение двигателей внутреннего сгорания вызвало колоссальную потребность в нефти и борьбу за ее ограниченные естественные источники. Наконец, победоносный капитализм, по природе своей не способный удовлетворяться внутренними рынками, начинает погоню за внешними. Политическое господство становится формой, орудием и броней экономической эксплуатации. Старые колониальные Империи Англии и Голландии просыпаются от вековой дремы для новой лихорадочной работы. Поздно пришедшие народы спешно строят свои новые Империи за морем: Франция, Бельгия, Италия, Германия. Впрочем, *sego venientibus ossa*. Для Германии не нашлось уже «места под солнцем» Африки и Азии, достаточно рентабельного, и она обратила главную ось своей экспансии на Ближний Восток. Здесь она проникла в империалистическую зону сил Англии и России, что и было одной из главных причин первой великой войны. В эту войну вступили уже не европейские народы или нации, а мировые Империи, подобные драконам, головы которых еще уместались в Европе, но туловища покрывали почти весь земной шар.

Конфликты, приведшие к войне, были двух порядков: национальные и империалистические. Национальной, в старом смысле слова, была борьба Франции и Германии из-за Эльзас-Лотарингии, борьба немцев и славян на Дунае, внутри и вне Австро-Венгерской монархии. Империалистическая экспансия поссорила Германию с Англией и Россией. На Версальской конференции явно преобладали мотивы национальные, даже этнографические. Ее идеальным планом, на практике оказавшимся неосуществимым, было воплощение старой романтической мечты: для каждой народности свое государство. Крушение нескольких Империй позволило кроить новые государства в Европе щедро и, на первый взгляд, безболезненно. Вопрос о коло-

ниях, о переделе мира и мировых богатств стоял на сторон плане.

Вторую войну можно понять лишь в теснейшей связи с первой, как ее второй акт. Основной силой взрыва было болезненно-раздраженное, в результате поражения, национальное чувство Германии, самой динамической нации Европы. В ее сознании давно уже национальные мотивы неразрывно сплетались с империалистическими. Это значит: пафос освобождения становился для нее волей к власти. Гитлер и выставил для нее программу в сущности беспредельного господства: сначала в Восточной Европе, потом в Европе вообще — наконец, во всем мире. С поразительной легкостью ему удалось осуществить две части своей программы. Впервые со времен Наполеона Европа подчинилась единому «порядку». Этот порядок, то есть господство Германии, приняла и Франция, казалось бы, ее вечный и непримиримый враг. На службу мечу стали и новые идеологии, в которых расовые и буржуазно-классовые мотивы сплетались с самыми передовыми, сверхнациональными и социалистическими. Бессилие и малодушие находили опору в стремлении к миру, к европейскому единству, к универсальной организации.

Потеря чувства меры (как в случае с Наполеоном) и ассирийское варварство методов завоевания сгубили Гитлера и Германию. Он нес народам не мир на основе права и порядка, который побежденные могли бы принять скрепя сердце, но унижение, порабощение, для многих физическое истребление. В результате Германия вызвала против себя взрыв национальных чувств и страстей, который оказался сильнее потребности в порядке и единстве. Англия и Россия боролись за свое существование. Движения сопротивления возродили революционный национализм, напоминающий эпоху наполеоновских войн. Второй акт мировой войны окончился крушением германского варианта мировой Империи.

В результате этих двух «раундов» старая Европа с ее сложившейся системой международных отношений отошла в вечность. Погибли или погибают все ее Империи, кроме России, на равновесии которых держался мир. Нет больше Австро-Венгрии, Турция ушла из Европы, Италия потеряла все колонии, Германия — конечно, временно, — не существует

даже как государство. Франция сведена на степень второ-степенной державы, которая делает бессильные попытки спасти свою распадающуюся заморскую Империю. Англия, хотя и дважды победоносная и способная к героической борьбе, ослаблена тяжким кровопусканием и вынуждена сама начать ликвидацию — своей Империи. В отличие от Франции, она проявляет в этом процессе свертывания много проницательности и великодушия. Она действительно стремится перестроить свою Империю в добровольную федерацию наций, преимущественно англосаксонской культуры. Но, занятая огромными внешними трудностями, она бессильна помочь Европе в организации хаоса.

Этот хаос создан не только военными потрясениями. Если погибли империи, то и государства-нации не смогли организовать жизни в образовавшейся политической пустоте. Прежде всего выяснилась утопичность чисто этнографической государственности. Историческая чересполосица племен, естественные географические рубежи (Богемия), исторические воспоминания и притязания делают национальную проблему Восточной Европы неразрешимой. Чем дальше мы идем по путям мнимых решений, тем больше накапливается ненависти, к старым прибавляются новые несправедливости, открываются источники новых конфликтов. С другой стороны, национальное чувство в наши дни, столь беспощадное к слабым соседям, оказывается неожиданно и жалко покорным перед торжествующей силой. Чехословакия добровольно отдалась московскому властелину. А ведь Франция и Чехословакия были классическими странами современного демократического национализма. Почти все силы сопротивления в Европе, боровшиеся с Гитлером, предадут теперь свою родину новому восточному завоевателю. Точно цель всей их борьбы была в том, чтобы переменить одного тирана на другого.

Нет, не национальное сознание способно сейчас организовать мир; скорее оно мешает новой организации, стремится увековечить хаос. Нечего и говорить о том, что за столетие индустриального капитализма оно растеряло все те великие ценности, которые некогда национальный романтизм писал на своем знамени. Культура — или бескультурность — современных наций становится все более

космополитической, безнадежно однообразной. Национальные традиции служат больше для декоративной рекламы внутренне пустой технической цивилизации.

\* \* \*

Итак, ни равновесие Империй, ни мирное строительство малых наций не даны для новой исторической эпохи. Пока над руинами и хаосом Европы высятся два гиганта, два победителя, вознесенные мировой войной на небывалую высоту. Для всех ясно, насколько неустойчиво новое равновесие. При всяких обстоятельствах дуализм политических сил, направления которых пересекаются почти во всех точках общего «жизненного пространства», неизбежно приводит к их столкновению. Правда, сейчас нет недостатка в карликах, которые, в страхе от приближающейся грозы, пытаются играть роль посредников между гигантами. Но их политический вес слишком ничтожен, чтобы поддерживать шатающееся равновесие. В данном случае нельзя даже говорить о столкновении как о событии будущего. Борьба между двумя Империями уже ведется методами дипломатии, экономики, пропаганды. Даже прямые военные действия идут, хотя и под прикрытием чужих флангов. Сейчас СССР ведет войну в Греции и в Китае, как ранее вел ее в Иране и во всей уступленной ему, но подлежащей покорению территории Восточной Европы. Для СССР война еще продолжается; мир не подписан, да он и не должен быть подписан. Сталин явно выступил в качестве преемника Гитлера не только в сфере бывшего фактического господства Германии, но и ее притязаний. Для правящего слоя в России дело идет о господстве над миром путем завоевания и революции.

Америка не мечтает о мировом господстве. Она думает больше об организации своей безопасности, но поняв уже, что мир стал слишком тесен для безопасности одиноких. Она уже преодолела свой врожденный изоляционизм и пытается организовать мировой хаос. Пока еще только доллар и хлеб, не адекватными пулеметам и пушкам ее вездесущего противника. Но военный потенциал Америки огромен. В случае военного столкновения ее победа несомненна, по крайней мере при настоящем соотношении воо-

ружений и сил. Ее беда в том, что она не умеет реализовать свой военный потенциал в обстановке мира, главным образом благодаря «викторианской» отсталости своего политического мышления.

Но Америке не чужда мысль о мировом единстве. Она пыталась воплотить ее в бескровном призраке ООН, этом ухудшенном издании Лиги Наций. По-видимому, она сейчас уже не верит в нее. В мире, разделенном пополам непримиримыми противоречиями, не может быть никаких Объединенных Наций. Но как ни компрометирует это жалкое учреждение великую идею единства, она сейчас жива, как никогда. Жива, несмотря на разлив национальных страстей, несмотря на подготовку третьей войны. Ведь эта война готовится не для защиты национальных, ограниченных интересов, но во имя организации мира. Сталин, подобно Гитлеру, мыслит эту организацию как порабощение и подчинение мира своей социальной системе и единой воле господина; Америка и Англия — как союз юридических равных, как федерацию демократических народов.

До сих пор идея мирового государства не защищается правящими кругами англосаксонских союзников. Они вынуждены считаться с самолюбиями средних и малых народов, с узким национализмом своих собственных стран. Потеря национального суверенитета пугает. XIX век держит в плену их сознание. Но уже Черчилль имеет смелость говорить о Соединенных Штатах Европы. Но уже Маршалл требует единой экономической организации Европы как условия американской помощи для хозяйственной реконструкции. И в перспективе атомного оружия Америка вместе со всеми демократиями Запада настаивает на частичном ограничении суверенитета. Однако это частичное ограничение означает отказ от права войны и от свободы вооружений. При современной атомной технике оно, в сущности, означает всеобщее разоружение и создание мировой армии. Лишенное права войны и мира, государство перестает существовать как суверенное. Оно вынуждено отказаться и от внешней политики, которая станет внутренней политикой рождающегося сверхнационального государства.

При неизбежном сопротивлении России этот план является совершенно утопическим. Но попробуйте мысленно устранить Россию, и он завтра же станет реальностью.

Мысленное устранение, конечно, не поможет реализации. Но мы видели, что почти стихийный ход событий (включаящий и сознательную волю правительства России) ведет к войне, которая может реально устранить либо Россию, либо Америку со всеми оставшимися демократиями мира.

Все вероятности говорят в пользу того, что новое мировое государство, или новая универсальная Империя, родится, как и все бывшие Империи, в результате войны, а не мира. Теоретически мыслимо, конечно, образование федерации народов в результате совершенно свободного соглашения равных. Хотя мир никогда не знал такого опыта, но новое, небывалое — как, например, фашизм или коммунистическая революция — рождается на наших глазах. Однако совершенно свободный отказ от суверенитета предполагает слишком высокий уровень политической морали. Об этом позволительно было мечтать в XIX или в начале XX века, когда старая Европа стояла в апогее своей политической цивилизации. Женевская Лига Наций давала ей последний шанс. С тех пор, в результате двух страшных войн, политическая мораль европейских народов пала так низко, как, может быть, никогда за время всей христианской истории. Политическая фразеология находится в кричащем противоречии с политическими реальностями. Для всех практических соображений можно принять, что сейчас народы мира движутся близоруким эгоизмом, ненавистью и, всего больше, страхом. Это значит, что они готовы принять единство, только продиктованное силой, только в форме Империи.

Сила еще не значит завоевание, Империя еще не значит господство. Сейчас история предлагает народам мира два варианта Империи, из которых один является действительно небывалым, хотя и вполне возможным. Эти два варианта соответствуют двум возможным победителям, на долю которых выпадает организовать мир.

Легко себе представить, как будет выглядеть мир в случае победы России. Распространение коммунистической системы по всему земному шару. Истребление высших классов и всех носителей культуры, дышавших воздухом свободы и не желающих от него отказаться. Массовые казни в первые годы, каторжные лагеря на целое поколение. Закрепощение всех профессий на службу всемирному госу-



дарству. Управление им, централизованное в Москве, при фиктивной независимости федеративных наций.

Постепенное (а может быть, и быстрое) заглушение всех высших сфер культуры за счет технического знания. До сих пор краски этой картины взяты из действительного опыта России и Восточной Европы. Идя дальше, можно представить себе, что в обстановке мира и технической цивилизации материальные потребности покоренных народов будут удовлетворены, чего никогда не было достигнуто в СССР. Парии Азии и негры Африки впервые наедятся риса досыта. Вероятно, они будут благословлять свою судьбу. Мировая Империя Москвы будет прочна, как древние тоталитарные Империи — Египта, Китая, Византии. Конечно, удушение свободы поведет к постепенному падению не только духовной культуры, но, в конце концов, и самого технического знания. Конец «прогресса». Медленное понижение уровней. Одряхление, которое может тянуться века, чтобы закончиться новым варварством. В этом прогнозе не предусмотрено одно: способность человеческого духа к творческим взрывам вроде рождения новых религий или реформации старых, которые могут разрушить или преобразовать самые твердые, неподвижные цивилизации.

Менее ясен, но более светел другой вариант Империи: *Rex Atlantica*, или лучше *Rex Americana*. В случае победы Америки, Англии и их союзников единство мира должно отлиться в форме действительной, а не мнимой федерации. Такова сама структура и Соединенных Штатов, и Британского *Commonwealth*. В настоящее время англосаксы и не представляют себе власти, организованной вне самоуправления. Даже молодой империализм Америки, при всей жадности к стратегическим базам, начинает с освоения своих старых колоний. Опасность Атлантического варианта Империи не в злоупотреблении властью, а скорее в бездействии власти. У свободных народов нет вкуса к насилию, и это прекрасно. Но в настоящее время у них нет и вкуса к власти, и это опасно.

В отличие от России, Америка не может не считаться со своими союзниками, из которых Англия, или ведомая ею Федерация доминионов, представляет еще серьезную силу. Самолюбия и эгоизмы европейских народов тоже создают немалые препятствия. Они безропотно покорятся самой

гнуемой из тираний, но будут роптать при легких ограничениях суверенитета. Заставить их войти в мировую Империю, организованную в форме федерации, нелегко. Нужна большая воля и большая гибкость, чтобы добиться повиновения слабых в рамках демократической законности. Юная федерация не может быть федерацией равных по существу, но лишь по форме. Лишь время и общее разоружение сделают излишней гегемонию сильного и возможным уравнивание политического влияния. Если сильный откажется от своей тяжелой ответственности, мир снова развалится, и уже безнадежно.

Но опыт двух войн показал, что англосаксонские демократии, часто пассивные во время мира, находят в себе волю и способность к героическому напряжению в роковой час. Чувство ответственности может заменить для них вкус к власти.

Итак, нет основания бояться порабощения народов в случае победы Америки. Экономические интересы, конечно, потребуют своего удовлетворения. Надо признать, что спасение мира стоит известных материальных жертв в пользу победителя. Да и распространение в Европе опасения американской эксплуатации страшно преувеличены. Пока что Америка бросает миллиарды для восстановления Европы, и не видно, чтобы она получила что-либо взамен.

Атлантическая Империя столь же мало предполагает единство экономической системы, как и единообразие политическое. Социализм и капитализм в разных дозах могут уживаться в общих экономических рамках. Пример социалистической Англии показывает, что в наши дни не экономика соединяет народы или разводит их по разным лагерям. Общие основы англосаксонской цивилизации не изменились с отказом Англии от капиталистической системы. Но, конечно, необходимость регулирования мирового хозяйства в единой Империи чрезвычайно усилит сама по себе социалистические тенденции отдельных стран.

Здесь кончается возможность предвидения. В отличие от четких очертаний коммунистической Империи, общество, построенное на свободе, таит в себе неограниченные возможности. Где свобода, там и возможность конфликтов. Где борьба, там и возможность поражений. Но также и необычайных побед. Мы знаем, что западная цивилизация

тяжко больна; международные столкновения лишь один из симптомов общего недуга. И по устранении их остается возможность социальных потрясений, моральных кризисов, духовных бурь. В конце концов, вопрос о спасении нашей культуры есть вопрос духа. Но если будет устранена угроза войны между народами, если будет достигнуто всеобщее разоружение, человечество получит еще одну отсрочку — как древняя Ниневия в книге пророка Ионы.

Одной из главных проблем грядущей Империи будет установление отношений между членами западной семьи и возрождающимися народами Востока. Но это тема будущего. Сейчас Восток еще слишком слаб технически, чтобы не включиться, охотно и с выигрышем для себя, в новую федеративную Империю. Как удержать его в ней, по достижении им технического совершеннолетия, это проблема наших детей и внуков, которая, конечно, займет когда-то главное поле истории.

*Ceterum censeo*: нельзя забывать о третьей возможности — возможности не победы одной из двух Империй, а всеобщего разрушения и гибели, если столкновение произойдет в условиях приблизительного равенства сил и оружия.

\* \* \*

Остановимся на одном из возможных исходов. Какая судьба ожидает Россию в случае ее поражения? Если бы Россия была национальным государством, как Франция или современная Германия, ответ был бы сравнительно прост и не столь для нее трагичен. Да, она, конечно, прошла бы через ужасы разорения, унижения, голода, через которые сейчас проходит Германия, с той только разницей, что, в отличие от Германии, ей не привыкать стать к голоду и рабству. Для большинства ее населения падение ненавистной власти, даже ценой временной иностранной оккупации, явится освобождением. Ведь американцы не собираются колонизировать Россию; как Гитлер, или истреблять ее «низшие» расы. Но дело осложняется тем, что Россия не национальное государство, а многонациональная Империя; последняя, единственная в мире, остающаяся после ликвидации всех Империй. Было бы чудом, если бы она вышла невредимой из ожидающей ее

катастрофы, в тех географических очертаниях, в которых ее застала революция.

Правда, Россия является Империей своеобразной. По своей национальной и географической структуре он занимает среднее место между Великобританией и Австро-Венгрией. Ее нерусские владения не отделены от нее морями. Они составляют прямое продолжение ее материкового тела, а массив русского населения не отделен резкой чертой от инородческих окраин. Но Дальний Восток или Туркестан, по своему экономическому и даже политическому значению, совершенно соответствуют колониям западных государств. Типологическое, то есть качественное сходство с Австро-Венгрией еще значительнее. Однако процент господствующего великорусского населения в Империи Романовых был гораздо выше немецкого в Империи Габсбургов. Это сообщало России несравненно большую устойчивость. Сходство будет полнее, если вместо Австро-Венгрии последних десятилетий взять Германскую Империю до 1805 года. Русские и немцы играли одну и ту же цивилизаторскую и ассимиляционную роль. Правда, среди подданных Германии были страны древних и богатых культур. Вместо одной Русской Польши, Германия имела три: Польшу, Венгрию и Богемию. Однако с подъемом культуры народностей России и соответствующим ростом их сепаратизмов Россия приближалась к типу Австро-Германии.

Но мы не хотели видеть сложной многоплеменности России. Для большинства из нас перекройка России в СССР, номинальную федерацию народов, казалась опасным маскарадом, за которым скрывалась вся та же русская Россия или даже святая Русь.

Как объяснить нашу иллюзию? Почему русская интеллигенция в XIX веке забыла, что она живет не в Руси, а в Империи? В зените своей экспансии и славы, в век «екатерининских орлов», Россия сознавала свою многоплеменность и гордилась ею. Державин пел «царевну киргиз-кайсацкой орды», а Пушкин, последний певец Империи, предсказывал, что имя его назовет «и ныне дикой тунгуз и друг степей калмык». Кому из поэтов послепушкинской поры пришлось бы в голову вспоминать о тунгузах и калмыках? А державинская лесть казалась просто непонятной — искусственной и фальшивой. Но творцы и поэты Империи

помнили о ее миссии: нести просвещение всем ее народам — универсальное просвещение, сияющее с Запада, хотя и в лучах русского слова.

После Пушкина, рассорившись с царями, русская интеллигенция потеряла вкус к имперским проблемам, к национальным и международным проблемам вообще. Темы политического освобождения и социальной справедливости завладели ею всецело, до умоисступления. С точки зрения гуманитарной и либеральной, осуждались Империя, все Империи, как насилие над народами, но результаты этого насилия принимались как непререкаемые. Более того, XIX век для большинства интеллигенции означал служение национального сознания до пределов Великороссии. Россия была необъятно велика, и мало кто из русских образованных людей изъездил ее из конца в конец; непоседливых манила сказка Запада. Но, и путешествуя по России, русский не выходил из своего привычного уклада: объяснялся везде по-русски, видел везде одну и ту же русскую администрацию и туземцев, побогаче и познатнее, уже входящих в быт, язык и культуру завоевателей. Интеллигенция возмущалась насильственной русификацией или крещением инородцев, но это возмущение относилось к методам, а не к целям. Ассимиляция принималась как неизбежное следствие цивилизации. Еще полвека или век, и вся Россия будет читать Пушкина по-русски (так понимался «Памятник»), и все этнографические пережитки сделаются достоянием музеев и специальных журналов.

Есть еще одна неожиданная сторона русского западничества. Россией вообще интересовались мало, ее имперской историей еще меньше. Так и случилось, что почти все нужные исследования в области национальных и имперских проблем оказались предоставленными историкам националистического направления. Те, конечно, строили тенденциозную схему русской истории, смягчавшую все темные стороны исторической государственности. Эта схема вошла в официальные учебники, презираемые, но поневоле затверженные и не встречавшие корректива. В курсе Ключевского нельзя было найти истории создания и роста Империи.

Так укоренилось в умах не только либеральной, но отчасти и революционной интеллигенции наивное представление о том, что русское государство, в отличие от всех госу-

дарств Запада, строилось не насилием, а мирной экспансией, не завоеванием, а колонизацией. Подобное убеждение свойственно националистам всех народов. Французы с гордостью указывают на то, что генерал Федерб с ротой солдат подарил Франции Западную Африку, а Лиотэ был не столько завоевателем Марокко, сколько великим строителем и организатором. И это правда, то есть одна половина правды. Другая половина, слишком легко бросающаяся в глаза иностранцам, недоступна для националистической дальновзоркости.

Несомненно, что параллельный немецкому русский *Drang nach Osten* оставил меньше кровавых следов на страницах истории. Это зависело от редкой населенности и более низкого культурного уровня восточных финнов и сибирских инородцев сравнительно с западными славянами. И однако — как упорно и жестоко боролись хотя бы вогулы в XV веке с русскими «колонизаторами», а после них казанские инородцы и башкиры. Их восстания мы видим при каждом потрясении русской государственности — в Смутное время, при Петре, при Пугачеве. Но с ними исторические споры покончены. Несмотря на искусственное воскресение восточно-финских народностей, ни Марийская, ни Мордовская республики не угрожают целостности России. Уже с татарами дело сложнее. А что сказать о последних завоеваниях Империи, которые, несомненно, куплены обильной кровью: Кавказе, Туркестане?

Мы любим Кавказ, но смотрим на его покорение сквозь романтические поэмы Пушкина и Лермонтова. Но даже Пушкин обронил жестокое слово о Цицианове, который «губил, ничтожил племена». Мы заучили с детства о мирном присоединении Грузии, но мало кто знает, каким вероломством и каким унижением для Грузии Россия отплатила за ее добровольное присоединение. Мало кто знает и то, что после сдачи Шамиля до полумиллиона черкесов эмигрировало в Турцию. Это все дела недавних дней. Кавказ никогда не был замирен окончательно. То же следует помнить и о Туркестане. Покоренный с чрезвычайной жестокостью, он восставал в годы первой войны, восставал и при большевиках. До революции русское культурное влияние вообще было слабо в Средней Азии. После революции оно было такого рода, что могло сделать русское имя ненавистным.

Наконец, Польша, эта незаживающая (и поныне) рана в теле России. В конце концов вся русская интеллигенция — в том числе и националистическая — примирилась с отделением Польши. Но она никогда не сознавала ни всей глубины исторического греха, совершаемого — целое столетие — над душой польского народа, ни естественности того возмущения, с которым Запад смотрел на русское владычество в Польше. Именно Польше Российская Империя обязана своей славой «тюрьмы народов».

Была ли эта репутация заслуженной? В такой же мере, как и другими европейскими Империями. Ценой эксплуатации и угнетения они несли в дикий или варварский мир семена высшей культуры. Издеваться над этим смеет только тот, кто исключает сам себя из наследия эллинистического мира. Для России вопрос осложняется культурным различием ее западных и восточных окраин. Вдоль западной границы русская администрация имела дело с более цивилизованными народностями, чем господствующая нация. Оттого, при всей мягкости ее режима в Финляндии и Прибалтике, он ощущался как гнет. Русским культуртрегерам здесь нечего было делать. Для Польши Россия была действительно тюрьмой, для евреев гетто. Эти два народа Империя придавила всей своей тяжестью. Но на Востоке, при всей грубости русского управления, культурная миссия России бесспорна. Угнетаемые и разоряемые сибирские инородцы, поскольку они выживали — а они выживали, — вливались в русскую народность, отчасти в русскую интеллигенцию. В странах ислама, привыкших к деспотизму местных эмиров и ханов, русские самодуры и взяточники были не страшны. В России никого не сажали на кол, как сажали в Хиве и Бухаре. В самих приемах русской власти, в ее патриархальном деспотизме, было нечто родственное государственной школе Востока, но смягченное, гуманизированное. И у русских не было того высокомерного сознания высшей расы, которое губило плоды просвещенной и гуманной английской администрации в Индии. Русские не только легко общались, но и сливались кровью со своими подданными, открывая их аристократии доступ к военной и административной карьере. Общий баланс, вероятно, положительный, как и прочих Империй Европы. И если бы мир мог еще существовать как равновесие Импе-

рий, то среди них почетное место занимала бы Империя Российская. Но в мире уже нет места старым Империям.

Национально-романтическое движение докатилось до пределов России с некоторым запозданием. Но сразу оно приняло и политический характер. Быть может, это соответствовало и слабости романтического национализма (славянофильства) в самой Великороссии. Тяготение к западной культуре (через посредство России) долго перевешивало в меньшинственных интеллигенциях их этнографическую связь со своими народами. Но неизбежное наступило. Одним из первых Рунеберг, создатель Калевалы, положил начало финской литературе, создавая новую нацию из того, что было лишь этнографической народностью. Во второй половине столетия возрождаются или просто рождаются на свет эстонская и латышская литература — будущие нации, творимые поэтами. Тогда же происходит новый расцвет древних литератур Кавказа — грузинской и армянской. Одной из первых, в начале XIX века, романтическое веяние коснулось и оживило литературу украинскую. Уже к середине века, в Кирилло-Мефодиевском братстве, украинское движение принимает политический характер.

Пробуждение Украины, а особенно сепаратистский характер украинофильства изумил русскую интеллигенцию и до конца остался ей непонятным: Прежде всего потому, что мы любили Украйну, ее землю, ее народ, ее песни, считали все это своим, родным. Но еще и потому, что мы преступно мало интересовались прошлым Украины за три-четыре столетия, которые создали ее народность и ее культуру, отличную от Великороссии. Мы воображали, по схемам русских националистов, что малороссы, изнывая под польским гнетом, только и ждали, что воссоединиться с Москвой. Но русские в Польско-Литовском государстве, отталкиваясь от католичества, не были чужаками. Они впитали в себя чрезвычайно много элементов польской культуры и государственности. Когда религиозные мотивы склонили казачество к унии с Москвой, здесь ждали его горькие разочарования. Московское вероломство не забыто до сих пор. Ярче всего наше глубокое непонимание украинского прошлого сказывается в оценке Мазепы.

Новый этап в создании украинской нации падает на



вторую половину XIX века. Бессмысленные преследования украинской литературы перенесли центр национального движения из Киева во Львов, в Галицию, которая никогда не была связана ни с Москвой, ни с Петербургом. Это имело двойные последствия. Во-первых, литературный язык вырабатывался на основе галицийского наречия, а не полтавского или киевского, то есть гораздо более далекого от великорусских говоров.

Польский, а не русский язык стал источником новых отвлеченных и научных словообразований. Русский мог без труда понимать Шевченко, но язык Грушевского был ему непонятен, казался искусственным. Как будто не все литературные языки были искусственными при своем создании — русский язык Ломоносова или латинский Энния! Но мы по-прежнему упрямо продолжали считать малороссийский язык лишь областным наречием русского, хотя слависты всего мира, включая Российскую Академию наук, давно признали это наречие за самостоятельный язык. То, что этот язык из языка фольклорной поэзии сделался языком отвлеченной мысли, на котором уже существует большая научная литература, окончательно решает вопрос об украинской нации. Грушевский может быть назван ее создателем.

На наших глазах рождалась на свет новая нация, но мы закрывали на это глаза. Мы были как будто убеждены, что нации существуют извечно и неизменно, как виды природы для доэволюционного естествознания. Мы видели вздорность украинских мифов, которые творили для киевской эпохи особую украинскую нацию, отличную от русской. Но мы забывали, что историческая мифология служила лишь для объяснения настоящей реальности.

Нации не было, но она рождалась — рождалась веками, но в ускоряющемся темпе в наши дни. 1917 год был актом ее официального рождения.

То обстоятельство, что центр движения был в Галиции, обособляло и политически новую нацию от общей судьбы народов России; облегчало для нее переход от федеративной идеологии Костомарова и Драгоманова к идее «самостоятельности».

Было еще одно движение среди народов России, центр которого оказался за рубежом и которое мы совершенно проглядели. Это было пантюркское движение, связывавшее

литературное и политическое пробуждение русских татар с возрождением Молодой Турции.

Русские националисты первые заметили опасность, угрожающую Империи. Они ответили на нее усилением русификации, травлей инородцев, издевательством над украинцами и еврейскими погромами. Они старательно раздували искры сепаратизмов. Два последних императора, ученики и жертвы реакционного славянофильства, игнорируя имперский стиль России, рубили ее под самый корень. Революционная интеллигенция лишь накануне первой революции пошла навстречу национальным движениям меньшинств. Некоторые из левых партий (не большевики) включили в свою программу федеративный строй Российской республики. С этим и застал нас 1917 год.

Трудно возразить что-либо против идеи федерации. Это прекрасная, разумная программа. Для малых народов она обещает и свободу, и преимущества жизни в великом, веками сложившемся организме. Экономические блага имперской кооперации бесспорны, так же как и преимущества военной защиты. Может быть, если бы федеративный строй России осуществился в 1905 году с победой освободительного движения, он продлил бы существование Империи на несколько поколений. Но, к сожалению, народы — по крайней мере в наше время — живут не разумом, а страстями. Они предпочитают резню и голод под собственными флагами.

Как страстно славяне ненавидели «лоскутную» Австро-Венгрию, и как многие теперь жалеют о ее гибели. Старая Австрия давно уже перестала быть Габсбургской деспотией. С 60-х годов она перестраивалась на федеративный лад. Некоторые из ее народов — венгры, поляки — уже чувствовали себя хозяевами на своей земле, для других время полного самоуправления приближалось. Все вообще пользовались той долей политической свободы, какая была немислима в царской России. И, однако, они предали свое отечество в годину смертельной опасности.

В 1917 году демократическая интеллигенция, полгода управлявшая Россией, октроировала федеративное самоуправление некоторым из ее народов. Но в обстановке развала и падения военной мощи России федерация уже не удовлетворяла. А когда в Велikorоссии победил большевизм, от нее побежали, как от чумы. Большевики силой оружия собрали

Империю и террором, как железным обручем, держат уже почти три десятилетия ее распадающийся состав.

Многим казалось, даже среди непримиримых врагов большевизма, что решение национальной проблемы в СССР принадлежит к самым удачным их достижениям. Оно сводится к двум принципам: полная культурная автономия и никакой политической.

Отсутствие политической свободы прикрывалось обильными поблажками национальному тщеславию. Даже имя России было уничтожено. Одиннадцать республик СССР жили «под своими собственными флагами»: по конституции они имели даже право на отделение. В первые годы революции национальные силы всех народов, кроме великорусского, не только освобожденные, но и получившие государственную поддержку, привели к расцвету национальных культур. Значительная часть интеллигенции нашла удовлетворение в культурном народничестве. Конечно, вся власть принадлежала коммунистической партии, а партия управлялась из Москвы.

Этот расцвет продолжался недолго. Большевизм был системой не только политической, но и прежде всего идеологической. Национальный романтизм, неизбежно принимавший идеалистическую окраску, был ему ненавистен. На десятках языков Союза должны были печататься и читаться только полные собрания сочинений Маркса и Ленина. Это было достигнуто, с прибавлением од Сталину. Для этого понадобилось задуть национальные литературы (особенно украинскую и тюркскую) с истреблением значительной части их интеллигенции. С тех пор национальные движения были загнаны в подполье. — Но это значит, что опять, как в царские времена, на окраинах скопляются центробежные силы, готовые взорвать мнимофедеративную Империю. И чем более они сдавлены прессом НКВД, тем эффективнее должен быть их взрыв после освобождения.

Большевистский режим ненавистен и огромному большинству великороссов. Но общая ненависть не спаивает воедино народов России. Для всех меньшинств отвращение от большевизма сопровождается отталкиванием от России, его породившей. Великорусс не может этого понять. Он мыслит: мы все ответственные, в равной мере, за большевизм, мы пожинаем плоды общих ошибок. Но хотя и верно, что больше-

вистская партия вобрала в себя революционно-разбойничьи элементы всех народов России, но не всех одинаково. Русскими преимущественно были идеологи и создатели партии. Большевизм без труда утвердился в Петербурге и в Москве, Великороссия почти не знала гражданской войны; окраины оказали ему отчаянное сопротивление. Вероятно, было нечто в традициях Великороссии, что питало большевизм в большей мере, чем остальная почва Империи: крепостное право, деревенская община, самодержавие. Украинец или грузин готовы преувеличивать национально-русские черты большевизма и обелять себя от всякого сообщничества. Но их иллюзии естественны.

Железный занавес тоталитарной лжи мешает нам видеть ясно, что происходит за пределами общеизвестного застенка. Но есть три факта, которые заставляют предполагать рост сепаратизмов в СССР. Во-первых, по свидетельству беглецов, «националы» составляют заметный процент населения концлагерей. Их присутствие там не уравновешивается представительством политических течений или партий Великороссии, ибо таковых не существует. В бесформенной оппозиционной массе, смешанной с уголовными, выделяются, хотя бы с ярлыком шпионов, только представители малых народов России.

Во-вторых, после второй войны правительство уничтожило пять республик (или областей) за сотрудничество с немцами. Республики невелики, но показательны; до других ведь и не дотянулась германская оккупация. Украины уничтожить было нельзя без всесоюзного позора, но, кажется, и она заслуживала той же участи. Мы знаем об украинских воинских частях, сражавшихся вместе с немцами, об украинской Церкви, об эмбрионе украинского правительства. Пораженчество, конечно, захватило и Великороссию, но на Украине оно сказалось много ярче.

И, наконец, мы видим то, что происходит в эмиграции, среди нас. Можно утверждать, что зарубежные настроения не вполне соответствуют внутрисоветским: преувеличения революционеров неизбежны. Но нельзя думать, что они совершенно оторваны от советской действительности; по крайней мере для нас, великороссов, война и новая эмиграция принесли скорее подтверждение наших оценок. И вот, среди всех групп русской эмиграции представители других националь-

ностей России блистают своим отсутствием. Они строят свои собственные организации, даже не пытаясь установить какие-либо связи с русскими товарищами по борьбе или братьями по судьбе. Более того, ни с чьей стороны мы не встречаем такой ненависти, как со стороны украинцев, которых мы-то считали — ошибочно — совсем своими. Как далеки мы от времен старой эмиграции, когда, в чаянии грядущей революции, вожди всех народов России объединялись в борьбе «за нашу и вашу свободу»!

Нетрудно предвидеть, что, в случае военного поражения России, произойдет не только падение советского режима, но и восстание ее народов против Москвы. Даже те экономические и политические мотивы, которые могли бы говорить в пользу их связей с Великороссией, превращаются в свою противоположность в условиях поражения. Быть с Россией значит разделить ее ответственность, ее тяжкую судьбу. С другой стороны, перед победителем встанет вопрос, подобный тому, который стоит после поражения Германии. Как обеспечить мир и в будущем от висящей над ним угрозы русской агрессии? Большевизм умрет, как умер национал-социализм. Но кто знает, какие новые формы примет русский фашизм или национализм для новой русской экспансии? Если бы не было никаких сепаратизмов в России, их создали бы искусственно; раздел России все равно был бы предрешен. Фактическое положение делает возможным произвести его в согласии с волей большинства ее народов, в условиях демократической справедливости. На плечи победителей, ко всем их мировым проблемам, ляжет добавочная тяжесть: организация хаоса на территории Восточной Европы. Мировая Империя — нелегкое предприятие. Но военная оккупация облегчит первые шаги.

Перспективы войны и поражения России способны потрясти не одних националистов, но и всякого русского, не совсем потерявшего связь со своим народом и его культурой. Теоретически есть еще шанс — кажется, единственный шанс — предотвращения новой войны: это падение большевистской власти в России. От скольких ужасов оно избавило бы мир! Не будем говорить сейчас, возможно ли оно, — нам представляется, что шансы его ничтожны. Но в судьбе России как обреченной Империи этот вариант ничего не

меняет. Снятие страшной тяжести, висевшей над народами России тридцать лет, означает взрыв всех подспудных, революционных и центробежных сил. Пока русский народ будет сводить счеты со своими палачами, в общем неизбежном хаосе большинство национальностей, как в 1917 году, потребуют реализации своего конституционного права на отделение. Вероятно, произойдет гражданская война приблизительно равных половин бывшей России. Если даже победит Великороссия и силой удержит при себе народы Империи, ее торжество может быть только временным. В современном мире нет места Австро-Венгриям. Если миром будет править единая власть — единственный шанс его спасения, — она будет обязана прекратить всякое насилие одних народов над другими. Ликвидация последней частной Империи станет вопросом международного права и справедливости.

Для самой России насильственное продолжение имперского бытия означало бы потерю надежды на ее собственную свободу. Не может государство, существующее террором на половине своей территории, обеспечить свободу для другой. Как при московских царях самодержавие было ценой, уплаченной за экспансию, так фашизм является единственным строем, способным продлить существование каторжной Империи. Конечно, ценой дальнейшего ухудшения ее культуры.

\* \* \*

*Finis Russiae?* Конец России или новая страница ее истории? Разумеется, последнее. Россия не умрет, пока жив русский народ, пока он живет на своей земле, говорит своим языком. Великороссия, да еще с придачей Белоруссии (вероятно) и Сибири (еще надолго), все еще представляет огромное тело, с огромным населением, все еще самый крупный из европейских народов. Россия теряет донецкий уголь, бакинскую нефть — но Франция, Германия и столько народов никогда нефти не имели. Она обеднеет, но только потенциально, потому что та нищета, в которой она живет при коммунистической системе, уйдет в прошлое. Ее военный потенциал сократится, но он потеряет свой смысл при общем разоружении. Если же разоружения не

произойдет, то погибнет не одна Россия, а все культурное человечество. Даже чувство сожаления от утраты былого могущества будет смягчено тем, что никто из бывших соперников в старой Европе не займет ее места. Все старые Империи исчезнут.

В конце концов, имперское сознание питалось не столько интересами государства — тем менее народа, — сколько похотью власти: пафосом неравенства, радостью унижения, насилия над слабыми. Этот языческий комплекс для России XIX века означал кричащее противоречие между политической государственности и заветами ее духовных вождей. Русская литература была совестью мира, а государство пугалом для свободы народов. Потеря Империи есть нравственное очищение, освобождение русской культуры от страшного бремени, искажающего ее духовный облик.

Освобожденная от военных и полицейских забот, Россия может вернуться к своим внутренним проблемам — к построению выстраданной, страшными муками свободной социальной демократии. Но после тридцатилетия коммунизма русский человек огрубел, очерствел — говоря словами народного стиха, покрылся «еловой корой». Вероятно, не одно поколение понадобится для его перевоспитания, то есть для его возвращения в загложшую традицию русской культуры, а через нее — и русского христианства. К этой виликой задаче должна уже сейчас, в изгнании, готовиться русская интеллигенция вместо погони за призрачными орлами Империи.

## О ГУМАНИЗМЕ ПУШКИНА

Пушкин! Тайную свободу  
Пели мы вослед тебе.  
Дай нам руку в непогоду,  
Помоги в немой борьбе!  
*А. Блок (1921)*

**Н**е всем и не во всем может помочь Пушкин. Блоку, пожалуй, он уже не мог помочь, как и большинству модернистов нашего фашистского и предфашистского времени. Им нужны иные, более могущественные средства, чтобы спасти их от разложения. Но я принадлежу к тому поколению, или душевной формации, для которых Пушкин еще не утратил своей целительной и возрождающей силы. В часы тоски и отчаяния, сомнений в человеке и человечестве мы раскрываем Пушкина, все равно на какой странице, и медленно пьем — как назвать этот напиток? — не воду, конечно, но и не вино, — а какой-то божественный нектар, который вливает успокоение, надежду и любовь к человеку. Словом, Пушкин для нас это то, чем был для Тургенева русский язык, уже не целительный для нас с тех пор, как мы узнали всю ту меру или безмерность лжи, какую он способен нести в мир. Но Пушкин жив, и пока он жив, еще не умер гуманизм, ибо Пушкин и есть наш великий гуманист, в каком-то смысле, может быть, даже единственный.

В последнее время — вероятно, с легкой руки Горького, а может быть, и под влиянием русского народничества — слово «гуманизм» у нас утратило свой настоящий смысл и стало употребляться как синоним гуманности. В этом понимании гуманистами оказываются и Некрасов, и Глеб Успенский, то есть люди, гуманизму совершенно чуждые и даже враждебные. Слово «гуманизм» родилось в Италии в XV столетии и всегда употреблялось для обозначения культуры Ренессанса, или всей, или одного из ее аспектов, преимущественно литературного. Но что может быть более чуждого гуманности, чем великолепный и жестокий век Леонардо да Винчи или Борджиа? Без всяких объяснений



и доказательств предлагаем такое краткое определение: гуманизм есть культура человека как творческой личности. Это покрывает все — от Петрарки до Бердяева. Но человек как страдающее существо, нуждающееся в спасении, каким он дан в христианстве и в старом социализме, не человек, «преследующий свое счастье», каким его видит буржуа, а человек, создающий ценности, — вот человек гуманизма.

В России струя гуманизма всегда была чрезвычайно слабой. Рядом с Пушкиным, но, конечно, на большой дистанции, можно назвать разве одно большое имя — Вячеслава Иванова. Не случайна и связь обоих с классической древностью: едва ли возможен гуманизм вне предания Греции. Но если бы даже мы имели одного Пушкина, мы не смеем роптать: живет же англосаксонский мир с одним Шекспиром!

Приглядитесь пристальнее к гуманизму Пушкина: из каких элементов составлен его драгоценный сплав?

Несколько лет тому назад, когда мне пришлось писать о Пушкине, я напал на одно стихотворение, где поэт сам дает совершенно точное определение своего мирозерцания. Это всем известный «Демон» («В те дни, когда мне были новы...»).

Когда возвышенные чувства,  
Свобода, слава и любовь  
И вдохновенные искусства  
Так сильно волновали кровь...

Демон (Раевский?), который искушал его тогда, отрицательно утверждал ту же систему ценностей.

Он звал прекрасное мечтою;  
Он вдохновенные презирал;  
Не верил он любви, свободе...

Формула Пушкина четырехчленна: слава, свобода, искусство и любовь. Демон отрицает три из них. Понятно, что он не отказывается от славы. Гордость и похоть власти составляют самую основу демонизма. Слава — это единственное, что и фашизм оставляет от гуманизма и что дало Муссолини ложную претензию считать себя преемником Ренессанса. Для Пушкина характерно то, что он в своей ясной цельности не желает ничего уступить демону. Отрицать гуманизм для него значит «искушать Провидение». Иначе Лермонтов. Его демон говорит о себе, вслед за Байроном: «Я дух познания и свобо-

ды», и этим начинается роковой раскол в мире ценностей, взорвавший русскую культуру.

Четырехчленная формула пушкинского гуманизма может показаться искусственной. Я предлагаю читателям проверить ее на любом из созданий Пушкина, — предварительно дочитав до конца эту статью.

Какое место занимал Пушкин в истории гуманизма вообще? Итальянский Ренессанс выше всего поставил славу и творчество. Любовь досталась ему по наследству от средневековья: Петрарка связан с Данте и трубадурами Прованса, которые изобрели любовь. О свободе мало помышляли гуманисты, скитавшиеся по дворам тиранов. Свобода, столь обаятельная для Пушкина и его современников, есть дитя XVIII века, как французской, революционной, так и германской, гуманистической, его традиции. В послепушкинской России Лермонтов и Гоголь отказались от славы и этим нанесли Империи первую смертельную рану. Радикализм 60-х годов пытался убить всех четырех пушкинских богинь, как и самого Пушкина. Не без труда они воскресали одни за другой, в борьбе и примирении с ценностями других, негуманистических порядков, пока, наконец большевизм не покончил со всеми... кроме славы. Верный своей фашистской природе, он возродил лишь культ Империи и войны (Суворов, Кутузов и проч.).

Но вернемся к Пушкину. Действительно ли служением четверем богиням — Славе, Свободе, Музе и Любви — исчерпывается его отношение к миру и жизни? Конечно, нет. Ведь их мы находим и на Западе, во французском романтизме, например, но в совершенно иной тональности. Само по себе они совместимы с горделивой отъединенностью творческой личности (Байрон), с олимпийским презрением к жизни простых людей (Гете), даже с острой ненавистью к их быту и судьбе (Ничше, Блок). У Пушкина мы дышим особенным, ему свойственным, воздухом великодушной человечности, которая близка уже к гуманности XIX века, хотя и не совпадает с ней. Ведь написал же Пушкин о своем «Памятнике», то есть на своем памятнике:

Что чувства добрые я лирой пробуждал...  
И милость к падшим призывал.

Добрые чувства (то есть этика человечности) и милость к падшим не были главным для поэта. Почти никогда они

не были и темой или содержанием его поэзии. Упоминает он о них в «Памятнике», только становясь на точку зрения «народа», который будет его читать. Но они были тем незримым этическим фоном (а у всякого искусства есть свой этический фон), на котором легко и непринужденно возникали создания его музыки.

Милость к падшим, то есть сострадание у Пушкина всегда соединялось с сорадованием, как соединялись они еще у апостола Павла, но очень часто разлучались в поздней христианской традиции. Сорадование, пожалуй, было ближе сердцу Пушкина, чем его печальная сестра, — темы пиров, дружбы, лицейских годовщин. Но в «Повестях Белкина», «Капитанской дочке» находим то внимание, то участие к судьбе маленького оскорбленного человека, которым будет потом жить чуть не вся русская литература XIX века. Пушкин не проливает слез, не пронзается до глубины зрением человеческих страданий, как Достоевский или Некрасов. Страдания не омрачают для него основной благодати и красоты мира, но он не закрывает на них глаз и подходит к ним со вздохом дружеского участия. Невозможно представить себе лицо Пушкина искаженным презрением и ненавистью к человеческому роду, каким больны почти все писатели нашего времени. Читая их, слишком часто чувствуешь, что автор хочет плюнуть вам в лицо. Пушкин если и ненавидел, то одних подлецов. И сама ненависть его легка: он не мечтает об убийстве, с него достаточно и эпиграммы.

От острой, жгучей ненависти своих западных современников (якобинцев, Байрона) Пушкин рано вернулся к тому своему, у нас неповторенному, гуманизму, который позволительно назвать христианским. В этом и заключается, в сущности, простая разгадка его тайны. В последние десятилетия у нас грешили против Пушкина, пытались объяснить его «тайну». Многие авторы хотели сделать из него глубокого христианина, иные — даже мистика. Пушкин, как поэт — эхо, откликался на все; не мог пройти равнодушно мимо образа Мадонны или даже литургической поэзии Церкви. Но, увлекаясь его немногочисленными библейскими поэмами, не забудем, что он перелагал и Коран. Читая его «Монастырь на Казбеке», не будем думать, что вчерашний вольтерьянец серьезно собирается окончить

свою жизнь в монастыре. Но что он глубже, чем Гете или даже Шекспир, способен чувствовать раскаяние, это бесспорно («Когда для смертного...»). Что он дышал более чистым и крепким христианским воздухом, чем его западные собратья, не пережившие «обращения», это тоже не подлежит сомнению.

Эти христианские влияния, умеряющие его гуманизм, Пушкин почерпнул не из опустошенного родительского дома, не из окружающей его вольтерьянской среды, но из глубины того русского народа (начиная с няни), общения с которым он жаждал и путь к которому сумел проложить еще в Михайловском. Невзирая на холод целого века Просвещения, подпочва русской жизни была и долго еще оставалась религиозно-горячей, и этого подземного тепла было достаточно, чтобы преобразить гуманизм Пушкина. В своем сознательном мире Пушкин всегда был западником, или, по Достоевскому, всечеловеком. В подсознании он воспринял от своего народа больше, чем кто-либо из его современников. Только это и позволило ему стать великим национальным поэтом не Московии, не Руси, но России.

## ПРИМЕЧАНИЯ

(г.2)

*Россия, Европа и мы.* Печатается по: Федотов Г. П. Россия, Европа и мы. Сб. ст. (1930—1932). Париж, YMCA-PRESS, 1973. С. 231—245. Впервые: Новый Град. Париж, 1932. № 2. С. 3—14.

*Правда побежденных.* Печатается по: Современные записки. Париж, 1933. № 51. С. 360—385 (первая публикация).

*О национальном покаянии.* Печатается по: Федотов Г. П. Тяжба о России. Сб. ст. (1933—1936). Париж, YMCA-PRESS, 1982. С. 85—96. Впервые: Новый Град. Париж, 1933. № 6. С. 3—11.

*Новый идол.* Печатается по: Современные записки. Париж, 1935. № 57. С. 397—411 (первая публикация).

*Мать-земля (К религиозной космологии русского народа).* Печатается по: Федотов Г. П. Тяжба о России. Сб. ст. (1933—1936). Париж, YMCA-PRESS, 1982. С. 219—240. Впервые: Путь. Париж, 1935. № 46. С. 3—18. Переведено: Mutter Erde: Zur religiösen Kosmologie des russischen Volkes//Orient und Occident. Bern — Leipzig, 1937. Hft. 3. S. 1—15.

*Сталинокрапия.* Печатается по: Современные записки. Париж, 1936. № 60. С. 374—387 (первая публикация). Переведено: La Stalinoκραtie//Esprit. Paris, 1937. № 56. P. 227—243.

*Культурные сдвиги.* Печатается по: Современные записки. Париж, 1936. № 60. С. 434—438 (первая публикация).

*Тяжба о России.* Печатается по: Современные записки. Париж, 1936. № 62. С. 358—375 (первая публикация).

*Защита России.* Печатается по: Федотов Г. П. Защита России. Сб. ст. (1936—1940). Париж, YMCA-PRESS, 1988. С. 11—15. Впервые: Новая Россия. Париж, 1936. № 4. С. 8—9.

*О чем должен помнить возвращенец?* Печатается по: Федотов Г. П. Защита России. Сб. ст. (1936—1940). Париж, YMCA-PRESS, 1988. С. 16—19. Впервые: Новая Россия. Париж, 1936. № 5. С. 8—10.

*Пушкин и освобождение России.* Печатается по: Федотов Г. П. Защита России. Сб. ст. (1936—1940). Париж, YMCA-PRESS, 1988. С. 85—89. Впервые: Новая Россия. Париж, 1937. № 21. С. 7—9.

*Февраль и Октябрь.* Печатается по: Федотов Г. П. Защита России. Сб. ст. (1936—1940). Париж, YMCA-PRESS, 1988. С. 96—1007. Впервые: Новая Россия. Париж, 1937. № 23. С. 4—5.

*Тяга в Россию.* Печатается по: Федотов Г. П. Защита России. Сб. ст. (1936—1940). Париж, YMCA-PRESS, 1988. С. 154—158. Впервые: Новая Россия. Париж, 1937. № 36. С. 8—9.

*Певец Империи и свободы.* Печатается по: Современные записки. Париж, 1937. № 63. С. 178—197 (первая публикация).

*Письма о русской культуре: 1. Русский человек.* Печатается по: Русские записки. Париж, 1938. № 3. С. 139—260 (первая публикация).

*Завтрашний день. (Письма о русской культуре.)* Печатается по: Современные записки. Париж, 1938. № 66. С. 353—369 (первая публикация).

*Создание элиты. (Письма о русской культуре.)* Печатается по: Современные записки. Париж, 1939. № 68. С. 388—407 (первая публикация).

*Федерация и Россия.* Печатается по: Федотов Г. П. Защита России. Сб. ст. (1936—1940). Париж, YMCA-PRESS, 1988. С. 281—287. Впервые: Новая Россия. Париж, 1940. № 76—77. С. 25—26.

*Новое отечество.* Печатается по: Федотов Г. П. Новый Град. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952. С. 88—112. Впервые: Новый журнал. Нью-Йорк, 1943. № 4. С. 182—200.

*Рождение свободы.* Печатается по: Федотов Г. П. Новый град. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952. С. 112—139. Впервые: Новый журнал. Нью-Йорк, 1944. № 8. С. 198—218.

*Россия и свобода.* Печатается по: Федотов Г. П. Новый град. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952. С. 139—171. Впервые: Новый журнал. Нью-Йорк, 1945. № 10. С. 189—213.

*Судьба империй.* Печатается по: Федотов Г. П. Новый град. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952. С. 172—199. Впервые: Новый журнал. Нью-Йорк, 1947. № 16. С. 149—169.

*О гуманизме Пушкина.* Печатается по: Федотов Г. П. Новый град. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952. С. 268—273. Впервые: Новое русское слово. Нью-Йорк, 1949. 8 мая.

## ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ Г. П. ФЕДОТОВА

- 1886 г. 1-го октября (по старому стилю) родился в Саратове, в семье управляющего канцелярией губернатора Петра Ивановича Федотова и дочери вольного полицмейстера Елизаветы Андреевны Ивановой.
- 1888 г. Переезд семьи в Воронеж.
- 1897 г. Смерть отца.
- 1904 г. Окончание классической гимназии в Воронеже и переезд с матерью в Саратов, в семью дедушки Андрея Моисеевича Иванова.
- 1904 г. Поступление в Технологический институт и переезд в Петербург.
- Знакомство с Татьяной Юлиановной Дмитриевой.
- 1905 г. Прекращение занятий в институте в связи с революционными событиями и возвращение в Саратов. Участие в социал-демократическом движении в Саратове. Арест и ссылка за границу.
- 1906 г. Прибывает в Берлин. Решает посвятить себя изучению истории. Занятия во втором полугодии в Берлинском университете. Посещает нелегальные социал-демократические собрания. Арестован и выслан из Пруссии.
- Занимается историей в Йенском университете. Встречается с антропософкой Ольгой Николаевной Анненковой. Отход от материалистического мирозерцания.
- 1907—1908 гг. Осень. Окончание высылки и возвращение в Петербург.
- 1908 г. Поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета. Занимается в семинарах И. М. Гревса. Сближение с С. И. Штейном и знакомство с семьей его отца М. В. Гессена.
- 1910 г. Лето. Выезжает на каникулы в Саратов. Подвергается обыскам и находится под наблюдением. Уезжает из Саратова и эмигрирует по паспорту С. А. Зенкевича в Италию. Пытается искать работу домашнего учителя в семьях богатых русских. Возвращается в Петербург. Живет по паспорту С. А. Зенкевича. Начинает готовиться к государственным экзаменам. Уничтожает фальшивый паспорт и добровольно является властям с повинной. Высылка на один год из Петербурга с правом выбора города для проживания. Выезжает в Ригу. Готовится к магистерским экзаменам и защите кандидатской работы. Возвращается в Петербург и сдает экзамены.
- 1914 г. Осень. Получает приват-доцентуру по кафедре средних веков Петербургского университета. Одновременно сотрудничает до 1919 года в отделе искусств Публичной библиотеки. Знакомится с А. В. Карташевым и А. А. Мейером. Готовит материалы к неосуществленной магистерской диссертации «Святые епископы меровингской эпохи». Мечтает о заграничной командировке.
- 1917— С осени 1917 года активно участвует в работе религиозно-философского кружка А. А. Мейера. В 1918 г. становится инициатором и редактором журнала «Свободные голоса».
- 1919 г. Вступает в брак с Еленой Николаевной Нечаевой.
- 1920 г. Болеет тифом. Получает отпуск и уезжает в Саратов. Пред-

- ложение занять кафедру истории средних веков в Саратовском университете.
- 1920—  
1922 гг. Профессор по кафедре истории средних веков в Саратовском университете. Знакомство с В. Э. Сеземаном и С. Л. Франком. Осознает невозможность бескомпромиссного преподавания при советской власти. Решает оставить преподавание.
- 1923 г. Переезжает в Петроград. Занимается переводами романов с французского и немецкого языка в частных издательствах. Возвращается в кружок А. А. Мейера.
- 1923—  
1924 гг. По совету С. С. Безобразова обращается к протоиерею Тимофею Налимову за духовной помощью. Причащается у протоиерея Леонида Богоявленского. Окончательное возвращение к православию и воцерковление.
- 1925 г. Публикация монографии «Абеляр».
- 1925 г. Сентябрь. Получает при помощи друга И. М. Гревса профессора Ф. Лота французскую визу и покидает Россию. Прибывает в Берлин. Около месяца занимается в библиотеках Берлина. Переезжает в Париж.
- 1926 г. Знакомится в доме В. Э. Сеземана с «евразийцами». Печатают первые публицистические статьи в евразийском журнале «Версты».
- 1926—  
1940 гг. Парижский период жизни и творчества. Сотрудничество в русских эмигрантских журналах «Версты», «Современные записки», «Путь», «Живое предание», «Числа», «Круг» и других, а также в иностранных периодических изданиях. Дружба с Н. А. Бердяевым.
- 1927 г. Преподает историю Западной церкви, латинский язык и агнологию в Богословском институте.
- 1927 г. Лето. Присутствует впервые на съезде Русского студенческого христианского движения в Клермоне и становится активным участником движения до середины 30-х годов. Знакомится с Е. Ю. Скобцовой (матерью Марией) и И. И. Фондаминским.
- 1928 г. Монография «Св. Филипп, митрополит московский».
- 1931 г. Книга «Святые древней Руси». Совместно с И. И. Бунаковым-Фондаминским и Ф. А. Степуном основывает журнал «Новый Град».
- 1932 г. Книга «И есть, и будет. Размышления о России и революции».
- 1933 г. Брошюра «Социальное значение христианства».
- 1935 г. Книга «Стихи духовные (Русская народная вера)». С третьего ежегодного съезда по сближению православной и английской епископальной церковью участвует в экуменическом движении.
- 1936 г. В двухнедельнике Керенского «Новая Россия» публикует статью «Passionaria» о событиях в Испании, которая вызвала негодования правой эмиграции и возмущение митрополита Евлогия.
- 1937 г. Участие совместно с И. И. Бунаковым-Фондаминским и матерью Марией в движении и журнале «Православное дело».
- 1939 г. Публикация в «Новой России» статьи «Торопитесь» о политике Москвы в испанской войне. Правление Богословского института выносит порицание за позицию, занятую в этой статье.
- 1940 г. Подает прошение об отставке. Покидает оккупированный немцами Париж и уезжает на юг Франции. Арестован за нелегальный переход демаркационной линии.



- 1941 г. При содействии Американского еврейского комитета и американского Красного Креста 15 января отправляется из Марселя на французском пароходе «Альсини». 12 сентября 1941 года прибывает в Нью-Йорк.
- 1941— Живет в Нью-Хевене. Работает при Йельском университете, пользуясь стипендией Бахметьевского фонда.
- 1942 г. Сотрудничает в «Новом журнале».
- 1942—
- 1951 г. Сотрудничает в эсеровском журнале «За свободу».
- 1943—
- 1947 г. Преподает историю в Свято-Владимирской православной семинарии в Нью-Йорке. Читает публичные лекции при Обществе друзей Богословского института в Париже. Сближается с профессором М. М. Карповичем.
- 1943—
- 1946 г. Книга «The Russian Religions Mind».
- 1948 г. Составление и публикация «Treasury of Russian Spirituality». Начало болезни.
- 1950 г. Январь. Первый сердечный приступ.
- 1951 г. 1 сентября после двухнедельного пребывания в госпитале скончался в городе Бэкон, штат Нью-Джерси.

БИБЛИОГРАФИЯ ТРУДОВ  
Г. П. ФЕДОТОВА

I. НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

1911—1925

(Россия)

1. Письма бл. Августина. (Classis prima)//Сборник статей к 25-летию учено-педагогической деятельности И. М. Гревса. СПб., 1911. С. 107—138.
2. С.-Петербург, 22 апреля — 5 мая 1918//Свободные голоса. СПб., 1918. № 1. С. 1—4.
3. Лицо России//Свободные голоса. СПб., 1918. № 1. С. 11—19.
4. Мысли по поводу Брестского мира//Свободные голоса. СПб., 1918. № 1. С. 23—26.
5. Боги подземелья. (О культе гробниц в меровингской Галлии)//Россия и Запад /Исторические сборники под ред. Заозерского. Пб., 1923. № 1. С. 11—39.
6. К истории средневековых культов. (Статья о книге О. Е. Добиаш-Рождественской: «Культ Архангела Михаила в латинском средневековье»)//Анналы. Пб.—М., 1923. № 2. С. 273—278.
7. Рец.: Historische Zeitschrift. Bd. 128. Hft. 1—3, 1923//Анналы. Л.—М., 1924. № 4. С. 320—321.
8. Абеляр. Петербург: Брокгауз — Ефрон, 1924. — 158 с.
9. Чудо освобождения//Сборник статей в честь Н. И. Кареева. Л., 1925. С. 72—89.
10. Феодальный быт в хронике Ламберта Ардского//Средневековый быт. Сборник статей, посвящаемых И. М. Гревсу. Учителю ученики. Л., 1925. С. 7—49.

1926—1940

(Франция)

11. О русской церкви. (Письмо из России)//Путь. Париж, 1926. № 2. С. 3—12.
12. Об антихристовом добре//Путь. Париж, 1926. № 5. С. 55—66.
13. Три столицы//Версты. Париж, 1926. № 1. С. 147—163. (Под псевдонимом Е. Богданов).
14. Трагедия интеллигенции//Версты. Париж, 1926, № 2. С. 145—184. (Под псевдонимом Е. Богданов).
15. О стиле в проповеди//Вестник РСХД. Париж, 1926. № 2, С. 7—8.
16. На поле Куликовом//Современные записки. Париж, 1927. № 32. С. 418—435.
17. Рец.: Е. Скобцова. Жатва духа. Вып. 1—2//Современные записки, Париж, 1927. № 35. С. 554—555.
18. Религиозный путь Пегги. Рец.: Jerome et Jean Tharaud. Notre cher Reguy//Путь. Париж, 1927. № 6. С. 126—129.
19. Зарубежная церковная смута//Путь. Париж, 1927. № 7. С. 119—120.
20. Рец.: Jrenikov//Путь. Париж, 1927. № 7. С. 124—126.

21. Св. Геновьера и Симеон Столпник//Путь. Париж, 1927. № 8. С. 58—72.
22. Предисловие к переводу Джемса Джойса «Дублинцы». Л., 1927, С. 5—8.
23. Святой Филипп, митрополит Московский. Париж: YMCA-PRESS, 1928. 227 с.
24. Carmen Saeculare//Путь. Париж, 1928. № 12. С. 101—115.
25. Святой Мартин Турский — подвижник аскезы//Православная мысль. Париж, 1928. № 1. С. 157—175.
26. Рец.: Н. Delehaeye. Les passions des martyrs et les genres litteraires//Православная мысль. Париж, 1928. № 1. С. 223—225.
27. Рец.: Н. А. Клепинин. Святой и благоверный великий князь Александр Невский//Современные записки. Париж, 1928. № 36. С. 546—549.
28. Изучение России//Вестник РСХД. Париж, 1928. № 2. С. 29—32.
29. Национальное и вселенское//Вестник РСХД. Париж, 1928. № 6. С. 1—5.
30. Третий Клермон//Вестник РСХД. Париж, 1928. № 9. С. 25—28.
31. Революция идет//Современные записки. Париж, 1929. № 39. С. 306—359.
32. Хай-Ли. (Англо-русский съезд молодежи)//Путь. Париж, 1929. № 19. С. 104—108.
33. Будет ли существовать Россия?//Вестник РСХД. Париж, 1929. № 1—2. С. 13—21.
34. Англо-русская конференция в Хай-Ли//Вестник РСХД. Париж, 1929. № 5. С. 18—20.
35. Рец.: В. Розанов. Опавшие листья//Числа. Париж, 1930. № 1. С. 222—224.
36. О Виргиллии//Числа. Париж, 1930, № 2—3. С. 177—182.
37. Рец.: Л. Шестов. На весах Иова//Числа. Париж, 1930. № 2—3. С. 259—263.
38. Ответ на анкету о литературе//Числа. Париж, 1930. № 2—3, С. 320.
39. О смерти, культуре и Числах//Числа. Париж, 1930—1931. № 4. С. 143—148.
40. Православный нигилизм или православная культура?//Вестник РСХД. Париж, 1930. № 2. С. 14—16.
41. Памяти Г. Н. Трубецкого//Вестник РСХД. Париж, 1930. № 2. С. 5—6.
42. К вопросу о положении русской церкви//Вестник РСХД. Париж, 1930. № 10. С. 13—17; № 11. С. 10—14.
43. Житие и терпение Св. Авраама Смоленского//Православная мысль. Париж, 1930. № 2. С. 127—147.
44. Новая Россия//Современные записки. Париж, 1930. № 41. С. 276—311.
45. Рец.: Борис Зайцев. Афон//Современные записки. Париж, 1930, № 41. С. 537—540.
46. Святые древней Руси. (X—XVIII ст.). Париж: YMCA-PRESS, 1931. — 261 с.
47. Проблемы будущей России//Современные записки. Париж, 1931. № 43. С. 406—437.
48. Проблемы будущей России//Современные записки. Париж, 1931. № 45. С. 475—490.
49. Проблемы будущей России//Современные записки. Париж, 1931. № 46. С. 378—395.
50. Социальный вопрос и свобода//Современные записки. Париж, 1931. № 47. С. 421—438.
51. Трагедия древнерусской святости. (Актонская речь 9 ноября 1930 в

- Православном Богословском Институте)//Путь. Париж, 1931. № 27. С. 43—70.
52. Неудачная защита. (Ответ М. Курдюмову)//Путь. Париж, 1931. № 29. С. 68—79.
53. Русская церковь или духовное сословие?//Вестник РСХД. Париж, 1931. № 2. С. 19—24.
54. Новый Град. (От редакции)//Новый Град. Париж, 1931. № 1. С. 3—7.
55. Сумерки отечества//Новый Град. Париж, 1931. № 1. С. 21—30.
56. *Quadragesimo anno*//Новый Град. Париж, 1931. № 1. С. 78—81.
57. Рец.: 1) Путь. № 28—29. 2) A. Bremond. Une explication du monde ouvrier; P. Lhande. a) *Le Christ dans la banlieue*, b) *Le Dieu qui bouge*; Garric. Belleville. 3) J. Maxence et N. Gorodetzky. *Charles Peguy*. 4) Valery. *Regard sur le monde actuel*//Новый Град. Париж, 1931. № 1. С. 96—100.
58. И есть, и будет. (Размышления о России и революции). Париж: YMCA-PRESS, 1932.—216 с.
59. Рец.: А. Кизеветтер. Исторические силуэты//Современные записки. Париж, 1932. № 48. С. 496—497.
60. Россия Ключевского//Современные записки. Париж, 1932. № 50. С. 340—362.
61. Христианство перед современной социальной действительностью. (Речь в открытом собрании Религиозно-философской Академии в Париже)//Христианство перед современной социальной действительностью. Париж: YMCA-PRESS, 1932. С. 17—26. Приложение к журналу «Путь». № 32.
62. Православие и историческая критика//Путь. Париж, 1932. С. 3—17.
63. О Святом Духе в природе и культуре//Путь. Париж, 1932. № 35. С. 3—19.
64. Рец.: *Irenicon*//Путь. Париж, 1932. № 36. С. 96—97.
65. Россия, Европа и мы//Новый Град. Париж, 1932. № 2. С. 3—14.
66. Уроки английского кризиса//Новый Град. Париж, 1932, № 2. С. 86—89.
67. Нашим критикам//Новый Град. Париж, 1932. № 2. С. 89—90.
68. Рец.: Andre Siegfried. *La crise britannique au XX*//Новый Град. Париж, 1932. № 2. С. 93—94.
69. К молодежи. (От редакции)//Новый Град. Париж, 1932. № 3. С. 3—5.
70. Что такое социализм?//Новый Град. Париж, 1932. № 3. С. 21—23.
71. Война с востока//Новый Град. Париж, 1932. № 3. С. 83—86.
72. Выстрел Горгулова. (От редакции)//Новый Град. Париж, 1932. № 4. С. 3—7.
73. В плену стихии//Новый Град. Париж, 1932. № 4. С. 8—20.
74. Голос времени. (От редакции)//Новый Град. Париж, 1932. № 5. С. 3—9.
75. Падение Советской власти. (Над книгой С. Дмитриевского)//Новый Град. Париж, 1932. № 5. С. 10—20.
76. Социальное значение христианства. Париж: YMCA-PRESS, 1933. — 33 с.
77. Правда побежденных//Современные записки. Париж, 1933. № 51. С. 360—385.
78. О национальном покаянии//Новый Град. Париж, 1933. № 6. С. 3—11.
79. Пореволюционная пресса//Новый Град. Париж, 1933. № 6. С. 88—90.

80. Германия «проснулась». (От редакции)//Новый Град. Париж, 1933. № 7. С. 3—24.
81. Демократия спит//Новый Град. Париж, 1933. № 7. С. 25—34.
82. Ответ Бердяеву//Новый Град. Париж, 1933. № 7. С. 81—89.
83. Рец.: Maurice B. Reckit. Faith and Society//Новый Град. Париж, 1933. № 7. С. 93—94.
84. Основы христианской демократии//Новый Град. Париж, 1934. № 8. С. 3—14.
85. От редакции//Новый Град. Париж, 1934. № 9. С. 3—10. (Без подписи).
86. Наша демократия//Новый Град. Париж, 1934. № 9. С. 11—25.
87. Молодая Англия//Новый Град. Париж, 1934. № 9. С. 79—81.
88. Рец.: Fedor Stepun. Das Antlitz Russland und das Gesicht der Revolution.//Новый Град. Париж, 1934. № 9. С. 94—95.
89. Рец.: Меч. Еженедельник. № 1—6//Новый Град. Париж, 1934. № 9. С. 95—96.
90. Стихи духовные. (Русская народная вера по духовным стихам.) Париж: YMCA-PRESS, 1935.
91. К современным богословским спорам//Вестник РСХД. Париж, 1935. № 12. С. 19—24.
92. Новый идол//Современные записки. Париж, 1935, № 57. С. 397—411.
93. Зачем мы здесь?//Современные записки. Париж, 1939, № 58. С. 433—444.
94. Мать-земля. (К религиозной космологии русского народа)//Путь. Париж, 1935. № 46. С. 3—18.
95. Русская духовная культура и революция//Знамя России. Прага, 1935. № 6. С. 2—7.
96. От редакции//Новый Град. Париж, 1935. № 10. С. 3—11.
97. Борьба за искусство//Новый Град. Париж, 1935. № 10. С. 29—43.
98. Рец.: Boris Souvarine. Staline//Новый Град. Париж, 1935. № 10. С. 142—144.
99. Сталинокрапия//Современные записки. Париж, 1936. № 60. С. 374—387.
100. Культурные сдвиги//Современные записки. Париж, 1936. № 60. С. 434—438.
101. Тяжба о России//Современные записки. Париж, 1936. № 62. С. 358—375.
102. Четверодневный Лазарь//Круг. Париж, 1936. № 1. С. 139—143.
103. От редакции//Новый Град. Париж, 1936. № 11. С. 3—11.
104. Святость и творчество. (Отчет о докладе в «Круге» 23 февраля 1936)//Новый Град. Париж, 1936. № 11. С. 142—143.
105. Судьба «гнилой концепции»//Новая Россия. Париж, 1936. № 1. С. 9—10.
106. Фельдфебель в Буало//Новая Россия. Париж, 1936. № 2. С. 10—11.
107. Лен Зеленой//Новая Россия. Париж, 1936. № 3. С. 11.
108. Защита России//Новая Россия. Париж, 1936. № 4. С. 8—9.
109. О чем должен помнить возвращенец?//Новая Россия. Париж, 1936. № 5. С. 8—10.
110. Конец педократии//Новая Россия. Париж, 1936. № 6. С. 5—6.
111. О свободе формальной и реальной//Новая Россия. Париж, 1936. № 7. С. 8—9.
112. О демократии формальной и реальной//Новая Россия. Париж, 1936. № 8. С. 7—9.
113. На смерть Горького//Новая Россия. Париж, 1936. № 9. С. 5—8.
114. Оттуда//Новая Россия. Париж, 1936. № 11. С. 6—7.

115. Шестнадцать//Новая Россия. Париж, 1936. № 12. С. 8—10.
116. Тучи над Францией//Новая Россия. Париж, 1936. № 13. С. 13—14.
117. *Rassionaria*//Новая Россия. Париж, 1936. № 14. С. 14—15.
118. Испания и Россия//Новая Россия. Париж, 1936. № 15. С. 10—12.
119. Вместо предисловия к книге Андре Жида//Новая Россия. Париж, 1936. № 17. С. 7—8.
120. СССР и фашизм//Новая Россия. Париж, 1936. № 18. С. 7—9.
121. Эссе Номмо! (О некоторых гонимых «измахах»)//Путь. Париж, 1937. № 53. С. 20—36.
122. Оксфорд//Путь. Париж, 1937. № 54. С. 57—62.
123. От редакции//Новый Град. Париж, 1937. № 12. С. 3—19. (Без подписи).
124. Христианин в революции//Новый Град. Париж, 1937. № 12. С. 62—78.
125. Восстание масс и свобода//Новая Россия. Париж, 1937. № 19. С. 4—5.
126. Пушкин и освобождение России//Новая Россия. Париж, 1937. № 21. С. 7—9.
127. Александр Невский и Карл Маркс//Новая Россия. Париж, 1937. № 22. С. 9—10.
128. Февраль и Октябрь//Новая Россия. Париж, 1937. № 23. С. 4—5.
129. Рецидив безбожия//Новая Россия. Париж, 1937. № 24. С. 10—12.
130. Методы выкорчевывания и разгрома//Новая Россия. Париж, 1937. № 25. С. 6—7.
131. Потерянный писатель. (А. И. Герцен. 1812—1937)//Новая Россия. Париж, 1937. № 26. С. 6—8.
132. Неизбежна ли революция в России?//Новая Россия. Париж, 1937. № 28. С. 4—5.
133. Где выход//Новая Россия. Париж, 1937. № 29. С. 6—7.
134. Страшные дни//Новая Россия. Париж, 1937. № 30. С. 7—8.
135. Война и мир//Новая Россия. Париж, 1937. № 32. С. 14—15.
136. Как Сталин видит историю России?//Новая Россия. Париж, 1937. № 33. С. 8—11.
137. Возвращенцы и активисты//Новая Россия. Париж, 1937. № 34. С. 4—5.
138. Октябрьская легенда//Новая Россия. Париж, 1937. № 35. С. 3—4.
139. Тяга в Россию//Новая Россия. Париж, 1937. № 36. С. 8—9.
140. Советский павильон//Новая Россия. Париж, 1937. № 37. С. 14—15.
141. После выборов//Новая Россия. Париж, 1937. № 38. С. 9—10.
142. Древо на камне//Живое предание. Париж, 1937. С. 110—119.
143. Певец Империи и свободы//Современные записки. Париж, 1937. № 63. С. 178—197.
144. Рец.: Ант. Ладинский. XV легион//Современные записки. Париж, 1937. № 63. С. 411—412.
145. После Оксфорда//Современные записки. Париж, 1937. № 64. С. 430—444.
146. Рец.: Н. Бердяев. Дух и реальность//Современные записки. Париж, 1937. № 65. С. 444—446.
147. Рец.: Путь//Современные записки. Париж, 1937. № 65. С. 446—448.
148. Год борьбы//Русские записки. Париж, 1937. № 1. С. 259—277.
149. Новый Год//Новая Россия. Париж, 1938. № 39. С. 7—8.

150. О свободе валютных операций//Новая Россия. Париж, 1938. № 40. С. 13—14.
151. Московский процесс//Новая Россия. Париж, 1938. № 42—43. С. 2—3.
152. Что происходит в России?//Новая Россия. Париж, 1938, № 45. С. 4—5.
153. Про расе//Новая Россия. Париж, 1938. № 47. С. 8.
154. Кладбища иллюзий//Новая Россия. Париж, 1938. № 49. С. 2.
155. Наш позор//Новая Россия. Париж, 1938. № 55—56. С. 8—10.
156. О Мазепе//Новая Россия. Париж, 1938. № 57. С. 2—4.
157. Канонизация св. Владимира//Владимирский сборник (В память 950-летия крещения Руси). Белград, 1938. С. 188—196.
158. Круг//Круг. Париж, 1938. № 3. С. 162—164.
159. Славянский или русский язык в богослужении//Путь. Париж, 1938. № 57. С. 3—28.
160. Эсхатология и культура//Новый Град. Париж, 1938. № 13. С. 45—56.
161. Искания младороссов//Новый Град. Париж, 1938, № 13. С. 183—185.
162. Письма о русской культуре: 1. Русский человек//Русские записки. Париж, 1938. № 3. С. 139—260.
163. Завтрашний день. (Письма о русской культуре)//Современные записки. Париж, 1938. № 66. С. 353—369.
164. Торопитесь!//Новая Россия. Париж, 1939. № 59. С. 2—3.
165. Тушинские воры//Новая Россия. Париж, 1939. № 60. С. 3—5.
166. Барселона и Россия//Новая Россия. Париж, 1939. № 61. С. 3—4.
167. Над гробом Пия XI//Новая Россия. Париж, 1939, № 62. С. 4—6.
168. О свободе//Новая Россия. Париж, 1939. № 63. С. 9—10.
169. Дружеский ответ//Новая Россия. Париж, 1939. № 64. С. 14—15.
170. Политика изоляции и национальная политика//Новая Россия. Париж, 1939. № 66—67. С. 6—7.
171. Демократия и СССР//Новая Россия. Париж, 1939, № 68. С. 3—4.
172. Фетида//Новая Россия. Париж, 1939, № 69. С. 4—5.
173. Памяти В. Ф. Ходасевича//Новая Россия. Париж, 1939, № 70. С. 4—5.
174. Польша и мы//Новая Россия. Париж, 1939, № 72. С. 10—11.
175. Война и национальная проблема//Новая Россия. Париж, 1939. № 73. С. 6—7.
176. Гегемония и федерация//Новая Россия. Париж, 1939, № 74—75. С. 20—21.
177. От редакции//Новый Град. Париж, 1939. № 14. С. 5—15.
178. К смерти или к славе?//Новый Град. 1939. № 14. С. 100—111.
179. Создание элиты. (Письма о русской культуре)//Современные записки. Париж, 1939. № 68. С. 388—407.
180. Рец.: Ант. Ладинский. Голубь под Понтом//Современные записки. Париж, 1939. № 69. С. 389—390.
181. Рец.: Предшественник Хомякова. (J. A. Mohler. L'unité dans l'Eglise)//Путь. Париж, 1938—1939. № 58. С. 64—66.
182. В защиту этики//Путь. Париж, 1939. № 60. С. 4—17.
183. Рец.: Pierre Pascal. Avvakum et les debuts du raskol//Путь. Париж, 1939. № 60. С. 68—69.
184. Рец.: Сергиевские листки. Новая серия. 1-2//Путь. Париж, 1939. № 60. С. 68—69.
185. Предисловие//Православное дело. Париж, 1939. № 1. С. 5—8. (Без подписи).

186. Любовь и социология//Православное дело. Париж, 1939. № 1. С. 62—84.
187. Мы и они//Современные записки. Париж, 1940. № 70. С. 219—234.
188. Федерация и Россия//Новая Россия. Париж, 1940. № 76—77. С. 25—26.
189. Федерация и политический строй//Новая Россия. Париж, 1940. № 78—79. С. 23—24.
190. Доколе!//Новая Россия. Париж, 1940. № 80—81. С. 5.
191. Опоздавшие//Новая Россия. Париж, 1940. № 82—83. С. 8—10.
192. Письма о социализме//Новая Россия. Париж, 1940. № 84. С. 23—24.

## 1942—1951

(Америка)

193. Новое на старую тему//Новый журнал. Нью-Йорк, 1942. № 1. С. 276—286.
194. О парижской поэзии//Ковчег. Нью-Йорк, 1942. С. 89—198.
195. Новое отечество//Новый журнал. Нью-Йорк, 1943, № 4. С. 182—200.
196. Загадки России.//Новый журнал. Нью-Йорк, 1943, № 5. С. 161—181.
197. Как бороться с фашизмом?//Новый журнал. Нью-Йорк, 1943. № 6. С. 291—306.
198. Ирина Кнорринг. Некролог//Новый журнал. Нью-Йорк, 1943. № 6. С. 389—390.
199. Неслыханное//За свободу. Нью-Йорк, 1943. № 10—11. С. 34—36.
200. S.O.S//За свободу. Нью-Йорк, 1943. № 14. С. 33—38.
201. Перевод как искусство. (Вступительная статья к книге А. Браиловского «Из классиков»). — Нью-Йорк, 1943. — С. 7—12.
202. Рождение свободы//Новый журнал. Нью-Йорк, 1944. № 8. С. 198—218.
203. Рец.: Nicolas Gogol by Vladimir Nabokov//Новый журнал. Нью-Йорк, 1944. № 9. С. 368—379.
204. О. Сергей Булгаков. Некролог//Новое русское слово. Нью-Йорк, 1944. 1 октября.
205. Россия и свобода//Новый журнал. Нью-Йорк, 1945. № 10. С. 109—213.
206. Запад и СССР//Новый журнал. Нью-Йорк, 1945. № 11. С. 205—230.
207. С Востока тьма//За свободу. Нью-Йорк, 1945. № 15. С. 13—16.
208. О любви к отечеству//За свободу. Нью-Йорк, 1945. № 16. С. 12—17.
209. Ответ Бердяеву//За свободу. Нью-Йорк, 1946, № 17. С. 57—69.
210. Между двух войн//Новый журнал. Нью-Йорк, 1946. № 14. С. 154—169.
211. Рец.: Третий час. Вып. 1//Новый журнал. Нью-Йорк, 1946. № 14. С. 333—335.
212. Судьба империй//Новый журнал. Нью-Йорк, 1947. № 16. С. 149—169.
213. Просветы в тьму//За свободу. Нью-Йорк, 1947. № 18. С. 48—56.
214. И. И. Фондаминский в эмиграции//Новый журнал. Нью-Йорк, 1948. № 18. С. 317—329.



215. Н. А. Бердяев — мыслитель // Новый журнал, Нью-Йорк, 1948. № 19. С. 266—278.
216. Рец.: «La geste du Prince Jgor sous la direction d'Henri Gregoire, R. Jacobson. etc. // Новый журнал. Нью-Йорк, 1948. № 20. С. 301—304.
217. Народ и власть // Новый журнал. Нью-Йорк, 1949, № 21. С. 236—252.
218. О гуманизме Пушкина // Новое русское слово. Нью-Йорк, 1949, 8 мая.
219. Две или одна? // Бюллетень Лиги борьбы за народную свободу. Нью-Йорк, 1949, № 1.
220. Христианская трагедия // Новый журнал. Нью-Йорк, 1950. С. 126—141.
221. Сталин или Гитлер? // Социалистический вестник. Нью-Йорк, 1950. № 1—2. С. 20—21, 28.
222. Республика Святой Софии // Народная правда. Нью-Йорк, 1950. № 11—12. С. 21—23.
223. С. И. Штейн. Некролог // Новый журнал. Нью-Йорк, 1951, № 25. С. 219—221.

#### POSTHUMES

224. Новый Град. Сборник статей. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952. — 380 с.
225. Петр Великий // Вестник РСХД. Париж, 1953. № 27. С. 13—18.
226. Две статьи из журнала «Свободные голоса» // Новый журнал. Нью-Йорк, 1955. № 43. С. 169—176.
227. Христианин в революции: Сборник статей. Paris: Les Presses de la Coöperative Edoile, 1957. — 189 с.
228. Судьба нашей духовной культуры // Вольная мысль. Munich, 1957. № 1. С. 36—49.
228. Лицо России. Статьи 1918—1930 гг. Paris: YMCA-PRESS, 1967—329 с.
229. Россия, Европа и мы. Сборник статей (1930—1932). Париж: YMCA-PRESS, 1974. — 320 с.
230. Россия и свобода. Сборник статей. New York: Chalidze Publications, 1981. — 270 с.
231. Тяжба о России. Сборник статей (1933—1936). Париж: YMCA-PRESS, 1981. — 336 с.
232. Лицо России. Статьи 1918—1930 гг. 2-е изд. Париж: YMCA-PRESS, 1988. — 329 с.
233. Защита России. Сборник статей (1933—1940). Париж: YMCA-PRESS, 1988. — 315 с.
234. Канонизация Святого Владимира // Символ. Paris, 1988. № 19. С. 159—168.
235. Святые Древней Руси // Наше наследие. М., 1988. № 4.
236. Святые Древней Руси (X—XVIII ст.). 4-е изд. Париж: YMCA-PRESS, 1989. — 243 с. (2-е изд. — Нью-Йорк, 1960; 3-е изд. — Париж, 1985).
237. На поле Куликовом // Литературная учеба. М. 1989. № 4. С. 133—142.
238. Три столицы // Новый мир. М., 1989. № 4. С. 209—218.
239. Рождение свободы // Новый мир. М. 1989. № 4. С. 218—239.
240. Святые Древней Руси / Предисл. Лихачева Д. С., Меня А. В.; Комментар. Бычкова С. С. — М.: Московский рабочий, 1990. — 271 с.
241. Трагедия интеллигенции // О России и русской философской

- культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М.: Наука, 1990. С.403—443.
242. Национальное и вселенское // О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М.: Наука, 1990, С. 444—449.
  243. Будет ли существовать Россия? // О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М.: Наука, 1990. С.450—462.
  244. Лицо России // Вопросы философии. М., 1990. № 8. С.131—136.
  245. *Carpen saeculare* // Вопросы философии. М., 1990, № 8. С.137—146.
  246. Православие и историческая критика // Вопросы философии. М., 1990. № 8. С.146—153.
  247. Александр Невский и Карл Маркс // Вопросы философии. М., 1990. № 8. С.154—156.
  248. Как Сталин видит историю России? // Вопросы философии. М., 1990. № 8. С.156—159.
  249. Мысли по поводу Брестского мира // Вопросы литературы. М., 1990. № 2. С.193—195.
  250. Рец.: В.Розанов. «Опавшие листья» // Вопросы литературы. М., 1990. № 2. С.195—198.
  251. О Виргилии // Вопросы литературы. М., 1990. № 2. С.199—204.
  252. О св. Духе в природе и культуре // Вопросы литературы. М., 1990. № 2. С.204—213.
  253. Борьба за искусство // Вопросы литературы. М., 1990. № 2. С.214—225.
  254. Четверодневный лазень // Вопросы литературы. М., 1990, № 2. С.225—228.
  255. Потерянный писатель А.И.Герцен (1812—1870) // Вопросы литературы. М., 1990, № 2. С.228—231.
  256. О парижской поэзии // Вопросы литературы. М., 1990. № 2. С.231—238.
  257. Певец империи и свободы // Пушкин в русской философской критике: Конец XIX — первая половина XX века. М.: Книга, 1990. С.356—375.
  258. О гуманизме Пушкина // Пушкин в русской философской критике: Конец XIX — первая половина XX в. М.: Книга, 1990. С.375—379.

## II. НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

1928—1939

(France)

1. The Russian Church since the Revolution // Society for Promoting Christian Knowledge. London and New York: Macmillan, 1928. 95 p.
2. The Orthodox Church and Her History // The Christian East. London, 1929. Vol.10.N 3. P.104—113.
3. Das neue Russland // Orient und Occident. Leipzig, 1931. Hft.6.S.13-26; Hft.7.S. 20—35.
4. Le renouveau spirituel en Russie // Cahier de la Quinzaine. Paris, 1932. Serie 22. Cahier 1. P.53—77.
5. The Work of the Holy Spirit in Nature. Human Life and Culture // The Christian East. London, 1932. Vol.13. № 1. P.8—18.

6. Asceticism and Culture in Russian Orthodoxy //The Journal of the Fellowship of St.Alban and St.Sergius.London, 1939. № 15. P.19—21.
7. Christianity and Revolution //The Student World. Geneva, 1934. Vol.27. № 3. P.243—251.
8. On the Sacraments //The Journal of the Fellowship of St.Alban and St.Sergius. London, 1934. № 26. P.35—39.
9. Orthodoxy and Historical Criticism //The Church of God.London: Society for Promoting Christian Knowledge, 1934. P.89—104.
10. Le probleme de l'Etat devant l'Eglise //Oecumenica London-Paris, 1935. Vol.2. № 1. P.27—33.
11. Liturgy and its Social Implications //Christendom. Oxford, 1935. Vol.5. № 19. P.203—207.
12. Die Kirche und der Staat //Die Kirche und das Staatsproblem in der Gegenwart. Geneva: Forschungsabteilung des Oekumenischen Rates fur Praktisches Christentum, 1935. P.35—44.
13. The Russian Church. A Short Historical Sketch //Sobornost. London, 1935—1936. № 1. P.23—30; № 3. P.30—39; № 4. P.16—23; № 5. P.23—29; № 6. P.21—30.
14. Mutter Erde: Zur religiösen Kosmologie des russischen Volkes //Orient und Occident. Bern-Leipzig, 1936. Hft.3. S.1—15.
15. Reich Gottes und Geschichte //Kirche und Welt. Studien und Dokumente. Band 2: Kirche, Staat und Mensch. Russisch — orthodoxe Studia. Geneva: Forschungsabteilung des Oekumenischen Rates fur Praktisches Christentum, 1937. P.55—77.
16. Meeting the English //Sobornost. London, 1937. № 12. P.11—16.
17. La Stalinocratie //Esprit. Paris, 1939. № 56. P. 227—243.
18. Le baptême de saint Vladimir et la conversion de la Russie (988—1938) //Irenikon. Belgique, 1938. Vol.15. № 5. P.417—435.
19. The New City // The New American Church Monthly. New-York, 1938. Vol.43. № 2. P.57—69.
20. On Russian Culture //Russian Notes. New-York, 1938. № 3.
21. Ecce Homo. (About some persecuted «isms») //Sobornost. London, 1939. № 20. P.22—30; № 21. P.4—8.

1942—1951

(U.S.A.)

22. The religious Sources of Russian Populisme //The Russian Review. New-York, 1942. Vol.1. № 2. P.27—39.
23. The Prospects of Christianity in Russia //Christianity and Crisis. New-York, 1942. Vol.2. № 5. P.3—6.
24. Old Russian Church's Views on Inebriety //Quarterly Journal of Studies on Alcohol.New-York, 1943. Vol.3. № 4. P. 663—665.
25. The Religious Background of Russian Culture //Church History. Chicago, 1943. Vol.12. № 1. P.35—51.
26. Rev.: Helen Isvolsky. Light Before Dusk //The Russian Review. New-York, 1943. Vol.2. № 2. P.109—110.
27. Rev.: P.Andersen. People, Church and State in modern Russia //The Student World. New-York, 1944. Vol.37. № 2. P.257—259.
28. Russia's Religious Situation //Christianity and Crisis. New-York, 1945, Vol.5. № 14. P.3—6.
29. Rev.: A.Koestler. The Yogi and the Commissar //The Russian Review. Hanover, N.H., 1945. Vol.5. № 1. P.122—123.
30. The Russian Religious Mind: Kievan Christianity. The Tenth to the thirteenth Centuries. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1946. XVI, 438 p.

31. Russia and Freedom // Review of Politics. South Bend, Indiana, 1946. Vol.8. № 1. P.12—36.
32. The Diasporas // Christianity Today: A Survey of the State of the Churches. New-York: Morehouse-Gorham Company, 1947. P.260—272.
33. A Treasury of Russian Spirituality. New-York: Sheed and Ward, 1948. XVI, 501 p.
34. The Eastern Orthodox Church // Religion of the Twentieth Century. Ed. by V.Ferm. New-York: Philosophical Library, 1948. P.174—192.
35. Nicholas Berdyaev as Thinker // The Living Church. Milwaukee, Wisconsin, 1948. 19 September. P.15—24.
36. Rev.: Nicholas Berdyaev. The Russian Idea // The Review of Religion. New-York, 1949. Vol.14. № 1. P.74—76.
37. Rev.: Ernst Benz. Wittenberg und Byzanz // Theology Today. Princeton, N.Y., 1949. Vol.6. № 3. P.419—422.
38. The Church and Social Justice // World Council of Churches Geneva, 1950. P.1—16.
39. Russland und die Freiheit // Merkur. Stuttgart u. Baden-Baden, 1951. P.505—523.

#### POSTHUMES

40. The Fate of Empires // The Russian Review. Hanover, N.H., 1953. Vol.12. № 2. P.83—94.
41. The Russian // The Russian Review. Hanover, N.H., 1953. Vol.13. № 1. P.3—17.
42. St.Stephen of Perm: The Missionary Saint // One Church. New-York, 1960. Vol.14. № 11—12. P.344—352.
43. The Christian Origins of Freedom // Ultimate Questions. New-York: Holt, Rinehart and Winston, 1965. P.281—295.
44. On a Living Theology // One Church. New-York, 1965. Vol.19. № 7—8. P.186—188.
45. The Russian Religious Mind. Vol.11: The Middle Ages. The Thirteenth to the Fifteenth Centuries. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1966. 413 p.

#### ДОПОЛНЕНИЕ

Стихи духовные (Русская народная вера по духовным стихам) / Вступ. ст. Н. И. Толстого; Послел. С. Е. Никитиной; Подготовка текста и коммент. А. Л. Топоркова. — М.: Прогресс, Гнозис, 1991. — (Традиционная духовная культура славян / Из истории изучения). — 192с.

## СОДЕРЖАНИЕ

(т.2)

Россия, Европа и мы . . . . .	3
Правда побежденных . . . . .	15
О национальном покаянии . . . . .	41
Новый идол . . . . .	50
Мать-земля (К религиозной космологии русского народа) . . . . .	66
Сталинократия . . . . .	83
Культурные сдвиги . . . . .	98
Тяжба о России . . . . .	103
Защита России . . . . .	122
О чем должен помнить возвращенец? . . . . .	126
Пушкин и освобождение России . . . . .	129
Февраль и Октябрь . . . . .	133
Тяга в Россию . . . . .	137
Певец Империи и свободы . . . . .	141
Письма о русской культуре: . . . . .	163
Завтрашний день (Письма о русской культуре) . . . . .	188
Создание элиты (Письма о русской культуре). . . . .	206
Федерация и Россия . . . . .	228
Новое отечество . . . . .	233
Рождение свободы . . . . .	253
Россия и свобода . . . . .	276
Судьба Империй . . . . .	304
О гуманизме Пушкина . . . . .	328
Примечания . . . . .	333
Основные даты жизни Г. П. Федотова . . . . .	335
Библиография трудов Г. П. Федотова . . . . .	338

Георгий Петрович Федотов  
**СУДЬБА И ГРЕХИ РОССИИ**  
(в 2-х томах)

Гл. редактор издательства Бойков В. Ф.  
Технический редактор Арефьев С. В.  
Корректор Карпеева О. Э.

Набор произведен в Невской рекламно-издательской компании.  
Зак. 3165, тираж 50.000 экз.

Адрес издательства: 199178 С.-Петербург, 11 линия, 30-17  
тел. 112-14-51

Ордена Трудового Красного Знамени  
Первая типография издательства «Наука»  
199034, Санкт-Петербург, В-34, 9 линия, д. 12



**ИЗДАТЕЛЬСТВО "СОФИЯ"  
ВЫПУСКАЕТ В СВЕТ:**

**Альманах "София. Архив русской  
религиозно-философской мысли".  
(1-й выпуск).**

В периодическом издании "София" предполагается систематическая публикация неизвестных, малоизвестных и труднодоступных современному читателю сочинений русских религиозных мыслителей, философов и писателей, воспоминаний о них и заметок, обзоров и исследований их творчества, биографической и библиографической информации, иконографических материалов. Альманах "София" является непосредственным продолжателем и представителем традиции русской религиозно-философской мысли.

Первый выпуск включает святоотеческие и русские религиозно-философские размышления, проявляющие одну из центральных идей русской религиозной мысли – идею Церкви. Сюда входят сочинения и комментарии А. Хомякова, Л. Карсавина, П. Флоренского, В. Розанова, Г. Флоровского и др.

**Тайна Израиля ("еврейский вопрос"  
в русской религиозной мысли конца XIX –  
первой половины XX вв.).**

В сборник входят произведения Ф.Достоевского, Вл. Соловьева, Дм.Мережковского, Вяч.Иванова, Н.Бердяева, В.Розанова, С.Булгакова, Л.Карсавина, В.Зеньковского, Г.Федотова, объединенные темой судьбы и назначения еврейского народа во всемирной истории.

Книга впервые объективно и всесторонне показывает, как ставился и решался с религиозных, философских и публицистических позиций "еврейский вопрос" русскими мыслителями на основе христианского мировоззрения в самые трудные периоды истории России.

**Сборник суточных церковных служб,  
песнопений главнейших праздников и част-  
ных молитвословий Православной Церкви  
(на русском языке).**











СУДЬБА  
ИГРЬБЫН  
РОССИИ

2 ТОМ

БОТТИ  
ДИФИ  
ИИ